

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.	МАЙРХОФЕР М. (Австрия)
АРИСТЕ П.	МАРТИНЕ А. (Франция)
БАРНЕР В. (ГДР)	МЕЛЬНИЧУК А. С.
БЕРНШТЕЙН С. Б.	НЕРОЗНАК В. П.
БИРНБАУМ Х. (США)	ПОЛОМЕ Э. (США)
БОГОЛЮБОВ М. Н.	РАСТОРГУЕВА В. С.
БУДАГОВ Р. А.	РОБИНС Р. (Великобритания)
ВАРДУЛЬ И. Ф.	СЕМЕРЕНЬИ О. (ФРГ)
ВАХЕК Й. (ЧССР)	СЛЮСАРЕВА Н. А.
ВИНТЕР В. (ФРГ)	ТЕНИШЕВ Э. Р.
ГРИНБЕРГ ДЖ. (США)	ТРУБАЧЕВ О. Н.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.	УТКИНС К. (США)
ДЖАУКЯН Г. Б.	ФИШЬЯК Я. (ПНР)
ДОМАШНЕВ А. И.	ХАТТОРИ СИРО (Япония)
ДРЕССЛЕР В. (Австрия)	ХЕМП Э. (США)
ДУРИДАНОВ И. (НРБ)	ШВЕДОВА Н. Ю.
ЗИНДЕР Л. Р.	ШМАЛЬСТИГ В. (США)
ИВИЧ П. (СФРЮ)	ШМЕЛЕВ Д. Н.
КЕРНЕР К. (Канада)	ШМИДТ К. Х. (ФРГ)
КОСЕРИУ Э. (ФРГ)	ШМИТТ Р. (ФРГ)
ЛЕМАН У. (США)	ЯРЦЕВА В. Н.
МАЖЮЛИС В. П.	

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.	КОДЗАСОВ С. В.
АПРЕСЯН Ю. Д.	ЛЕОНТЬЕВ А. А.
БАСКАКОВ А. Н.	МАКОВСКИЙ М. М.
БОНДАРКО А. В.	НЕДЯЛКОВ В. П.
ВАРБОТ Ж. Ж.	НИКОЛАЕВА Т. М.
ВИНОГРАДОВ В. А.	ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
ГАДЖИЕВА Н. З.	СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
ГЕРЦЕНБЕРГ Л. Г.	СОЛНЦЕВ В. М.
ГАК В. Г.	СТАРОСТИН С. А.
ДЫБО В. А.	ТОПОРОВ В. Н.
ЖУРАВЛЕВ В. К.	УСПЕНСКИЙ Б. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.	ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.	ХРАКОВСКИЙ В. С.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.	ШАРБАТОВ Г. Ш.
КАРАУЛОВ Ю. Н.	ШВЕЙЦЕР А. Д.
КИБРИК А. Е.	ШИРОКОВ О. С.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)	ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

СО Д Е Р Ж А Н И Е

С т е п а н о в Ю. С. (Москва). Счет, имена чисел, алфавитные знаки чисел в индоевропейских языках	5
Т е н и ш е в Э. Р. (Москва). О киргизском литературном языке в донациональный период	32
Ч и ж е в с к и й Ф. (Люблин). Фонологические системы гласных в украинских владавских говорах	41
Е с ь к о в а Н. А. (Москва). К интерпретации некоторых фактов русской глагольной морфологии	50
Щ е к а Ю. В. (Москва). Гармонема и тактема как интонологические единицы и их особенности в турецкой разговорной речи	57

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Ю ш м а н о в Н. В. Этюды по общей фонетике на материале неиндоевропейских языков (Из трехлетней переходящей темы «Стадиальная фонетика» 1940—1942 гг.)	70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Г а к В. Г. (Москва). К типологии форм языковой политики	104
--------------------------------------------------------------------	-----

Рецензии

С к р е л и н а Л. М. (Ленинград). <i>Алисова Т. Б., Репина Т. А., Таривердиева М. А.</i> Введение в романскую филологию	134
Б л и н о в а О. И. (Томск), Т е л и я В. Н. (Москва), Ш а х о в с к и й В. И. (Волгоград). <i>Лукьянова Н. А.</i> Экспрессивная лексика разговорного употребления. Проблемы семантики	139
З о л я н С. Т. (Ереван). <i>Кожевникова Н. А.</i> Словоупотребление в русской поэзии начала XX века	142
Б е л о ш а п к о в а В. А. (Москва). <i>Черемисина М. И., Колосова Т. А.</i> Очерки по теории сложного предложения	144
К о л о с о в а Т. А. (Воронеж). <i>Ширяев Е. Н.</i> Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке	148
Ш а р ы п к и н С. Я. (Львов). Предметно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский период	153
К р ы с и н Л. П. (Москва). Словарь иностранных слов	156

CONTENTS

Stepanov Yu. S. (Moscow). Counting, names of numbers, alphabetical signs of numbers in the Indo-European languages. II; Tenišev E. R. (Moscow). On the Kirghiz literary language of the pre-national period; Čiževskij F. (Ljublin). Phonological systems of vowels in the Ukrainian Vlodav dialects; Es'kova N. A. (Moscow). On the interpretation of some facts of the Russian verbal morphology; Šekaja Yu. V. (Moscow). Harmoneme and tacteme as intonological units and their peculiarities in spoken Turkish; **From the history of science:** Yušmanov N. V. Studies in general phonetics based on the material of non-Indo-European languages (an extract from the author's linguistic study «Stadial phonetics» planned for 1940—1942); **Surveys:** Gak V. G. (Moscow). On the typology of different forms of language policy; **Reviews:** Skrelina L. M. (Leningrad). *Alisova T. B., Repina T. A., Tariverdieva M. A.* Introduction to Romance philology; *Blinova O. I.* (Tomsk), *Telia V. N.* (Moscow), *Saxovskij V. I.* (Volgograd). *Lukjanova N. A.* Expressive word-stock used in colloquial speech. Problems of semantics; *Zoljan S. T.* (Yerevan). *Koževnikova N. A.* The possibilities of worduse in the Russian poetry of the beginning of the XX century; *Belošapkova V. A.* (Moscow). *Ceremisina M. I., Kolosova T. A.* Essays on the theory of the composite sentence; *Kolosova T. A.* (Voronež). *Širjaev E. N.* Asyndetic composite sentence in modern Russian; *Sarypkın S. Ya.* (Lvov). A notional Greek dictionary. Creto-Mycenaean period; *Krysin L. P.* (Moscow). A dictionary of foreign words.

От редакции. Ниже публикуется пропущенный фрагмент «Литературы» к статье В. А. Родионова «„Цельносистемная типология“ vs. „частная типология“» (ВЯ, 1989, № 1).

42. Мельников Г. П. Детерминантная классификация языков и языки банту // Африканский этнографический сборник. Вып. IX. Л., 1972.
43. Мельников Г. П. Детерминанта — ведущая грамматическая тенденция языка // Фонетика, фонология, грамматика. М., 1971.
44. Мельников Г. П. Способы мотивирования морфологии, фонетики и лексики семитских языков // Конференция молодых научных работников и аспирантов: Тез. докл. М., 1965.
45. Мельников Г. П. Взаимообусловленность структуры ярусов в языках семитского строя // Семитские языки. Вып. 2. Ч. 2. М., 1965.
46. Мельников Г. П. Системный анализ причин своеобразия семитского консонантизма. М., 1968.
47. Мельников Г. П. Синтаксический строй тюркских языков с позиций системной лингвистики // Народы Африки и Азии. 1969. VI.
48. Мельников Г. П. Принципы системной типологии в применении к проблемам тюркологии // Структура и история тюркских языков. М., 1971.
49. Мельников Г. П. Причины возникновения агглютинации в языках банту, тюркских, семитских и кечуа // Тез. докл. на конференции ученых социалистических стран. М., 1980.
50. Мельников Г. П. Классификация детерминант человеческих языков. // Actes du X Congrès international des linguistes, 111. Bucharest, 1970.

СТЕПАНОВ Ю. С.

СЧЕТ, ИМЕНА ЧИСЕЛ, АЛФАВИТНЫЕ ЗНАКИ ЧИСЕЛ
В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ *

II

10. Машина Поста как абстракция элементарной операции счета. Выше (п. 7) мы видели, что обе разновидности счета — проспективная и ретроспективная — представляют собой некоторые абстракции от элементарной операции счета, заключающиеся в том, что считающий как бы смотрит на считаемый предмет (в примере выше — на столб забора) в некотором удалении от него, в одном случае «вправо», а другом — «влево» от находящейся прямо перед ним точки.

Можно представить себе и дальнейшую абстракцию по той же линии, рассматривая такую операцию счета — в конечном счете прибавление единицы, — при которой считающий вообще не может «коснуться» считаемого предмета, поскольку последний расположен как угодно далеко, «в бесконечности», от предмета, непосредственно «обозреваемого» считающим. В качестве такой абстракции мы предлагаем рассматривать так называемую «машину Поста».

Машина Поста (здесь мы в нестрогой форме излагаем некоторые места из одноименной книги В. А. Успенского [61, с. 7 и сл.]), как и ее близкий родственник — машина Тьюринга, представляет собой мысленную конструкцию (хотя в принципе ее можно было бы воплотить и «в металле»). Машина Поста состоит из ленты и каретки (иначе — считывающей и записывающей головки). Лента бесконечна и разделена на секции одинакового размера; порядок, в котором расположены секции ленты, подобен порядку целых чисел (ср. для наглядности уже упоминавшуюся выше сантиметровую линейку). Каретка может передвигаться вдоль ленты вправо и влево; когда она неподвижна, она стоит против одной секции и «обозревает» эту секцию. Работа машины происходит по той или иной определенной программе. Одна из программ решает так называемую «задачу прибавления единицы», т. е. получения числа $n + 1$, если на ленте машины имеется запись числа n (n — любое число).

При выполнении этой программы, точнее при ее составлении, возникает целая серия задач, охватывающих такие понятия, как «состояние» машины, «класс состояний», «включение одного класса состояний в другой класс состояний», «объединение классов» и т. д., т. е. многие важнейшие математические понятия. Обобщением основного понятия — операции счета — выступает при этом понятие алгоритма. Таким образом, «задача прибавления единицы» влечет целый ряд алгоритмических проблем (о которых см. [62, особ. с. 34—35]).

Вернемся теперь к более конкретным аналогиям.

* Окончание. Начало см.: ВЯ, 1989, № 4.

11. Реально наблюдаемые следствия из положений п. 7—9: совпадение слов, означающих число единиц первого разряда и высший разряд как целое. Индоевропейский материал был продемонстрирован выше — это общеизвестный факт использования одного корня для обозначения чисел «десять» и «сто», а также, возможно, числа «один». Тот же принцип, возможно, действует, как было сказано выше, при обозначении числа «тысяча» другим корнем. Процесс носит рекурсивный характер, в некоторых случаях более, в некоторых менее регулярный.

Показательный типологический материал приведен Г. А. Климовым и Д. И. Эдельман. Во многих кавказских языках с двадцатеричной (вигезимальной) системой счисления в обозначении числа «100» выступают производные слова с первоначальным значением «нож, ножевая зарубка»: авар. *nus-go* «100» при *nus* «нож, ножевая зарубка»¹⁰, бежитин., гунзиб. *čit* «сто; нож», андийск. *bešono* «100» при *bešon* «нож» и т. п. «В этой связи, — пишут упомянутые авторы, — уместно еще раз подчеркнуть... различие между принципами словообразования числительных в том или ином языке и системой счета, используемой его носителями... Хотя внутренняя форма названных выше производных обозначений „ста“ не отвечает ни десятичной, ни вигезимальной модели словообразования, сам факт выбора для них означаемого „сто“ может свидетельствовать о десятичной системе счисления, поскольку в рамках двадцатеричной системы последнего соответствующее производное образование скорее ожидалось бы для обозначения „четырехсот“ как некоторого „круглого числа“ (т. е. двадцать разрядов по двадцати, 20×20 . — С. Ю.). Ср. в этой связи известные из дардских языков случаи переноса перс. *hazar* „1000“ на обозначение „четырехсот“» [63, с. 33].

Проступающая здесь, как и в приведенном выше индоевропейском материале, семиотическая закономерность может быть сформулирована следующим образом: в разных системах счисления имя числа, являющегося основанием системы (т. е. имя числа, составляющего первый разряд), переходит на названия следующих разрядов (т. е. чисел, составляющих эти разряды).

Рассмотрим в этой связи еще один пример. Предполагают, что корень со значением «восемь», и.-е. **oktō* (*u*) (др.-инд. *aṣṭhāu*, греч., ὀκτώ, литов. *aštuoni*, гот. *ahtau* и т. д.), первоначально значил «четыре», поскольку слово для «восьми» выступает всегда в форме грамматического двойственного числа, т. е. значит, как полагают, «два раза X», где X — очевидно 4 (ср. [64, 65]).

В пользу такого предположения мы можем привести и чисто типологическую параллель: среди египетских иератических цифр в том их виде, как они записаны в папирусе Райнда (см. [66; 9, с. 17]), знаки для «четырех» и «восьми» отличаются особым соотношением. Первый из них обозначается одной горизонтальной чертой, а второй двумя такими чертами, т. е. представляет собой удвоение первого. Такое соотношение в этом цифровом алфавите нигде более не повторяется, т. е. ни «шесть» не представлено как удвоенное «три», ни «десять» как удвоенное «пять».

¹⁰ По поводу этого аварского слова Н. И. Толстой высказал замечание о том, что трудно избежать ассоциаций со славянской биркой — счетной палочкой, рассеченной надвое и имеющей разные зарубки. Н. И. Толстой считает, что такие палочки должны были быть и на Кавказе, что они очень древние и что у них есть общее с балканскими бирками, употребляемыми для счета скота, записи долгов и записи годовых календарных дней. Н. И. Толстой обращает далее внимание на наличие большой литературы о бирке (начиная с упоминания о «чертах» и «резах» у Черногорца Храбра).

И все же заключение, сделанное на основании формы двойственного числа, может быть и ошибочным. Так, слово, обозначающее «два», употребляется во всех древних и.-е. языках только в форме дуалиса, но это не значит, что корень слова «два» первоначально значил «один». Слово, означающее «восемь», могло употребляться в этой форме только потому, что обозначаемое им число мыслится как «пара», «делящееся на два».

Более веским доказательством служит комбинация упомянутого морфологического наблюдения с обнаружением картвельской параллели, вероятно, представляющей собой заимствование из индоевропейского: картв. **otxo* «четыре», груз. *otx-i*, лазск. *otxo* [67, 68]. Однако и этот аргумент, возможно, не является окончательным, поскольку, в силу общей семиотической закономерности, могло иметь место и иное соотношение: в четвертичной системе счисления слово, обозначающее конец первого разряда — «четыре» (основание системы), и слово, обозначающее конец второго разряда (второй разряд) — «восемь», могло быть одним и тем же по происхождению, результатом передвижения не только «снизу вверх», но и «сверху вниз».

12. Алфавитные отражения отмеченной выше особенности. Вполне ожидаемым следствием в области письма будет то, что знак числа, служащего основанием системы счисления, будет означать и последнюю единицу первого разряда, и весь этот разряд как целое (ср. «десять» — «десяток»), и первую единицу следующего, второго разряда. Речь идет при этом о системах, не знающих нуля, или, что то же самое, о системах счета длин по первым «зарубкам» каждого отрезка — о перспективных системах.

Сделаем предварительно еще одно допущение (оно соответствует историческому факту и в этом качестве будет рассмотрено отдельно), а именно, допустим, что знак, принятый для обозначения числа «один» — первой единицы первого разряда, каким-то образом стал обозначать также его последнюю единицу. Тогда, в силу отмеченной выше закономерности, мы получаем следующий ряд:

В десятичной системе						
Знак для числа	«1»	»	»	»	»	«10»
»	»	»	»	»	»	«20»
»	»	»	»	»	»	«30»
					и т. д.
»	»	»	»	»	»	«80»
»	»	»	»	»	»	«90»
»	»	»	»	»	»	«100»
И обратно:						
Знак для числа	«10»	»	»	»	»	«1»
»	»	»	»	»	»	«2»
					и т. д.

Доказанным фактом являются здесь лишь переходы «10»—«100»—«1000» («большая сотня», п. 4 выше) и, если принять материал п. 6, то «1» — «10» — «100» — «1000». Однако к другим отрезкам приведенного ряда можно привести внеиндоевропейские типологические параллели. Так, в вавилонской шестидесятеричной системе счисления (в клинописном письме) один и тот же знак — вертикальная черта, увенчанная маленьким косым треугольником, — обозначал числа «1», «60», «3600» (60×60). «Стоимость» знака увеличивалась при его продвижении в синтагматической записи слева направо. В вавилонской позиционной системе счисления это свойство является, по-видимому, непосредственным следствием языкового, точнее семиотического, основания — способа называния числовых разрядов.

Еще одна, семитская, параллель: араб. (и др.) *mi'at*²⁷ «сто» при др.-егип. *mt* «десять» и «большое число» [69, с. 30].

Интересующее нас явление обнаруживается также в отношениях между алфавитом деванагари и брахми, — т. е. в том случае, если считать, что первый восходит ко второму и при этом процессе перехода знаки «перемещаются». Индийский алфавит деванагари засвидетельствован в его наиболее древней форме — нагари с 633 г. н. э. [10, с. 155]; брахми известен по одной краткой надписи на монете второй пол. IV в. до н. э. (6 знаков, направление письма справа налево) и полностью в эдиктах Ашоки, правившего с 272 по 231 г. до н. э. (направление письма слева направо) [10, с. 154; 6, с. 181]. Для сравнения, отражающего, возможно, реальное историческое взаимоотношение алфавитов, приводим соответствующий фрагмент древнесемитского алфавита (в скобки взяты знаки, форма которых не представляется наглядно очевидным звеном в цепочке эволюции знаков — в таблице слева направо; см. рис. 4).

Др.=семитский		Брахми			Деванагари	
знак	фонет. знач.	знак	фонет. знач.	числ. знач.	знак	числ. знач.
⊕	t	⊙	tha	9	○	0
(𐤎)	m	𐀆𐀆	ma	40	𐀆	4
𐤎	n	(𐀆)	na	50	𐀆	5
𐤎	p	𐀆	pa	80	𐀆	8
𐤎	s	𐀆𐀆	ṣa	90	𐀆	9

Рис. 4

Знаки деванагари для «4», «8», «9» очевидным образом восходят к знакам брахми для «40», «80», «90» (учитывая повороты). Знак для «5» в деванагари соблазнительно было бы пытаться объяснить таким же образом, что отчасти возможно; но при этом кажется, что указанный знак скорее восходит к древнесемитскому, чем к знаку брахми для «50»; последний представляется неясным звеном в эволюции. Не менее вероятно, что знак деванагари для «5» восходит к знаку тоже для «5» в брахми — 𐀆𐀆; но тогда этот последний трудно возвести к знаку для «5» в древнесемитском — 𐀆. Одним словом, в отношении знака для «5» во всех случаях приходится констатировать некоторое «затемнение», и возможно, что этот знак следует объяснять совсем иным способом (см. ниже п. 19), а не «ротацией» знаков, как это сделано выше.

Напротив, «ротация» хорошо объясняет, каким образом знак брахми для «9» стал означать ноль в деванагари. Существовал исконный знак для «10», которым был в древнесемитском 𐀆 с фонетическим значением «j»,

а в брахми — $\downarrow \downarrow \downarrow$ с фонетическим значением «ya». (Происхождение второго от первого в графическом отношении представляется тоже достаточно неясным.) Этот первоначальный знак для «10» в силу «ротации» между знаками для «10» и «1» (ср. выше о десятичной системе в индоевропейском) приобрел, вероятно, значение единицы, чему, возможно, способствовала его графическая форма. Освободившееся место в континууме знаков числового ряда занял знак предшествующего десяти числа — знак для «9». Далее, в силу той же «ротации» этот новый знак для «10» снова передвинулся в начало счетного ряда и стал обозначать его абсолютное начало — новое понятие «нуль» (о принципе «ротации» см. ниже п. 19).

13. Другое следствие положения, сформулированного в п. 8—9: счет разрядами как целыми единицами. К этимологии русского слова *десято́сто*. Вернемся еще раз к нашей модели — сантиметровой линейке, первая зарубка которой обозначена знаком 0. Если считать зарубки, то десятой зарубкой, первым десятком будет зарубка с отметкой 9. Если же считать отрезки или, что то же самое, считать «правые концы» отрезков, то десятой зарубкой или десятым отрезком будет зарубка, совпадающая с отметкой 10, но эта отметка одновременно является первой зарубкой второго десятка (см. п. 8—9). (Это, соответственно, проспективная и ретроспективная системы счета.) В любом случае первый десяток воспринимается как нечто противоречивое, как «несовершенный», или «неполный», десяток. Первым п о л н ы м десятком будет отрезок между 10 и 20 или само число 20; вторым полным десятком — отрезок между 20 и 30 или само число 30 и т. д.

Из этого положения, представляющего собой некоторую теоретическую абстракцию, вытекают тем не менее определенные следствия, одни из которых оказываются непосредственно наблюдаемыми (это особенности славянского счета на десятки), а другие — гипотетическими (это особенности русского слова *десято́сто*). Остановимся на них в этом порядке.

Особенный счет на десятки в сочетании со счетом на единицы отражен в старославянских и древнерусских обозначениях чисел в п р о м е ж у т к е между 20 и 30. В памятниках представлен и обобщенный способ счета, такой же, как современный, например: «двадцать пять» обозначается как *дѣва десяти и пять*. Но наряду с ним встречается и архаический способ, который и интересен для нас в данной связи, например: *Преставися ... Андриѣ Володимеричѣ в Переяславлѣ, мѣсяца генваря 22; а въ третии межи деся(т)ма погребенъ бысть у святаго Михаила* (Лавр. летоп. 6649 г., по Радз. сп. [70, т. 2, стлб. 125]), здесь день погребения — двадцать третий. Вообще, выражение при таком счете *междѣ (между, межю, межи) десятма* значит «между двумя десятками», но, как видно и из приведенного примера, относится к числам между 20 и 30. А. Вайан считал, что такой способ счета в старославянском относится только к порядковым числительным [71, с. 193], но И. И. Срезневский [70, стлб. 124—126] приводит примеры и на количественные числительные, например, *четыре межи десятма* «24» (так же [72, с. 17] применительно к старославянскому).

И. И. Срезневский, кроме того, указывает [70], что *межи десятма* само по себе значит «двадцать». Это замечание, однако, вряд ли верно. Названное выражение значит «20» только в указанных словосочетаниях, что, очевидно, является просто следствием разложения словосочетания по пропорции — *дѣва десяти четыре: дѣва десяти = четыре межи десятма*: X, откуда выделяется *межи десятма* в значении «20».

Отсюда следует, что «первый десяток» — это 20, а «второй» — 30. Конечно, это не отвечает нашему современному пониманию десятков, но со-

ответствует древнему счету на десятки, при котором «абсолютно первый» десяток вообще не является десятком, а лишь множеством единиц.

Если это так, то вторым, гипотетическим следствием может быть новая этимология слова *девяносто*. При нашем современном способе счета слово *девяносто* (как и *десять*, *двадцать*, *тридцать* и т. д. — любое обозначение числа десятков или, лучше сказать, определенного по порядку десятка) означает количество единиц, т. е. «девяносто единиц». Или, если обратиться к представлению на модели — линейке, зарубку с отметкой 90. Но при счете на десятки это слово означает «девятый десяток», т. е. — на линейке — отрезок между зарубками 90 и 99. Следующий, десятый десяток будет уже первым десятком в т о р о й с о т н и. Поэтому слово *сто* входит в обозначение этого последнего десятка сотни вполне закономерно. Этот факт общепризнан (ср. [25, с. 65]). Казалось бы, из него и нужно исходить при установлении этимологии *девяносто*.

Однако помехой служит как раз возможность — чисто теоретическая — объяснить это слово без специального обращения к семантике счета, как закономерно-фонетическое развитие прасл. **deve* (t) — *desetъ*, — вполне регулярного в ряду *двадцать*, *тридцать*, *пятьдесят*... **девятъдесять*. Так и поступает О. Семереньи, делая при этом вывод, что «праславянский бесполезен для реконструкции индоевропейской системы числительных» [25, с. 65]. Для реконструкции словообразования числительных этот факт, может быть, и «бесполезен», но он далеко не бесполезен для реконструкции систем счета, которые, как уже было показано выше (п. 11), довольно независимы от способов словообразования имен чисел.

Изложенное здесь согласуется также с соображениями о смысле слова *девяносто*, изложенными О. Н. Трубачевым [15, вып. 4, с. 220], как обозначения так называемой «малой сотни», т. е. сотни из «десяти девяток». На наш взгляд, впрочем, вернее было бы говорить в этом случае о сотне из «девяти десятков». А эти соображения далее можно совместить с этимологией понятия «большая сотня» в германских языках, соответствующего числу 120. Ф. Зоммер, основываясь, в частности, на счетных словах древнеисландского и древнеанглийского языков, где имеются специальные обозначения отрезков числового ряда 100—110—120, показал, что понятие «большая сотня» (нем. *Großhundert*) имеет смысл не «десять дюжин», а «двенадцать десятков» [73, с. 65]. Таким образом, базой счисления во всех аномальных случаях остается число 10 и счет идет на десятки: «девять десятков» — герм. «малая сотня», гот. *niuntēhund*, русск. *девяносто*; «десять десятков» — обычная сотня; «одиннадцать десятков» — др.-исл. *ellefo tiger*, др.-англ. *hundelleftiz*; «двенадцать десятков» — др.-англ. *huntwelftiz*, нем. *Großhundert*. Однако это относительное единообразие в данном отрезке числового ряда нарушалось частными историко-культурными закономерностями отдельных языков. Так, в общегерманском, по Ф. Зоммеру, числовой ряд делился на фрагменты 1) до 60 включительно, 2) от 70 до 100, 3) (100) — 110 — 120; понятие «малая сотня», или «девятая сотня», сложным образом соотносилось, с одной стороны, с понятием «сотня», с другой, с понятием «десяток»; ввиду этого его толкование как «девятая сотня», т. е. «десять девяток» — что противоречило бы нашему рассуждению — отражает лишь один исторический этап и не исключает толкования «девять десятков». (В подробностях см. [73, с. 51—57]; рассуждение А. Вайана о смысле *девяносто* как «cent des neuf» скорее подтверждает мнение О. Н. Трубачева; см. также [74, с. 645].)

Интересную и до конца не объясненную параллель к изложенному выше составляют латинские факты. При счете времени римляне, как и греки,

употребляли обычно порядковые, а не количественные числительные; при этом количество единиц отсчитываемого времени, естественно, увеличивалось на 1, например: *quartum iam annum regnat* «четвертый год он уже царствует», т. е. «три года прошло, как он царствует, идет четвертый». Однако иногда римляне увеличивали количество на 1 и при счете времени количественными числительными. Так, например, император Август в своем «Завещании», говоря о своих деяниях, совершившихся, когда ему было 18 лет, пишет *annos undeviginti natus* «в возрасте 19 лет»; так же у Плавта *nam illa med in aluo menses gestavit decem* (Plautus, Stichus, 159) «она меня во чреве десять месяцев носила». Это явление счета объясняют либо влиянием счета с порядковыми числительными, либо, в случае счета месяцев, тем, что считались не обычные, а более короткие, лунные месяцы [75, § 206]. Можно, однако, предположить и более общую причину сдвига счета на 1, указанную выше.

14. Семиотическое обобщение предыдущего: дробь как иная мера (сравнительно с мерой целых единиц). Начнем с исторического экскурса. В Древнем Египте, как указывает М. Я. Выгодский, всякая дробная часть единицы выражалась суммой «основных» дробей, которыми считались так называемые аликвотные дроби вида $1/k$, $1/2$, $1/3$ и т. д. Они изображались графически посредством овала, под которым помещался знак числа, в нашем изображении дробей стоящего в знаменателе. Например, овал с пятью палочками под ним означал « $1/5$ ». Однако — и это как раз важно для нашей темы — в этой системе имелось особое выражение, пережиток более древнего способа: овал с двумя палочками означал не « $1/2$ », а «две части», т. е. «две третьих»; овал с тремя палочками — не « $1/3$ », а «три части», т. е. «три четвертых». Иными словами, в этих случаях подразумевалось, что «две части» берутся из «трех»; «три части» — из «четырех», и т. д.; вообще, « k частей» означало « k частей из $(k+1)$ » [9, с. 22—23; 76, с. 103—106]. Иначе говоря, в древней системе символ дроби, « k частей», означал отношение не к одной и той же мере, к одному и тому же числу — единице, а каждый раз к иной мере, иному числу — « $k+1$ ». Дробь была переменной мерой — счетом каждый раз в иных единицах, в зависимости от вышестоящей единицы. (Сам знак овала в египетской системе означал также меру емкости — около 0,17 л.)

Из этого положения следует, что отвлеченная система дробей (современного типа) не требуется там, где сосуществуют различные меры счета — более крупные и более мелкие; отвлеченная система дробей и сосуществующие единицы счета взаимно исключают друг друга. Это следствие можно проверить историческими наблюдениями. Р. Татон обобщил их довольно четко: «В древнем мире обилие и разнообразие единиц мер довольно часто позволяло не прибегать к использованию дробей» [77, с. 57]. То, что с современной точки зрения является дробью, например, десятая часть единицы при счете на единицы, или единица при счете на десятки, или вообще какая-либо часть большей меры просто оценивалась в другой материальной мере. Конкретным примером может служить любая древняя система мер длины, в частности, старая российская система погонных мер: *верста* = 500 *сажен*, *сажень* = 3 *аршина*, *аршин* = 16 *вершков* (вершок = 4,445 см). Эти меры не соизмеримы по единому основанию, которое выражалось бы каким-либо одним для всех соотношений отвлеченным числом (хотя соизмеримы по единой материальной мере длины — вершку). Однако эти различные меры достаточно разнообразны и поэтому система в целом достаточно гибка.

В сущности в снятом, абстрагированном виде это положение дробей сохраняется и в современной системе. Дробь в современной математике определяется как часть единицы или несколько равных частей (долей) единицы (ср. [78, с. 58]). Между тем единица — это предельная наименьшая мера счета целых чисел, т. е. обычного счета. Следовательно, дробь — иная мера в иной системе счета, чем счет на единицы. То же соотношение — при счете на десятки сравнительно со счетом на единицы. Обратимся снова к нашей модели — линейке. Предположим, что мы считаем десятками, в данном случае десятками миллиметров, сантиметрами. Тогда отрезок линейки, расположенный левее отметки 1, — он содержит более мелкие отрезки, а именно миллиметры, являющиеся «единицами» в противопоставлении «десяткам», сантиметрам, — вообще не будет счетной мерой, т. к. он не содержит полного десятка. Число «19» при счете на десятки должно быть описано так: «Один полный десяток и девять каких-то более мелких сущностей, долей десятка». Это мы и констатировали выше при разборе слова *девьясто*.

1°. Понятие «доби» как иной меры при счете времени. Понятия «чао» и «день», столь естественно связывающиеся для нас в нашем современном сознании, — час как определенная часть дня, день как сумма часов, по происхождению совершенно различны. Подобно мелким и крупным мерам длины (русск. *сажень* и *верста*), они возникают из мер разных явлений, а их соотносительность как разных долей одного и того же — продукт долгого исторического развития. Не имея, естественно, возможности остановиться здесь на этимологиях всех или хотя бы важнейших относящихся сюда слов в индоевропейских языках, напомним лишь некоторые факты.

Индоевропейские понятия «день» и «ночь» восходят к обозначениям «светлого и темного времени суток, связанным с соответствующими активными силами природы, божествами. Семантически близки к ним понятия «утра» как «зари, восхода» и «вечера» как «вечерней звезды, заката» и т. п. Во всем этом достаточно разнообразном семантическом поле проступает единый инвариантный ряд понятий, детали и конкретные вариации которого в разных языках здесь не являются предметом нашего рассмотрения.

Существенное другое. Имеется, по-видимому, другой инвариантный ряд, независимый от первого: «вчера» — «сегодня» — «завтра», имеющий не семантическую, как первый ряд, а дейктическую природу и выражающийся в индоевропейских языках не в именах существительных, а в наречиях. Именно этот ряд важно рассмотреть в связи со счетом времени.

Конечно, первый и второй ряды в конкретных формах разных индоевропейских языков взаимосвязаны и часто наречие занимает свою форму от имени существительного или, напротив, превращается в имя. Тем не менее различие обоих рядов остается константой, и именно это будет интересоваться нас здесь в первую очередь.

Центральным пунктом дейктического ряда является, естественно, обозначение текущего дня, во всех языках восходящее к сочетанию понятия «день» и дейктической частицы: русск. *сегодня*, др.-инд. *a-dyá, a-dyá*, греч. *σήμερον*, лат. *hodiē* < **h-o-diē*, гот. *himma daga*, др.-сакс. *hiudiga*, др.-в.-нем. *hiutu*, ст.-слав. *днь-сь*, русск. *дне-сь* и т. п. Предшествующее сегодняшнему дню время обозначается наречиями, восходящими к и.-е. корню **ghies-*: др.-инд. *hyas*, греч. *ἕρι*, лат. *here, heri* из **hesi* // **hesi*, др.-в.-нем. *ges-tre*, гот. *gistra-dagis*. Общеиндоевропейский корень

ция наречия «завтра», в отличие от «вчера», отсутствует, и соответствующие наречия индивидуальны в разных языках.

Проблему составляют ассоциации («переходы») между понятиями «утром» и «завтра» и, так сказать, с другой стороны от центральной точки, между понятиями «вечер», и «вчера». Эти ассоциации на зависят от индивидуальной истории слов в разных языках (одинаковы при разных историях) и носят универсально-семантический характер [79, с. 27], или, сказали бы мы, семиотический характер. К. Бругман [79] принимает эти ассоциации как нечто естественное, само собой разумеющееся и считает проблемой лишь распространение понятия «утро» на «весь будущий день» и понятия «вечер» на «весь прошедший день». Этот переход объясняется им вполне удовлетворительно — как общесемантический сдвиг от обозначения точки на обозначение связанной с ней протяженности, отрезка. Однако проблемой остается другое: почему вечер связывается с прошедшим, а утро с будущим?

В самом деле, если мы находимся, так сказать, в середине дня (середине отрезка времени «сегодня»), то не менее естественно отнести утро (того же дня) к прошедшему, а вечер — к будущему. Однако этого почти никогда не происходит. (К. Бругман отмечает мимоходом, как частный случай, следы значения «завтра» у др.-инд. слова *hyās* «вчера», причем особенно важно одно место в «Ригведе» — 10, 55, 5 [79, с. 10]. Мы можем добавить к этому пример из греческого: *πρωία* «утро» — *πρωιά* «позавчера», т. е. «утром дня, предшествующего вчерашнему», — подробнее см. ниже п. 17.) Мы можем объяснить указанные ассоциации только одним — особенностями счета времени: счет времени в «мере дней» начинался ночью. Поэтому естественно, что вечер (только что прошедший) ассоциировался с прошедшим днем, был уже «вчера», а ожидаемое утро ассоциировалось с будущим днем, с «завтра» (ср. русск. *завтра* = *за утро*). (См. также ниже.)

В отличие от «крупной меры» времени, «мелкая мера» времени — час возникает совсем из других, более конкретных представлений. Русск. *час*, согласно наиболее достоверной этимологии, восходит к балто-слав. корню **kes-* «резать, делать зарубки, скрести, чесать и т. п.». Первоначально это слово означало, по-видимому, зарубки на дереве или деревянном предмете (столбе, дверной притолоке и т. п.), которой отмечался некий момент времени.

Для того, чтобы прийти к значению «доля дня или ночи», это слово, очевидно, должно было пройти следующие этапы: 1) от значения «час» как «момент» к значению «час» как «отрезок длительности». Это развитие является частным случаем общесемантического принципа, уже отмеченного выше: начало процесса переходит на обозначение всего процесса; граница пространства переходит на обозначение всего пространства (ср. [79, с. 23, 28; 80, с. 43—44]). Одновременно это развитие значений является частным случаем принципов счета: при ретроспективном способе счета, в моделировании на сантиметровой линейке, зарубка с пометой 1 означает не только точку, но и предшествующий отрезок (см. п. 7); 2) от значения «час» как вариативной, разной по обстоятельствам меры длительности внутри дня и ночи — к значению «час» как всегда одной и той же, «двадцать четвертой части дня и ночи в их совокупности, непрерывности». Этот этап, очевидно, аналогичен становлению обобщенного математического понятия дроби.

Оба этапа сравнительно легко прослеживаются в памятниках материальной культуры, прежде всего в истории часов, благодаря тому, что

часы — инструмент измерения времени — материально моделирует этот процесс развития понятий. О. А. Добиаш-Рождественская, специально исследовавшая историю часов в раннем европейском средневековье, отмечает, что хотя теоретический «час» как одна двадцать четвертая часть суток был известен, однако на практике выделялись только некоторые часы суток (как «моменты», а не «длительности»), соответствующие либо моментам церковной литургии, либо важным моментам в быту. Но во всех случаях число этих моментов дня, «часов», было гораздо меньше 12.

Так, в церковном обиходе из цикла 12 выделялись посредством специальных терминов только некоторые моменты: *matutina* «утренник», до солнечного восхода; *prima* «первый час», совпадающий с восходом; далее *tertia* «третий»; *sexta* «шестой», полдень (отсюда совр. итал., исп. *siesta* «сиеста, полуденный отдых»); *nona* «девятый», за три часа до заката; *vesper* «вечер», час заката; *completorium* «исполнение», завершение дня, через три часа после заката. Всего — 7 терминов для дня и один или три либо четыре (по числу «ночных страж» иерусалимского храма) для ночи [81, с. 13, 166, 237]¹¹.

Следует обратить внимание на неравнозначность, несимметричность указанных латинских обозначений часов. В то время как (*hora*) *matutina* обозначает длительность — время до восхода солнца, *prima*, *tertia*, *sexta* и т. д. обозначают моменты.

Переход от значения «момент» к значению «длительность, отрезок» также зафиксирован материально. Вот описание, сделанное О. А. Добиаш-Рождественской: «Над дверьми древней церкви Бишопстона (графство Суссекс) сохранились солнечные часы, которые на основании убедительных соображений отнесены к VII в. Тяжелая каменная доска, заканчивающаяся закруглением, несет в верхней части циферблат в виде полуокружности, разбитой на 12 делений 13 радиусами, из коих 5 соответствуют „каноническим часам“: *matutina*, *tertia*, *sexta*, *nona*, *vesper* — длиннее других и заканчиваются крестами...»; описав еще несколько часов той же эпохи, исследовательница заключает: «... число делений на всех этих кадранах неодинаково. На одних, как мы видели, их имеется 12, с объединением в 5 или четыре (если часами считать, как это, очевидно, в данном случае надлежит, не радиусы, но расстояния между ними), на других — четыре, на третьих — восемь» [81, с. 15—16; разрядка наша. — С. Ю.]. Исследовательница высказывает в этой связи замечательную мысль: отсутствие механизма для измерения времени было связано с отсутствием одной меры — часа.

Таким образом, процесс выработки понятия «час» как стабильной меры, не варьирующейся ни по времени суток, ни по времени года, 1/24 части суток, аналогичен процессу становления обобщенного понятия «дробь», особенно «десятичной дроби».

Понятие «часа» как единой, общей «мелкой меры» разных «крупных мер» времени позволяет соотносить эти разные, зачастую трудно соизмеримые системы. Это явление можно проиллюстрировать на примере установления Б. А. Рыбаковым точной даты смерти киевского князя Ярослава Мудрого (20 февраля 1054 г.), бывшей до этого предметом дискуссий. Б. А. Рыбаков указывает, что для определения начала дня на Руси той поры существ-

¹¹ В связи с этим местом Н. И. Толстой обратил наше внимание на то, что и у древних славян полночь не была четкой границей. Границей, вероятно, был период от позднего вечера до первых петухов, одинаково (но под разными, хотя и сходными названиями) выделяемый, например, в белорусском Полесье и у сербов.

вовало два принципа: по церковному счету новые сутки начинались с полуночи, как и у нас теперь (и, добавим мы, как, вероятно, в глубокой древности, если учесть индоевропейские данные, приведенные выше), по бытовому счету — с рассвета. (Сутки в обоих случаях делились на 24 часа.) «Учет подобного двойственного счета примиряет все спорные даты: Ярослав, очевидно, действительно умер в ночь с субботы на воскресенье между полночью (24 часами) и 6 часами утра. По одному счету (бытовому) это была еще суббота, а по церковному счету — уже воскресенье» [82, с. 63]. Соотношение обеих систем Б. А. Рыбаков представляет следующим графиком, «составленным с учетом того, что в конце февраля первый дневной час начинался в 6 час. 5 мин. пополуночи». Этот график (см. рис. 5) интересен и для нашей цели: он иллюстрирует роль «мелкой меры» — часа, «дробь» дня — для соотношения двух систем счета времени — бытовой и церковной¹².

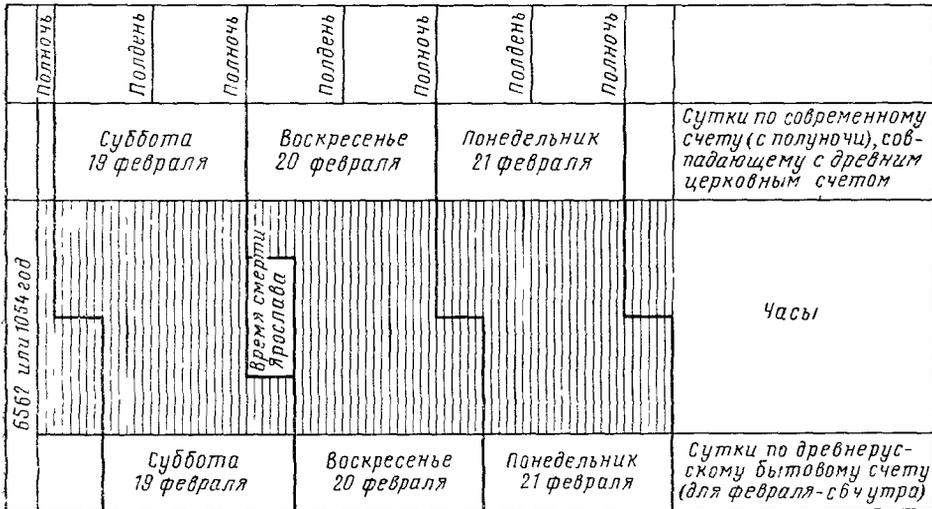


Рис. 5 (По Б. А. Рыбакову)

16. Счет времени как отражение всех особенностей счета. Счет дней православной недели. Счет времени, по крайней мере, в индоевропейских языках, обнаруживает все особенности счета, отмеченные в предыдущих пунктах: наличие двух способов счета — ретроспективного и проспективного; исчезновение конечных точек при счете отрезков времени; совмещение ретро- и проспективного способов в пределах одной системы счета времени, т. е. «бустрофедон времени» (о бустрофедоне специально см. ниже п. 18 и 19); естественно связанные с этим представления о «круге времени», или «кольце времени».

Два способа, или две системы, в действительности обнаружены С. М. Толстой в счете дней в православном церковном календаре [83]. Таким образом, наша модель, изложенная в п. 7, может опереться на совершенно независимые и ранее опубликованные материалы С. М. Тол-

¹² Н. И. Толстой обратил наше внимание на то, что у славян существует двойное отнесение ночи — то к предшествующему, то к последующему дню. Он считает это явление изоморфным с константным выделением у славян лета — зимы и вариативным отнесением к последним весны — осени.

стой, которые в семиотическом плане являются частным случаем проявления общей закономерности (ср. выше в п. 0 об относительной независимости семиотических закономерностей от их исторического осуществления) и тем более от последовательности их открытия исследователями).

С. М. Толстая обращает внимание на то, что в православном календаре имеются недели двух типов: недели, начинающиеся с воскресенья и заканчивающиеся субботой, и недели, начинающиеся с понедельника и заканчивающиеся воскресеньем. Первый счет¹³ дней (от воскресенья) применяется в неделях пасхального цикла — от Пасхи до Троицы. Недели (седмицы) этого цикла называются и нумеруются в соответствии с названием или номером предшествующего воскресенья, которое тем самым считается принадлежащим именно этой неделе и называется: Светлое воскресенье → светлая неделя (седмица); за ней следует 2-я седмица, опять начинающаяся воскресеньем, 3-я седмица, начинающаяся воскресеньем, и т. д. до 7-й седмицы, которая непосредственно предшествует Троице. В отличие от этого, недели троичного цикла, отсчитываемые от Троицы, нумеруются и называются по номеру и названию (если оно есть) воскресенья, которое кончает неделю. Таким образом, после 1-й седмицы по Пятидесятнице следует 1-е воскресенье по Пятидесятнице, после 2-й седмицы — 2-е воскресенье и т. д., вплоть до 33—38-й седмицы, завершаемой воскресеньем о мытаре и фарисее. Этот же счет дней продолжается и в великопостных неделях вплоть до Вербного воскресенья. (Следует иметь в виду, что в церковном календаре слово *неделя* в соответствии с его первым значением в церковнославянском языке значит «воскресенье», а русскому слову *неделя* соответствует *седмица*.)

С. М. Толстая называет эти две системы счета так: «*п р о с п е к т и в н о й*, т. е. ориентированной на следующее за неделей воскресенье и, таким образом, начинающей неделю с понедельника (вербная неделя → Вербное воскресенье), и *р е т р о с п е к т и в н о й*, т. е. начинающей неделю с воскресенья и называющей или нумерующей ее по этому предшествующему воскресенью (Светлое воскресенье → светлая неделя)» [83, с. 157]. Нетрудно видеть, что термины «*проспективный*» и «*ретроспективный*» в употреблении С. М. Толстой и в нашем (см. выше) как бы поменялись местами. Это заставляет поставить более общий вопрос о терминах.

Оба словоупотребления, С. М. Толстой и наше, по-своему мотивированы. Термин «*ретроспективный*» (счет) в употреблении С. М. Толстой, означающий, что неделя начинается с воскресенья и обозначается по нему, может быть мотивирован тем, что в то время, когда будут наступать все остальные недели после воскресенья, само воскресенье будет уже прошлым, «позади», и, следовательно, неделя называется по уже прошедшему ее моменту. Термин «*проспективный*» мотивирован тем, что вся «*проспективная*» неделя обозначается тем ее днем (воскресеньем), который по отношению к неделе есть лишь будущее, предстоящее, перспектива.

В нашей модели термин «*ретроспективный*» имеет обратное значение по отношению к его употреблению С. М. Толстой, и наше словоупотреб-

¹³ Ознакомившись с нашим толкованием описанных ею фактов, С. М. Толстая уточняет, что она имела в виду не столько сам способ счета, сколько его языковое выражение, т. е. способ номинации недели либо по предшествующему воскресенью (начальная точка отрезка), либо по последующему (конечная точка отрезка); если же говорить не о неделях (отрезках), а о воскресеньях (точках), то их номинация будет обратной номинации одноименных недель: проспективной неделе соответствует ретроспективное воскресенье (одноименное) и наоборот.

ление может быть мотивировано тем, что весь отрезок длины или времени назван или пронумерован лишь тогда, когда он уже «пройден», следовательно — обозначается в ретроспективе. Соответственно обратная мотивировка объясняет термин «перспективный».

В нашем использовании этих терминов их значение возникает из тех случаев, когда отрезки длины или времени еще не просчитаны, они еще только считаются и еще только обозначаются, — из случаев **п е р в и ч н о г о** наименования и **п е р в и ч н о й** нумерации, когда речь идет о счете в прямом значении слова «счет». Значение же этих терминов у С. М. Толстой возникает из тех случаев, когда объекты (дни недели и недели года) уже просчитаны, известны, — речь идет о проведении границ в сосчитанном и известном множестве, следовательно, о наименовании **в т о р и ч н о м** и о нумерации **в т о р и ч н о й**. (Термины «первичный», «вторичный» мы употребляем здесь вполне аналогично тому, как их употребляют в теории номинации, говоря о «первичной номинации объектов» и о «вторичной номинации объектов».) Таким образом, оба словоупотребления приемлемы, и этот вопрос можно считать для данного случая решенным ¹⁴.

Однако, как это почти всегда бывает в научном рассуждении, снимая один вопрос, мы поднимаем новый, еще более сложный. В данном случае возникает даже два таких вопроса. Во-первых, вопрос о **н а п р а в л е н и и** **в р е м е н и** или, точнее, о том или ином представлении людей о направлении времени. Мы вынесем его для обсуждения в отдельный пункт ниже (п. 17). Во-вторых, возникает вопрос о сосуществовании двух способов счета, об их совмещении в одной системе и о сопутствующем явлении — исчезновении крайних точек при счете длин и отрезков времени. Остановимся на этом «пучке» вопросов.

Его центральным пунктом является общая семиотическая закономерность — два способа обозначить при счете высший разряд, когда закончен низший, предыдущий. Мы уже цитировали (п. 9) мнение математика на примере семеричной системы: просчитав от 0 до 6, т. е. закончив первый разряд, «естественно обозначить число 7 как единицу второго разряда, т. е. символом 10», который означает отсутствие единиц в первом разряде (т. е. «нуль» единиц) и наличие одного целого, а именно второго, разряда (один второй разряд — 1). В самом деле — и к этому рассуждению присоединится любой лингвист и семиотик — естественно обозначить число, соответствующее переходу в новый разряд, каким-либо новым символом, отличным от предыдущих. (Это, в частности, сделано в семит-

¹⁴ Но в других случаях и в общем виде вопрос о соотношении первичной и вторичной номинации при счете, а также роль в этом процессе письма, — далеко не так ясен. Примером сложности может служить следующее. Латинский способ обозначения некоторых чисел путем прибавления, а вычитания был заимствован римлянами, как и письменность вообще, у этрусков. Однако в этрусской системе вычитание применяется для чисел 17, 18, 19; 27, 28, 29; 37, 38, 39; ... и т. д. до 97, 98, 99. В латинской же системе, по невыясненным причинам, — только для 18, 19; 28, 29 и т. д. до 98, 99. Например, лат. *duo de uiginti* «18», букв. «два от двадцати». М. Лежен считает, что посредником между латинской и этрусской системами сч е т а послужил способ з а п и с и чисел. Например, XIX первоначально читалось римлянами вполне регулярно как **nonedecim* (ср. *undecim*, *duodecim* и т. д.). Этруски же читали это как «один от двадцати» [84, с. 248]. Однако если быть точным, то указанному этрусскому и последующему римскому чтению должна была бы отвечать не запись XIX, а IXX, которая, по-видимому, не встречается. К тому же данные М. Лежена чрезвычайно запутаны тем, что он «для удобства читателя» «транспонирует» этрусскую запись справа налево в римскую слева направо. Но при этом запись XIX не отвечает ни тому, ни другому способу.

ском и греческом алфавитах путем использования особых букв для чисел «7», «10», «20», благодаря чему эти алфавиты можно применять к любой системе счисления, хотя обычно они применялись только к десятичной системе.) Но вовсе не представляется заведомо естественным обозначить седьмую единицу счета — в приведенном примере — с о с т а в н ы м символом (т. е. так, как это сделано в современном алфавите математики, где для этой цели использован символ 10).

Указанное различие двух способов обозначения — простым или составным символом — можно обобщить в такой формулировке: в современном алфавите математики (арифметики) в любой системе счисления число, служащее основанием счисления, не имеет собственного (простого) символа и обозначается составным символом — комбинацией 0 и 1, т. е. символом 10. Это обстоятельство очевидным образом связано с наличием нуля в алфавите арифметики. С семиотической точки зрения, эта особенность является абстрактным отражением конкретного свойства — «ретроспективного» способа счета (см. выше п. 7, 9, 13, 16). При таком способе каждая «точка счета» (на линейке «зарубка»), начиная со второй, из двух своих «значений» (1. «конец предыдущего отрезка или разряда»; 2. «начало следующего отрезка или разряда») имеет только второе значение, означая начало следующего отрезка или разряда. Первое значение каждой «точки счета» («зарубки») в этой системе не выражается, специальным символом не фиксируется и является лишь сопутствующим значением («коннотацией») второго значения.

Последствия, вытекающие из наличия этого свойства счисления, для повседневной практики сводятся, скорее, к неудобствам. Они особенно ощутимы при совмещении обоих способов счета — ретро- и проспективного. Так, в начале нашего века бурно обсуждался вопрос: «С какого года начинается 20-й век — с 1900-го или с 1901-го?» или, точнее: «С какого момента начинается 20-й век — с 1-го января 1900-го или с 1-го января 1901-го года?». Если встать на точку зрения обыденного сознания, оперирующего при счете натуральным рядом чисел, т. е. «проспективной» (в нашем смысле) системой счета длин и отрезков времени, то новый век начинается с года, обозначение которого кончается на 1, т. е. в данном случае с 1901 года. В точности так же, как первый год любого явления начинается с обозначения «один», «первый», а не «нуль»: мы говорим «С такого-то момента X начался и пошел 1-й год (чего-то)» («первый», а не «нулевой»). К тому же наше летоисчисление, «наша эра», началось не с нуля, а с единицы. И это тем более парадоксально, что имеется отрицательная система счета — годá «до нашей эры» или, лучше сказать, «отрицательная половина» системы; но эта «половина» примыкает к «положительной» половине минуя знак «нуль», который отсутствует. (Сравним иное положение при счете градусов температуры.)

Если же — что не менее естественно и действительно применяется в современной технике, например, в космонавтике, — считать, что отсчет времени (длительности) какого-либо процесса начинается с точки «нуль» (с «момента нуля»), то система отсчета дат будет системой с нулем («ретроспективной» системой в нашем смысле), нулевой год будет первой «отметкой» в числе годов. И тогда 1900-й год будет первым годом 20-го века.

Существует и еще одна, третья возможность решить поставленный выше вопрос о первом годе 20-го века — возможность, предопределенная особенностями счета длин или отрезков времени (п. 8): понятие «год» (как и понятия «день», «час» и т. д.) может мыслиться либо как «точка»

в ряду лет, как «момент», как «зарубка» на оси времени, не имеющая протяженности, либо как протяженность, «отрезок» между «зарубками». Третья возможность счета дат заключается в том, что протяженности («отрезки») рассматриваются одновременно как единицы счета (как «широкие зарубки»). В этом случае — одновременно, но в разных системах счета — 1900-й год будет последним годом 19-го века и одновременно первым годом 20-го века (ср. выделенный отрезок на рис. 3). Но поскольку год является не только числом («зарубкой» или «отметкой») в числе годов, но и вполне ощутимой протяженностью, обычному сознанию нелегко примириться с «потерей» целого года при таком счете.

Споры вокруг вопроса о «первом годе 20-го века» отражают реальную сложность реально существующей системы: счет, начатый в одной системе, в определенный момент, достаточно удаленный от начала, может восприниматься в другой системе. При этом введение «мелкой меры», например — месяцев при счете лет, может способствовать корректному совмещению обеих систем (ср. выше схему Б. А. Рыбакова).

По-видимому, этими же особенностями объясняется различная первоначальная, исходная семантика (внутренняя форма) словесного знака, означающего «через неделю». В русском языке она эквивалентна значению словосочетания «через семь дней», во французском — «через восемь дней» (хотя современное его значение — то же, что и в русском, т. е. «через неделю»). Ср.: *dans huit jours, d'aujourd'hui en huit*; так же «отложить на неделю» — *remettre à huitaine*; «каждую неделю» — *tous les huit jours*; во французском языке выражение *dans huit jours* часто употребляется при приблизительном счете, в русском ему соответствует в таком случае *дней через семь, через неделку*.

Совмещение ретро- и проспективной систем счета при цикличном счете приводит к потере одной единицы в одной части цикла и к появлению лишней единицы — в другой части. Именно это констатировано С. М. Толстой в упомянутой работе: «...В точках переключения с одной системы счета на другую получаются одна неделя вообще без воскресенья, а другая — с двумя воскресеньями. Действительно, страстная неделя (седмица), завершающая проспективный (здесь — по терминологии С. М. Толстой. — С. Ю.) цикл недель, не имеет ни одного воскресенья, ибо предшествующее ей Вербное воскресенье принадлежит предыдущей, вербной неделе, а следующее за страстной неделей Светлое воскресенье принадлежит следующей, светлой неделе и начинает собой новый, ретро-спективный цикл (в терминологии С. М. Толстой. — С. Ю.). И наоборот, неделя, начинающаяся праздником Троицы (воскресенье), т. е. 1-я седмица по Пятидесятнице, завершается тоже воскресеньем — 1-й неделей по Пятидесятнице» [83, с. 158].

В этой связи можно, по-видимому, сделать следующий вывод: счет дней православной недели представляет собой компромисс между двумя системами счета — ретро- и проспективной.

Нетрудно видеть, что если бы дни недели считались в какой-либо системе, то совмещение двух систем приводило бы к путанице. Счет же дней выражается определенным образом, и далеко не всегда прямо, в именах дней недели. Поэтому имена дней православной недели должны быть организованы как-то так, чтобы не мешать совмещению двух систем счета. Остановимся на этом пункте подробнее.

В литовской системе (католической) дни недели называются прямо по счету, начиная с понедельника: *pirmadienis* «перводень», *antradienis*

«втородень», *trečiadienis* «третьедень», *ketvirtadienis* «четверодень», *penktadienis* «пятидень», *šeštadienis* «шестодень», *septadienis* «семидень» — воскресенье. Здесь никакое изменение счета невозможно, т. к. все дни получили бы при этом иные метки.

Иное — в православной неделе. С. М. Толстая подчеркивает, что в славянских названиях дней недели, названных по числительным, — вторник, четверг, пятница — эти последние следует трактовать не как порядковые номера дней недели, а как номера дней, идущих после недели (воскресенья). На это указывает название *по-недельник*, букв. «(идущий) после недели»¹⁵. Тогда вторник — это второй день после недели, четверг — четвертый, пятница — пятый, «а среда в соответствии со своей внутренней формой оказывается срединным днем в ряду дней, идущих после недели (воскресенья)» [83, с. 158].

Последнее замечание, кажется, можно уточнить: среда оказывается срединным днем в ряду не только «номерных» дней недели (понедельник, вторник — среда — четверг, пятница), но и в ряду всех дней, включая воскресенье и субботу (воскресенье, понедельник, вторник — среда — четверг, пятница, суббота). Поскольку этимологически *суббота* значит «седьмой день», от семит. **sab⁶-at-* «семь, семерка», то этот порядок следует считать древнейшим: при нем внутренняя форма всех наименований и расположение означаемых ими дней совпадают.

При счете дней недели от понедельника как первого дня до воскресенья как последнего дня номерные дни получают иное значение: их имена значат «дни недели вообще» (не «после недели-воскресенья»). Название же *среда* сохраняет свое значение неизменным: и при таком счете это по-прежнему срединный день недели среди номерных дней. Этому способствует то, что среда названа не «третьим днем» (как, например, в католической литовской неделе), что привело бы к противоречию в положении этого дня при способе счета, начинающегося с недели-воскресенья (среда при этом «четвертый день»), а именно «средним днем». Точно так же, хоть и становясь при последнем счете, от воскресенья, шестым днем, не меняет своего значения и название *суббота*, поскольку его этимологическое значение «седьмой день» в славянских языках не осознается. И, разумеется, не меняет своего значения имя *воскресенье*.

Таким образом, православная славянская неделя имеет весьма «острую» структуру: в ней нет дня, который назывался бы «первым», но зато имеется день, который называется «средним» и который всегда остается средним, — если неделю считают с понедельника, то среда остается средним днем по отношению к номерным дням — четвергу и пятнице; если же неделю считают с воскресенья, то среда остается средним днем по отношению ко всем дням (и этот счет, вероятно, является древнейшим). Такая система наименований позволяет сочетать оба способа счета — ретро- и проспективный и представляет собой результат их сосуществования и компромисса.

17. Представления о направлении времени. Древнегреческие взгляды в сравнении с современными. Предварительно нужно сказать, что системы нумерации и обозначения отрезков времени, о которых шла речь в предыдущем разделе, относятся к такому явлению, а именно году, которое естественно представлять себе в виду замкнутого и повторяющегося цикла, кольца. Начало цикла смыкается с его концом, и эта точка смыкания

¹⁵ Интересная типологическая параллель указана нам Г. А. Климовым: груз. *or-sabat-i* «понедельник», букв. «два-суббота», т. е. «второй день после субботы».

может мыслиться, вообще говоря, в любом месте цикла. Этому представлению в исторической действительности отвечает тот факт, что в разные эпохи и в разных календарях начало года помещали в различных точках годового цикла. Системы же счета, с которых мы начали рассуждение, «счета вообще», относятся к незамкнутым последовательностям, в которых время мыслится бесконечным и «линейным» («неповторяющимся», «нециклическим»). Тем не менее вопрос о «направлении времени» относится к обоим случаям — как к циклическим, так и к нециклическим последовательностям. В обоих случаях применимы термины «ретроспективный» и «проспективный» счет, и в обоих случаях мы, по существу, мыслим счет, а следовательно, и направление времени в виде антропоморфной метафоры — по отношению к положению и облику человека.

В нашем современном обществе время представляется нам идущим откуда-то «спереди», по линии нашего взгляда навстречу ему, из бесконечности к нашим глазам. Будущее расположено впереди, оно «катит в глаза» (ср. русск. *Зима катит в глаза* «Зима приближается, скоро будет»). Чтобы обозреть (обозначить, пронумеровать) отрезок времени, как и любую пройденную длину, мы должны «обернуться назад», посмотреть в направлении, по которому указанная линия продолжается уже за нашей спиной, «позади». Таким образом, будущее ассоциируется у нас с тем, что «впереди», прошедшее — с тем, что «позади» нас.

(С этим взглядом, очевидно, связываются каким-то образом и представления о памяти, — вопрос не изученный. Ср. русск. *за-быть* «оставить позади себя, там, где был»: *Я забыл у вас палку* [80, с. 51].)

Однако это представление о ходе времени не единственное возможное, и оно не было единственным в исторической действительности. Уже наличие двух систем годового счета, описанных С. М. Толстой, является свидетельством этого. Можно привести еще один пример исторически существовавшей системы, по-видимому, целиком противоположной нашей.

Такой системой было, вероятно, представление о времени у древних греков, как оно засвидетельствовано (а частично реконструируется) по архаическим греческим текстам. Показательно, главным образом, употребление в них наречий со значением «вперед», «сзади» во временном смысле. (Детали будут рассмотрены ниже, но сначала — несколько слов об общей картине.)

Греки архаической поры представляли себе, по-видимому, время текущим «сзади», из-за нашей спины, через нас и как бы над нашей головой, «вперед» — от наших глаз в бесконечность. Это представление хорошо (во всяком случае, лучше, чем наше) соответствует убеждению, что «неизвестным» является как раз будущее, а «известным» прошлое. Следовательно, именно будущее должно располагаться за нашей спиной, там, где у нас нет глаз и куда не проникает наш взор. Напротив, прошлое — целиком перед нашими глазами, и оно постепенно удаляется от нас в направлении нашего взгляда, мало-помалу переставая быть видимым и теряясь вдали.

Так мы можем обобщить результаты специальных исследований (М. Трой и др.) и собственных наблюдений.

Правда, М. Трой подчеркивает, что представление о движении времени, притом мощном, все порождающем и все поглощающем, о Хроносе как «отце всех вещей» формируется у греков довольно поздно, лишь к началу V в. Гомер его еще не знает: у него настоящее, прошедшее и будущее равно и одновременно присутствуют рядом [85, с. 123]. Это

не исключает, однако, того, что пусть неподвижно, но перед глазами человека расположено прошедшее, а за его спиной — будущее. Это уточнение, интересное само по себе, ничего не меняет в нашем рассуждении. (Такое же представление о расположении прошедшего и будущего было свойственно, по-видимому, древне-еврейской культуре [85, с. 121; 134].)

Обратимся теперь к некоторым примерам. Одним из самых ярких, наверное, является различие греч. πρόγονοι и лат. *prōgeniēs*. Этимологически и по словообразовательной модели эти два слова почти тождественны и означают «родившиеся впереди (по отношению к говорящему или другому упомянутому человеку — точке отсчета)». Смысл их, однако, противоположен: греческое слово означает «родившиеся прежде, предки», а латинское — «родившиеся позже, потомки»¹⁶. Это свидетельствует о том, что представление о направлении времени или о направлении взгляда во времени (что, в общем, одно и то же) в греческой и римской культурах архаического периода было различным.

Показательны также употребления наречий времени у Гомера, таких, как ἐξόπισω, μετόπισθεν, ὀπίσθεν, ὀπισ(σ)ω, ἐξόπισω. Всего таких наречий 5, а случаев их употребления 40—50 [85, с. 133]. Сами по себе (по «значению») эти слова значат «позади, сзади»; во временном же употреблении (по «смыслу») — «будущее». Например: Τρωαὶ δὲ μ' ὀπίσω/πᾶσαι μωμίζονται (Ил. 3, 411—412) «Троянские жены надо мной впредь все будут насмехаться».

На противопоставлении «знания о будущем» (у греков это выражения с про-) и «знания о прошлом» (выражения с ἐπι-) основано противопоставление двух братьев, сыновей титана и богини, Прометея (Προμηθεύς «обращенный мыслью в будущее; который про-видит») и Эпиметея (Ἐπιμηθεύς «обращенный мыслью в прошлое; который все узнает после совершения»). Этот греческий миф о двух братьях является, возможно, некоторой параллелью к библейской истории о двух братьях, Каине и Авеле, сыновьях первой пары людей, Адама и Евы (Бытие, гл. 4).

Каин, носитель зла, убивает Авеля за то, что Бог принял жертвоприношение от Авеля и не принял от Каина. Каин не знал заранее, что Бог отвергнет его жертву. Он прозревает лишь потом: «Вот, Ты теперь стоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником...» и т. д. (Бытие, 4, 14). Этим Каин напоминает Эпиметея. Положительный же Авель может быть сближен с Прометеем как его бледный, бездеятельный аналог. Однако мотив двух братьев испытывающих большие метаморфозы в европейской культуре, и активный, протестующий Каин является у Байрона как борец «прометеевского типа». Некоторая антитеза двух братьев, не доведенная до вражды, проходит уже и в греческом мифе, как он изложен у Гесиода («Труды и дни»): Зевс посылает к Прометею, с целью погубить его, Пандору, но Прометей ее отвергает; Эпиметей же берет ее в жены, с чем далее связан знаменитый эпизод открытия ларца (у Гесиода — откупорки сосуда) и распространение из него напастей и бед по свету (ср. [86, с. 146]).

18. Отвлечение (отход) результата счета от процесса счета, рекуррентность и языковые отражения этого. Основания явления «бустрофедон». Счет представляет собой некий ритмический процесс, на каждом такте («шаге») которого прибавляется единица. Если аналитически расчленить

¹⁶ Ср. соединение этих двух смыслов в русск. *пред-*: *предстоящий* (будущий) и *предшествоующий* (прошлый) (отмечено С. М. Толстой).

«шаг» счета, то можно сказать, что он заключает в себе две операции — представление результата всех предшествующих шагов и прибавление единицы. Язык отражает этот процесс вполне изоморфно, располагая особым словом для каждого такта счета: русск. *Раз, два, три, четыре...* и т. д. Однако счет сохраняет свою однородность на любом удалении от начала, а язык очень быстро утрачивает однородность наименования тактов и, следовательно, утрачивает изоморфность процессу счета при некотором удалении от начала счетного ряда. Точки, в которых утрачивается изоморфность языкового выражения процессу счета, различны в разных языках, как различна и «скорость» этого расхождения. Ниже мы будем говорить только об индоевропейских языках.

Очевидно, что если бы языки располагали особым словом для каждого числа (для каждого прибавления единицы к любому результату), то изоморфность между счетным и языковым рядом не утрачивалась бы никогда. Следовательно, степень расхождения прямо зависит от количества имен чисел, существующих в данном языке. (Мы увидим ниже, что степень изоморфности нумерации процессу счета аналогичным образом зависит от количества знаков в алфавите нумерации.)

Так, в древнегреческом языке «дальним» пределом регулярного обозначения числа было пятизначное число (базой обозначения служило слово *μύριοι* «10 000») (хотя в арифметических и философских сочинениях встречаются и обозначения типа «мириада мириад»). Современные историки математики прямо связывают неполное развитие позиционного принципа счисления, в частности по десятичным разрядам, в Древней Греции с этой ограниченностью древнегреческого лексикона [9, с. 261]. Греческие математики Архимед (287—212 до н. э.) и Аполлоний (ок. 240 г. до н. э.), озабоченные этой проблемой, вполне строго поставили вопрос о способах построения и, следовательно, наименования, больших чисел (при этом Архимед брал базой «октаду» — 10^8 , а Аполлоний «тетраду» — 10^4). Вопрос о регулярном именовании всех чисел занимал также Декарта, который связывал его с созданием регулярного, упорядоченного «универсального» языка (в письме к Мерсенну от 20 ноября 1629 г.). В трудах математиков речь идет о весьма «дальних» пределах именования, в сущности — об отодвигании предела в бесконечность (см. также выше о машине Поста как об одном из способов решения «проблемы прибавления единицы» в достаточно общем случае, п. 10). Однако естественноразноязыковые пределы регулярного именования чисел довольно ограничены.

По существу, только первые десять чисел натурального ряда обладают в индоевропейских языках такими именами, которые изоморфны процессу счета. Это имеет место в силу следующих обстоятельств. Во-первых, имена чисел в этом отрезке являются простыми (не составными и не сложными словами), и, следовательно, нерасчлененность (недискретность) каждого «шага» счета — представление предшествующего результата (т. е. указание места «шага» по порядку от начала) и прибавление единицы — представлена также в недискретной, неразложимой языковой форме. Во-вторых, как следствие первого порядок словесного обозначения и порядок счета совпадают.

На «10» запас простых знаков исчерпан, и все индоевропейские языки прибегают для наименования чисел, начиная с «11», к языковым элементам, уже использованным в первом отрезке, в новых комбинациях. «Внутренняя форма» этого использования знаков может быть, следовательно, описана примерно так: «процесс счета после «10» в некотором отношении повторяет то, что имеет место в промежутке от «1» до «10». Здесь — на-

чало рекуррентности языкового обозначения, которая играет столь большую роль в индоевропейских числительных и в алфавитах.

Новая регулярность, действующая, начиная с «11», состоит в том, что счет начинается снова с единицы, после которой следует — в той или иной форме, варьирующейся по языкам, — упоминание уже достигнутого ранее, первого десятка, по модели «один + десять». Однако эта регулярность сохраняется недолго (считая от начала счетного ряда). Уже после «20» разброс способов выражения увеличивается и, следовательно, первоначальный изоморфизм счетного и языкового рядов еще более ослабевает.

В отрезке после «20» представлены две модели: 1) «двадцать один», ср. лат. *viginti unus*, 2) «один и двадцать», ср. лат. *unus et viginti*. Вторая модель является, по-видимому, древнейшей. Это подтверждается совпадением порядка ее элементов с моделью, действующей в пределах от «11» до «19», а также согласующимися прямыми свидетельствами древних письменных языков. Ср. ст.-слав. *кдинъ на десѣте чловѣкъ* «11 человек», *дъва на десѣте чловѣка*, соответственно так же в древнегреческом [87, § 431] и древнеиндийском [88, с. 234]. О большей древности второй модели говорит также ее форма — свободное словосочетание и наличие союза, в то время как первая модель приближается к фиксированному словосочетанию типа сложного слова.

Утрачивая прямой изоморфизм со счетом, языковой ряд приобретает, однако, новые черты: он начинает разделять моделировать две черты счетного «шага» — указание места данного шага в ряду шагов (это достигается — в «крупном масштабе» — указанием десятков) и прибавление единицы (это достигается отдельным указанием количества единиц). Вместе с этим происходит дальнейшее (по сравнению с первым десятком счетного ряда) отвлечение результата счета от процесса счета. Достигнутое количество десятков как бы хранится в памяти (ср. характерное русское выражение при счете — *в уме*, например, *Два пишем, десять в уме*), а актуально считающимися являются лишь единицы. Иными словами, при этом выражается не сам счет, а его результат, — явление гораздо более абстрактное.

Эти черты языкового выражения еще более усиливаются при изображении чисел на письме, — т. е. уже при «третичном» моделировании процесса счета. В письменном выражении чисел вступает в силу или, вернее, усиливается различие выражений в зависимости от того, ориентированы они 1) на говорящего, т. е. являются более или менее непосредственным выражением произносимого им числа, или 2) на слушателя, которому они должны облегчить восприятие результата (а не процесса счета, к которому в той или иной степени все же «привязан» говорящий и приурочено его языковое выражение).

Естественно считать древнейшим тот способ записи, который идет «от счета говорящего». В линейной записи это, по-видимому, должно соответствовать записи от меньшего числа к большему.

Отмеченное нами обстоятельство, на которое, кажется, не обращали внимания, довольно важно, т. к. оно может служить мерой абстрактности системы счисления и, следовательно, ее положения на шкале эволюции, а иногда и в реальном процессе исторического развития. Так, например, применительно к египетской системе нумерации М. Я. Выгодский отмечает, что направление записи в ней, как и вообще в египетском письме, не было вполне определенным: знаки располагались по большей части в вертикальные колонки, читавшиеся сверху вниз; переход от предшествующей колонки к последующей совершался справа налево; однако,

когда это представлялось почему-либо удобным, применяли и другое расположение, — например, по горизонтали. «Для нас интересно отметить, что направление, в котором понижались в числовых записях разряды чисел, всегда совпадало с направлением чтения строки» [9, с. 16]. С нашей точки зрения, такое размещение записи, обратное порядку счета, — свидетельство довольно высокой степени эволюции египетской нумерации.

С этим же обстоятельством связано, на наш взгляд, и появление нуля, прообраз которого засвидетельствован, как известно, в вавилонской нумерации. Именно так нам представляется естественным истолковать следующее наблюдение М. Я. Выгодского: «В течение довольно длительного времени в математических текстах народов Двуречья сохранялась неопределенность в оценке порядка отдельных разрядов. Вычислитель должен был помнить порядок каждого (а не только крайнего) разряда. Это неудобство было не очень обременительным до тех пор, пока вычисления ограничивались сравнительно небольшими (в основном трехзначными в шестидесятеричной системе) числами. Потребность в обозначении пустоты промежуточных разрядов возникает при сопоставлении многозначных таблиц „справочного характера“, т. е. таблиц, которые надо читать, а не перевычислять» [9, с. 98].

В целом можно сказать, что сам счет — это некая операция, процесс, который редко записывается. Записывается же обычно его результат, что представляет собой большую абстракцию от процесса счета. При этом абстракция может быть несколько меньшей, если запись результата хранит хоть в чем-то близость к процессу счета (например, сначала записывается меньшее, а затем большее число), или большей, когда запись чисто условна.

Все это находит отражение в языковых фактах.

1) Сосчитанные последовательности в древних языках чаще всего передаются посредством порядковых, а не количественных числительных, что стоит, вероятно, в связи с наблюдением Э. Бенвениста (последовательность завершается порядковым числительным; см. п. 5 выше). Примером может служить архаический латинский способ: *uicesimum annum iam regnat* «двадцатый год он уже царствует», который лишь постепенно сменяется выражением с количественным числительным: *annos triginta iam regnat* «тридцать лет он уже царствует» [75, § 203]. С течением времени — и это доминирующая тенденция — количественные числительные вытесняют порядковые даже в их собственной функции, так что выражение порядковой последовательности приближается к изображению непосредственно операции счета: ср. совр. русск. *В доме пять* вместо более старого *В доме номер пять*, которое в свою очередь вытеснило еще более старинное *В доме номер пятый*. Эта тенденция превратилась в абсолютное правило в современном английском, ср.: *room seven* «комната семь».

2) Сами порядковые числительные создаются как нечто явно вторичное по сравнению со счетом. Это буквально отражено в нахско-дагестанских языках, где порядковые числительные обычно строятся на основе количественных описательным способом, посредством присоединения какого-либо причастия от глагола «сказать», ср. авар. *ki-abilew* «второй», букв. «два-сказанный» [89, с. 98].

3) Наконец, в ряду порядковых числительных пространственные представления доминируют: сосчитанные предметы представляются неким рядом предметов, у которого есть начало — точка, ближайшая к говорящему, и конец — точка, отстоящая от говорящего дальше всего. Это

находит отражение, например, в древнеиндийском, где слово, означающее «первый», *prathamá*, представляет собой наречие *pra-* «вперед, впереди», оформленное с помощью *-thama* — варианта суффикса превосходной степени прилагательных *-tama*, означающего высшую степень или просто полноту качества. Тот же суффикс или его сокращенный вариант *-ta* употребляются для образования других порядковых числительных. (Дальнейшее см. в п. 5 выше, а также [49, с. 158—168].)

19. Алфавитные отражения отмеченных особенностей счета и чисел. Бустрофедон. Иллюстрацией к сказанному выше может служить цифровой алфавит, десять знаков, в системе индийского алфавита *деванагари*. Считается, что все новоиндийские письменности, в том числе *деванагари*, письмо санскрита, широко распространенное с XI в., являются потомками письма брахми [6, с. 182]. Брахми, в свою очередь, известно в древнейшем варианте в надписи на монете второй пол. IV в. до н. э. и в надписях царя Ашоки (см. также п. 12 выше). Однако в том, что касается цифр, зависимость *деванагари* от брахми не такая прямая, как кажется на первый взгляд. Формы большинства знаков для чисел *деванагари* довольно трудно непосредственно возвести к знакам брахми. Те же знаки, которые легко возводятся — например, знаки для «4» и для «9», — обнаруживают характерные семиотические сдвиги, присущие многим системам, а не только брахми и *деванагари* (см. выше п. 12). Кроме того, *деванагари* является сильно стилизованным алфавитом, в то время как начертания брахми совершенно примитивны, а при этих условиях современному исследователю трудно избежать произвольных графических сближений. Наконец, еще одно соображение затрудняет непосредственное сближение этих двух алфавитов: та система счисления, с которой связаны цифровые знаки *деванагари*, — а именно десятичная система с нулем, по-видимому, не прививается на систему, где используются 27 различных знаков — 9 для единиц, 9 для десятков, 9 для сотен. Такой системой была древнегреческая ионийская система, т. е. древнегреческий алфавит в его цифровом применении (с нач. I в. н. э.). Историки математики рассматривают такую организацию цифрового алфавита как прямую помеху применению десятичного принципа (ср. [9, с. 261]). Алфавит *деванагари* получает распространение в Индии только в середине VIII в. н. э.

Все эти соображения заставляют нас выдвинуть гипотезу о втором источнике цифр *деванагари*, которым могла быть греческая система письма *бустрофедон*. Этот источник мог действовать совместно с первым — брахми. Остановимся на этом предположении подробнее.

Греческое наречие *βουστροφῆδον* буквально означает «так, как пахут волами», т. е. такой способ письма, когда одна строка пишется в одном горизонтальном направлении, а другая, следующая, в противоположном, например — одна справа налево, а другая слева направо. Сами строки располагаются при этом одна под другой, сверху вниз. Этот способ широко применялся в древнейших греческих памятниках.

Следующее положение (на которое странным образом не обращают обычно внимания даже в специальных работах по алфавитам) имеет исключительно важное значение: в строках, идущих справа налево, графические знаки обращены вправо, а в строках, идущих слева, — влево. Например, знак *Ξ* и знак *Ε* — это одна и та же буква (классическое «э псилόν»), стоящая в первом случае в строке, идущей справа, а во втором случае — слева. Неожиданным следствием этого оказывается,

что в древнейшей системе письма бустрофедон полностью действовал весьма абстрактный семиотический принцип, сама формулировка которого была дана лишь в наше время в рамках абстрактной семиотики: необходимо различать «абстрактные знаки» (т. е. собственно знаки, знаки в прямом значении этого термина, signs) и «конкретные знаки» (т. е. материальные проявления знаков, «экземпляры знака», tokens). (Ср. у К. И. Льюиса: «Экземпляр символа часто называют символом, а экземпляр выражения — выражением; однако этот способ называния неточен. Чернильный значок на бумаге или звук — это конкретная сущность, символ же — сущность абстрактная; выражение — это абстракция, соотносящая символы друг с другом» [90, с. 212]; ср. также различение конкретных и абстрактных знаков в конструктивной математике А. А. Маркова и др.). В вышеприведенном греческом примере оба графических символа — «конкретные знаки», сам же знак, некоторая буква, словесно называемая также «э псилоном», «абстрактный знак» некоторой фонемы или числа, не может быть даже представлен в какой-либо одной конкретной форме; скорее его следует мыслить хранящимся в памяти как некий инвариант, «никуда не повернутый», в то время как в конкретном исполнении он всегда «повернут» — то вправо, то влево.

Поскольку в древнейшем греческом алфавите преобладающее направление письма справа налево [10, с. 128] (бустрофедон, по-видимому, — промежуточная стадия, а позднее направление письма — слева направо), то в конечном счете закрепляется начертание букв, обращенное слева направо. (Для тех, разумеется, знаков, которые не симметричны относительно вертикальной оси.)

Для записи чисел в греческом алфавите это обстоятельство не имело никакого особенного значения, поскольку алфавитные знаки чисел там те же самые, что и буквы, и подчиняются принципам начертания букв (для чисел, изображаемых одним каким-либо знаком).

Не имея особого значения для ионийской нумерации, бустрофедонный способ письма мог, однако, иметь весьма важные последствия в такой системе нумерации, где находился в процессе выработки особый алфавит чисел, связанный к тому же с десятичной системой счисления, — а именно, процесс создания особых знаков для первых девяти чисел (цифры). Сформулируем теперь нашу гипотезу.

Г и п о т е з а. Цифровые знаки древнеиндийского алфавита деванагари представляют собой комбинацию (лигатуру или обобщение) соответственно левого и правого вариантов первых девяти букв греческого алфавита в их папирусном (не эпиграфическом) начертании.

Вполне очевидно, что эта гипотеза имеет слабое звено в своей исторической части ввиду огромного временного разрыва между первыми свидетельствами о брахми (IV—III в. до н. э.), — и это как раз то время, когда в Греции и в других местах широко применялся бустрофедон, — и XI в. н. э., когда отмечается расцвет деванагари, но бустрофедона уже давно не существовало.

Однако, в сущности, в нашей гипотезе два положения, которые не обязательно должны быть связаны между собой: а) на выработку цифр деванагари повлияло греческое папирусное письмо периода около VIII в. н. э., б) на выработку цифр деванагари повлияло письмо бустрофедон.

Первое положение, возможно, не лишено и более определенных исторических оснований, поскольку, как уже было сказано, цифровой алфавит деванагари связан с позиционной десятичной системой счисления, имеющей нуль, а эта последняя получает распространение в Индии около

середины VIII в., — как раз в тот период на алфавит деванагари могли повлиять греческие папирусные начертания, т. е. греческий минускул.

Заметим, что вообще на эту сторону исторических связей обратили внимание впервые, по-видимому, не историки алфавитов, а историк математики. «Насколько нам известно, — пишет М. Я. Выгодский, — никто из историков греческой культуры не ставил вопроса о связи между ионийской нумерацией и нумерацией арабов. Я имею в виду не ту, которая неправильно именуется арабской... (речь идет о системе, предположительно заимствованной арабами у индийцев в VIII в. н. э. — С. Ю.), а старую арабскую, которая и поныне употребляется в некоторых странах наряду с индийской» [9, с. 251]. Далее М. Я. Выгодский рассматривает в этой связи те самые вопросы, которых касаемся и мы здесь. — о передвижении одного и того же знака между «90», «900» и т. п.

Что касается второго нашего положения, о бустрофедоне, то вполне можно допустить, что даже в то время, когда бустрофедон как способ письма уже не применялся, бустрофедонный способ рассмотрения знаков (как бы «слева» и «справа», в зеркальном отражении, вызванный самим семиотическим принципом несводимости знака к его конкретному материальному изображению) все еще мог иметь определенное значение при выработке новых графических знаков¹⁷. В особенности, когда дело шло о создании знаков для чисел, поскольку числа сами по себе независимы от их выражения.

Как бы то ни было, исторические соображения (как уже было отмечено в начале этой статьи) не являются ее предметом. Мы займемся семиотическими соответствиями, которые кажутся заслуживающими внимания сами по себе. Нижеследующие таблицы иллюстрируют обе постановки вопроса: 1) общепринятую — знаки деванагари для чисел прямо происходят от знаков брахми; 2) гипотетическую — цифровые знаки деванагари имеют второй источник — греческое папирусное письмо эпохи около VIII в. н. э. и при этом связаны со способом письма бустрофедон.

Важно также иметь в виду, что в реальной истории могли действовать все три причины, три источника (брахми, минускул, бустрофедон), как это очень часто бывает, например, в этимологии отдельных слов и в происхождении частных грамматических категорий. (См. рис. 6.)

Заключение носит характер комментария к приведенной таблице.

1) Бустрофедонный способ письма легко объясняет взаимное алфавитное перемещение знаков для чисел «1» и «10», ведь они оказываются соответственно первыми знаками каждой строки — то первым справа, то первым слева. То же самое относится и к знакам чисел «1» и «9». Ротация знаков в этом фрагменте алфавита поддерживается также общими семиотическими закономерностями, рассмотренными выше: числа «1» и «10», служащие началом первого и второго десятков, могут выполнять одни и те же функции (см. п. 12), а при счете на десятки то же может относиться и к числам «1» и «9» (п. 13).

2) В деванагари, кроме того, знаки для «1» и для «9» явно представляют собой один и тот же знак, обращенный в первом случае влево, во втором вправо. Это также объяснимо бустрофедоном.

3) Знаки для «6», «7» и «8» могут быть объяснены как бустрофедонная

¹⁷ Существенная типологическая параллель: в точности такое же положение дел обнаружил в древнегрузинском алфавите Т. В. Гамкрелидзе [8, с. 23]: при создании древнегрузинской письменности в IV в. в качестве образца был использован архаический (уже и к тому времени) греческий алфавит, а не греческое письмо IV в.

Числовые значения

	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1. Первые 10 букв греческого алфавита в записи справа налево	Ι	Ϡ	Ϡ	Ϡ	Ϡ	Ϡ	Ϡ	Ϡ	Ϡ	Ϡ
2. Те же 10 букв в записи слева направо	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ϛ	ϛ	Ϝ	ϝ	Ϟ
3. Суммация изображений				Ϛ	ϛ	Ϝ	ϝ			Ϟ
4. Знаки деванагари для цифр	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९
5. Некоторые знаки алфавита брахми	↓	⊙	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
6. Знаки древнефиникийского алфавита	⊥	⊕	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥

Рис. 6. Бустрофедонное сопоставление алфавитных знаков в их числовых значениях (стрелки указывают на возможные дополнительные передвижения знаков по принципу «ротации», п. 12 выше)

суммация греческих знаков, однако со сдвигом всей этой тройки в сторону большего значения — с повышением значения на единицу. Место для знака числа «5» при этом остается свободным.

4) Почти тот же результат получается при рассмотрении на основе брахми: знаки для «6» и «7» как бы меняются местами, а место для «5» также остается свободным, поскольку знак, означающий «5» в деванагари, трудно возвести к знаку, означающему «5» в брахми. При этом, по таким же причинам, остается свободным еще и место для «8». Возможно, что особый источник, из которого заполнены эти места в деванагари, стоит в связи с особой ролью чисел «5» и «8» в системах счисления.

5) История знака для числа «6» в пределах ионийского алфавита прямо подтверждает нашу идею о бустрофедонном происхождении некоторых знаков. В самом деле, первоначально число «6» изображалось буквой «дигамма» — Ϝ, восходящей к семитскому знаку «вау» — װ. Впоследствии, в период появления пергаменной скорописи, этот знак стали писать скорописно как Ϛ. По внешнему сходству начертаний его отождествили с буквой «стигма», читавшейся как «ст» и происходившей от слияния букв δ и τ [9, с. 248]. Сходство с предполагаемым бустрофедонным суммированием знаков здесь заключается в появлении лигатуры — суммы двух знаков.

6) Знаки деванагари для «4» и «9» явно восходят к знакам брахми для «40» и «90», что соответствует общей семиотической закономерности

(п. 12). Однако в то же время эти знаки легко возвести и к бустрофедонной сумме соответствующих греческих знаков — букв «тэта» и «дельта», притом имеющих те же числовое значение, без сдвига.

7) Как уже было сказано, знак деванагари для числа «5» ни при суммации на основе греческого бустрофедона, ни при возведении к брахми не получает ясного графического прототипа. Однако обращает на себя внимание поразительное сходство этого знака со знаком для «50» в греческом минускуле. Ср. знак для «5» в деванагари \mathcal{U} , знак для «50» (буква «ню») в минускуле \mathcal{V} (последний — по В. Н. Щепкину [91, с. 29, таблица]).

8) Можно предположить, что в системе брахми — деванагари увеличение «стоимости» знаков для «4», «5», «9» в десять раз, благодаря чему они становятся знаками для «40», «50», «90», связано с применением позиционной системы нумерации и, дополнительно, с введением нуля. Позиционная система требует использования одного и того же знака для всех «одноименных» мест разных разрядов (ср. использование одного знака для чисел «1», «60», «3600» в вавилонской системе). Введение же нуля закрепляет это использование, переводя его в план парадигматики — в алфавит счисления (ср. знак 5 в значении «5» и в значении «пять десятков» — 50 в десятичной системе ¹⁸).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

61. Успенский В. А. Машина Поста. 2-е изд., перераб. М., 1988.
62. Успенский В. А., Семенов А. Л. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. М., 1987.
63. Климов Г. А., Эдельман Д. И. О вигезимальной системе словообразования числительных // Сущность, развитие и функции языка. М., 1987.
64. Henning W. B. *Oktō(u)* // TPhS. 1948. L., 1949.
65. Erhart A. Die indo-europäische Dual-Endung *-o(u)* und die Zahlwörter // Sborník prací filosofické fakulty Brněnské University. A 13. 1965.
66. The Rhind mathematical papyrus / Ed. by Peet T. E. L., 1923.
67. Климов Г. А. Картвельское *отхо- «четыре» — индоевропейское *oġto- // Этимология. 1975. М., 1977.
68. Климов Г. А. Дополнение к заметке «Картвельское *отхо- „четыре“ — индоевропейское -oġto-» // Этимология. 1981. М., 1983.
69. Гранде Б. М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1972.
70. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. М. Т. 1. 1893; Т. 2. 1895; Т. 3. 1903 (перепеч. 1958).
71. Вайан А. Руководство по старославянскому языку. М., 1952.
72. Супрун А. Е. Старославянские числительные. Фрунзе, 1961.
73. Sommer F. Zum Zahlwort. München, 1951.
74. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. T. II, P., 1958.
75. Ernout A., Thomas F. Syntaxe latine. 2-ème éd., 6-ème tir. revu et corrigé. P., 1984.
76. Нейгебауэр О. Лекции по истории античных математических наук. Т. 1. М.—Л., 1937.
77. Taton R. Histoire du calcul. P., 1957.
78. Выгодский М. Я. Справочник по элементарной математике. 27-е изд., испр. М., 1986.
79. Brugmann K. Zu den Wörtern für «heute», «gestern», «morgen» in den indogermanischen Sprachen. Leipzig, 1917.
80. Покровский М. М. Избранные работы по языкознанию. М., 1959.
81. Добиаш-Рождественская О. А. Культура западноевропейского средневековья. М., 1987.
82. Рыбаков Б. А. Из истории культуры Древней Руси. М., 1984.

¹⁸ Автор приносит глубокую благодарность Т. В. Гамкрелидзе, В. З. Демьянову, Г. А. Климову, С. М. Толстой, Н. И. Толстому, Д. И. Эдельман, прочитавшим статью в рукописи и сделавшим ряд ценных замечаний.

83. Толстая С. М. К соотношению христианского и народного календаря у славян; счет и оценка дней недели // Языки культуры и проблемы переводимости. М., 1987.
84. Lejeune M. Procédures soustractives dans les numérations étrusque et latine // BSLP. 1981. Т. 76. Fasc. 1.
85. Treu M. Von Homer zur Lyrik. Wandlungen des griechischen Weltbildes im Spiegel der Sprache. München, 1955.
86. Frenzel E. Diccionario de motivos de la literatura universal. Madrid, 1980 (пер. нем. изд. Frenzel E. Motive der Weltliteratur. Stuttgart, 1976).
87. Соболевский С. И. Древнегреческий язык. М., 1948.
88. Елизаренкова Т. Я. Грамматика ведийского языка. М., 1982.
89. Климов Г. А. Введение в кавказское языкознание. М., 1986.
90. Льюис К. И. Виды значения // Семиотика / Сост. Степанов Ю. С. М., 1983.
91. Щепкин В. Н. Русская палеография. М., 1967.

ТЕНИШЕВ Э. Р.

О КИРГИЗСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ В ДОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Под этнонимом «киргизы» имеются в виду тянь-шаньские киргизы, составляющие основное население Киргизской ССР, а не енисейские киргизы (кыргызы).

Сложилось мнение, что у киргизов в донациональный период не было ни литературного языка, ни письменности, однако до сих пор это мнение никем научно не подтверждалось и не опровергалось. Существуют отдельные высказывания по данному вопросу, остановимся на некоторых из них. Касаясь культуры киргизского народа, А. Каниметов в 1962 г. писал: «Свыше десяти тысяч эпических произведений насчитывает устное творчество киргизов. Так как не было письменности, в нем отражались все важные события, все движения жизни и общественной мысли» [1, с. 290]; и далее: «Ни одна книга и газета не были изданы до революции на киргизском языке. Народ оставался поголовно неграмотным» [1, с. 291].

Описывая состояние культуры киргизского народа перед Октябрьской революцией, С. С. Данияров утверждал то же самое: «В дореволюционный период в духовной культуре киргизского народа, не имевшего своей письменности и, следовательно, печатной литературы, основное место занимало устно-поэтическое творчество, удивительно богатое и разнообразное по своему жанру и форме» [2, с. 60]. Тем не менее С. С. Данияров отметил первые рукописные произведения, появившиеся в Киргизии в конце XIX и начале XX вв. и принадлежащие акынам-письменникам: число этих произведений было очень незначительным [2, с. 188].

О киргизской письменности С. С. Данияров высказывается категорично. Он пишет: «Однако в трудах отдельных местных ученых иногда без всяких оснований встречаются голословные утверждения о том, что у киргизов якобы еще до установления Советской власти была своя национальная письменность. ...Следует различать два понятия: письменность и письменный язык. До Октябрьской революции народы Средней Азии, Казахстана и некоторые тюркские народности в разной степени приспособляли арабский алфавит к своим языкам. Но он не отражал лексические, фонетические и др. особенности языков этих народов. Арабской графикой пользовались в основном представители мусульманского духовенства, и она была недоступна широким трудящимся массам» [2, с. 187]. Мнения ученых-тюркологов другого характера, т. е. отличающиеся от приведенных выше. Вот что писал в 1957 г. И. А. Батманов: «Киргизы до Октябрьской революции пользовались буквенным письмом, имели письменность, но такую, которая не отражала существенных особенностей их языка» [3]. Примерно в таком же духе писал в 1960 г. К. К. Юдахин в предисловии к киргизско-русскому словарю: «До Октябрьской социалистической революции грамотные киргизы (а их было немного)

пользовались крайне слабо приспособленным к киргизскому языку арабским алфавитом и писали, подражая образцам так называемого чагатайского (древнеузбекского) языка» [4]. Этой точки зрения придерживался и С. Е. Малов [5]. В работе, посвященной изучению киргизских официальных документов, В. М. Плоских и С. К. Кудайбергенов в 1968 г. отметили, что «до революции киргизы, как и многие другие тюркские народы Средней Азии, писали свои немногочисленные документы и родословные, используя арабский алфавит, на так называемом староузбекском (чагатайском) языке» [6, с. 75]. По мнению Х. К. Карасаева, исследовавшего в историческом плане киргизскую орфографию, с давних пор, известно, что киргизский народ использовал арабскую графику в дооктябрьский период, о чем свидетельствуют дошедшие до нас рукописи официальных документов и литературных произведений, а также несколько печатных книжек [7, с. 73].

Таким образом, исследователи культуры киргизского народа считают, что киргизы не имели старой письменности, а ученые-тюркологи единодушно признают факт ее существования. Однако ввиду того, что тюркологи-лингвисты не привели развернутой аргументации в пользу ее существования, утвердилось мнение, что у киргизов в прошлом не было ни письменности, ни литературного языка.

Полагаю, что теперь есть основания не согласиться с подобным утверждением. С полным правом акад. В. В. Виноградов писал, что «изучение литературного языка теснейшим образом связано с изучением литературы — в самом широком понимании этого слова. Изучение литературного языка неотделимо и от общей истории языка и литературы соответствующих народов, так как с литературным языком — в том или ином понимании этого термина — мы сталкиваемся прежде всего в истории языка и литературы. Тем самым изучение литературного языка связывается и с культурной историей данного народа, поскольку такие сопряженные с литературным языком явления, как письменность, литература, наука, входят в орбиту и истории культуры. Вместе с тем литературный язык... является одним из самых реальных орудий просвещения; а это означает, что изучение литературного языка соприкасается и с задачами образования, школы» [8].

Иными словами, изучение литературного языка, его истории или современного состояния тесно связано с вопросами литературы, культуры, истории и просвещения народа.

Само же существование литературного языка можно подтвердить только текстами: если есть тексты, есть и литературный язык, нет текстов, нет литературного языка, а вся совокупность текстов дает представление о жанровой и стилистической вариативности, о богатстве литературного языка. Такая позиция не должна казаться категоричной — ведь речь идет о книжно-письменной модификации литературного языка.

Существовали ли такого рода тексты у киргизов в прошлом?

Ответ должен быть утвердительным: да, такие тексты у киргизов прежде были, и по ним можно судить о литературном языке. Прежде всего это — печатные тексты. К ним принадлежит поэма Молдо Кылыча Шамырканова (Тёрёгельдина) (как бы ни относиться к идейной стороне его творчества) [9] под названием «Кысса-и зилзала» («Повесть о землетрясении»), подготовленная к печати в Уфе при «Медресе-и Галия» и изданная в 1911 г. в Казани. Отметим еще две публикации — два исторических сочинения, подготовленных к печати Осмоналы Сыдыковым: в 1913 г. в Уфе увидела свет книга «Мухтасар-и тарих-и кыргызия» («Краткая

история киргизов») и в 1914 г. — «Тарих-и кыргыз-и Шабдания» («Шабданова история киргизов») ¹.

Значительно больше сохранилось текстов в рукописном виде. Киргизские рукописи мне пришлось видеть в начале 30-х годов в южной Киргизии. О киргизских рукописях на Памире в те же годы упоминает и А. Ниалло [10]. В 50-60-е годы собиранием киргизских рукописей занимался Дж. Шукуров [11]. Позже — поискам и изучению языка киргизских рукописей уделяли внимание К. К. Юдахин, Б. М. Юнусалиев [12, с. 49—50], К. К. Карасаев [7, с. 73—79].

Стимулом к новым поискам явилась заметка Н. Харченко о замечательной находке — рукописном сборнике из центральных районов Тянь-Шаня, появившаяся в апреле 1976 г. в газете «Советская Киргизия».

Специалисты, познакомившиеся со сборником, определили, что он содержит копии трех среднеазиатских трактатов на арабском языке по логике и богословию: «Солнечный трактат об основах логики» Али ал-Катиби Дабирана (XIII в.); «Комментарии по Исламу» знаменитого юриста Омара ан-Насафи из Самарканды (первая половина XII в.) и «Критическое изложение логики» известного ученого-теолога Омара ат-Тафтазани из тимуридского двора в Самарканде (конец XIV в.). Копии рукописей были соединены в едином переплете среднеазиатским мастером в конце XVIII в. [13, с. 90—91]. Эта находка выявила необходимость организации археографической экспедиции для систематического собирания рукописей и старопечатных книг.

За пять лет (1976—1980 гг.) полевых работ экспедиция обследовала многие районы Ферганы, Центрального Тянь-Шаня и Прииссыккуля. В результате собрано около пятисот старопечатных и литографических изданий, двухсот рукописей, десятки документов на арабском, персидском и тюркских языках

Большая часть находок относится к XIX в. или началу XX в., редкие рукописи датируются XVIII в., но есть копии рукописей, относящихся и к более раннему периоду. География печатных книг обширна: Ташкент, Казань, Бухара, Стамбул, Лакхнау, Канпур. Книги и рукописи весьма разнообразны по содержанию и характеру, представляют как светскую, так и духовную литературу [14; 13, с. 91—92], прозу и поэзию. Среди них — научные трактаты, руководства по мусульманскому законоведению — фикху, шариату, толкования к Корану, хадисы, т. е. сборники преданий о поступках и изречениях Мухаммада, и др.

Нельзя не упомянуть и уникальную находку — одну из ранних копий грамматического трактата знаменитого поэта, ученого, мыслителя Абдурахмана Джами (1414—1492). Рукопись найдена в Южной Киргизии, в одной киргизской семье, родом из пришамирских гор.

Сочинение Джами «Полезные замечания, достаточные для разрешения трудностей ал-Кафии» написано как толкование к грамматическому трактату Ибн-ал-Хаджиба (1175—1249). По существу это не только учебное пособие для овладения арабским языком, но и самостоятельный труд, разъясняющий основные положения и трудности грамматики арабского языка. Научный труд Джами быстро завоевал признание и широкую популярность у изучающих арабский язык. Он получил распространение

¹ В стихотворном введении (с. 5) встречается строка: *шадманийе аталды ушбу тарих «эти история названа радостной», — вероятно, поэтическая трактовка названия книги.*

в странах Азии под различными названиями, о чем свидетельствуют многочисленные списки трактата. Так, в Каталоге собрания восточных рукописей АН УзбССР упоминается 51 копия трактата в период с начала XVI в. по конец XIX в.

Рукопись сочинения Джами сохранилась в полном виде и прекрасном художественном оформлении, свидетельствующем о тонком вкусе изготовителя копии. Она переписана в Балхе талантливым мастером-каллиграфом Давлат Мухаммад ибн Тенгри-берди Кушчи, очевидно, тюрком по происхождению, поскольку отдельные роды кушчи вошли в состав киргизского, казахского, узбекского народов. Последний переплет изготовлен в середине XIX в., тоже мастером своего дела — муллою Надир Мухаммадом.

Интересно, что в Южной Киргизии был найден и «Комментарий к грамматическому трактату ал-Джами», составленный Хаджи Абдаллахом ибн Салих ибн Исмаилом (Махрам-эфенди) в начале XIX в. и изданный в Стамбуле в 1890—1891 гг.

Следует отметить, что население южных районов Киргизии было знакомо и с другими сочинениями Джами. Экспедиции удалось приобрести редкие литографические издания еще двух произведений Джами, написанных на персидском: «Нафахат ал-унс» («Дуновения дружбы»), содержащее жизнеописание знаменитых суфиев, и «Силсилат аз-захаб» («Золотая цепь») — поэма, посвященная Султан-Хусейну Байкаре, правителю Герата. Оба произведения изданы в Канпуре в 1893 г. [13, с. 92—98]. Возникает вопрос: если арабские и персидские сочинения известнейших авторов были так популярны в Киргизии, то не писали ли сами киргизы свои сочинения на арабском и персидском языках?

На территории КиргССР экспедиция разыскала и приобрела литографические издания тюркоязычных диванов основоположника узбекской классической литературы Алишера Навои (1441—1501) [13, с. 98]. Стало быть, в прежние времена в Киргизии читали не только по-арабски и персидски, но и по-тюркски. Следует также помнить, что киргизский народ является преемником культуры Караханидского государства, с ее глубокой письменной традицией, которую несут на себе поэма «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского (1069 г.), «Диван-и лугат ат-тюрк» Махмуда Кашгарского (1084 г.). Открытия археографических экспедиций, большое количество арабо-, персо- и тюркоязычных книг и рукописей свидетельствуют о существовании давней рукописной традиции в Киргизии.

Она поддерживалась и развивалась, несомненно, при содействии и школьного образования. В Самарканде и Бухаре, известных центрах мусульманского образования, школы-медресе возникли в XV—XVI вв. На территории Киргизии медресе появились позже — в основном во второй половине XIX в. и главным образом для оседлого населения, а кочевники-киргизы обучали своих детей в юртах. Английский путешественник Дж. Вуд, побывавший в 30-х годах XIX в. в верховьях реки Оксуса (начало Аму-Дарьи), присутствовал на занятиях в школе-юрте, где дети киргизов изучали Коран [15; 16, с. 10]. Ч. Валиханов, посетивший киргизов в 1857 г., указал, что дети главы племени бугу начинают учиться грамоте [17].

По сведениям 1892 г., в Киргизии было всего семь медресе, из них пять — в г. Оше; в 1914 г. в Ошском уезде число медресе и мектебов было уже 88 с 1178 учащимися [16, с. 25]. Интересны и другие данные: на 1 января 1913 г. в Пишпекском уезде в 21 чисто киргизской кочевой волости насчитывалось 59 мектебов с 1182 мальчиками и 131 девочкой, а в

26 волостях Пржевальского уезда имелось 28 школ, где обучались 2276 мальчика и 42 девочки [16, с. 11—12].

С начала XX в. в Киргизии стали открываться новометодные школы («усул-и джадид»). Основателями и первыми их учителями являлись в большинстве случаев поволжские татары, на смену которым пришли учителя-киргизы, получившие подготовку в медресе Уфы, Казани и новометодных мектебах Пишпека, Токмака и Пржевальска [16, с. 36, 39].

Приведенные выше данные — несомненное свидетельство высокой духовной культуры и образованности киргизов в прошлом, их стремления к владению языками, к поэтическому и научному творчеству.

Вполне естественно, что киргизы рано осознали и необходимость в литературном языке на родной почве. Эта потребность реализовалась в ряде рукописных произведений, деловых документах и переписке. В их числе прежде всего надо назвать большую поэму — санаты Молдо Нияза (20-е годы XIX в. — 1896), посвященную историческим событиям: покорению Чимкента и Ташкента (1865), бегству ферганских киргиз от Худояр-хана (1845—1858) на Сары-Кол, отношению правителя Кашкарии Якуб-бека к киргизским беженцам.

Автор родился в долине р. Шаймардан (Южная Киргизия) и побывал в районах Северной Киргизии. Изучение языка поэмы Молдо Нияза осуществил Б. М. Юнусалиев [12]. К первой трети XIX в. (1824—1827) относятся письма киргизов русским властям [6, с. 76]. Сохранились письма-обращения 50—60-х годов XIX в. с просьбой принять киргизов в подданство России [6, с. 75].

Есть письма-документы киргизов, относящиеся к первым посольским связям с Россией [18]. Наиболее раннее из них — письмо Атаке-батыра, датированное 23 авг. 1785 г., из чего следует, что в XVIII в. киргизы уже пользовались арабской письменностью. Из актовых документов наиболее ранний — договор о дружбе между северными киргизами и казаками старшего жуза, составленный в 1847 г. [6, с. 75].

Все эти уникальные документы, появившиеся в киргизской среде, представляют ценность не только для лингвистов, но, разумеется, и для историков. По-видимому, не случайно Чолпон-Атинский историко-краеведческий музей в числе экспонатов поместил фотокопии четырех киргизских писем:

1) письмо киргизских биев Улджебая Акымбека и старшины Мамбета Уметова генерал-губернатору Западной Сибири. Местность Джергалан, 5 авг. 1825 г.;

2) письмо киргизских биев Шералы и его сына Алгазы на имя генерал-губернатора Западной Сибири. Местность Ак-Суу, 9 апр. 1827 г.;

3) и 4) — тексты присяги племени бугу на подданство России от 1827 и 1855 гг.

Что представляет собой язык названных произведений и документов? Для примера можно привлечь поэму Молдо Нияза, историю о Шабдане Осмоналы Сыдыкова и текст трех писем (конца XVIII в., начала и середины XIX в.). Основу языка поэмы Молдо Нияза составляет общий для многих тюркоязычных народов чагатайский язык.

Об этом свидетельствуют фонетические признаки: *й* — в начале слов: *йолавчу* «путник», *йақшы* «хороший», *йыл* «год», *йорга* «иноходец», *йурт* «жилище, дом», *йер* «земля», *йат* «лежать», *йаз* «писать»; гласные *у*, *ү* в непервых слогах: *алтун* «золото», *агаларум* «мой старшие родичи», *кайтаруб* «возвращая», *айрылур* «отделится», *көңлүм қалур* «я обижусь»

(букв. «останется мое настроение»), *айтдум Нияз* «сказал я Нияз», *йатар идүңиз* «вы лежали», *болмас мидүм?* «не стал бы я?».

Среди морфологических признаков: род. п. *-ның/-ниң* после звонких и сонорных — *қызның* «девицы», *йерниң* «земли»; вин. п. — *-ны/-ни* после звонких и сонорных — *бу мырзаны* «этого дворянина», *сөзүңни* «твое слово»; инстр. п. *-н* — *қозун көрүб* «глядя глазами»; прош. вр. — *мыш* — *қалмыш бу дүниада жаққан адам* «приятный человек остался в этом мире».

Лексические признаки: возвратные местоимения *сендүң* «ты сам» и послелог *билен*.

Орфографические признаки: раздельное написание *ң* — двумя буквами («нун» и «кяф») — *йуртың* «твое жилище», *манғдай* «лоб», *десенғиз* «если вы скажете» и раздельное написание аффиксов и основы слова: *торы-ның* «гнедого», *қалчым-ның* «моей камчи», *өзүм-нүң* «меня самого».

Чагатайская основа поэмы бытовала явно в казахской среде. Это видно из следующих признаков: *ґ > в* между гласными, сонорной и гласной, в конце слова — *авыл* «село, селение», *авыз* «рот, уста», *баврум* «мой дорогой» (букв. «моя печень»), *қара тов* «черная гора»; *ш > с* — *сол* «этот, тот», *жасан* «наряжаться», *жас терекдей* «как молодой тополь»; личные местоимения 1 и 2 л. в дат. п.: *маған* «мне», *саған* «тебе».

Этот смешанный язык, его можно назвать и староказахским литературным языком, был мастерски использован Молдо Ниязом для написания поэмы. Язык поэмы, естественно, насыщен элементами киргизского языка.

Для него характерны следующие фонетические признаки: сильная губная гармония гласных, ср.: *Кокондо* «в Коканде», *жорғолоғон* «шедший иноходью», *көрөнмүн* «я видел» [12, с. 56—57]; *ж* в начале слов — *жаз* «лето», *жыйирме* «двадцать», *жүр* «ходить», *же* «есть, питаться»; начальный (*й*)*ы* (вм. *жы*) — *-ыр* «песня», *ырақ*, «далеко» [12, с. 57]; переход *б > в* между гласной и сонорной — *болвойт* «не будет он(она)», *қыш қылмайт* «зимой она не делает» [12, с. 57]; наличие губных дифтонгов *ов/өв* — *товдун* (род. п.) «горы»; *бирөв* «некий» и *ув/үв* = *увлуң* «твой сын», *қызыл үздүв* «краснощекий»; наличие трифтонгов с *й* между гласными — *ийе* (*бийени* «кобылу») и *үйе* (*түйелериң* «твой верблюды») [12, с. 59—60].

К морфологическим признакам можно отнести: афф. род. п. *-ның/-нын* вм. *ның*, ср.: *бағбаннын жайы* «место садового»; вин. п. на *-ды-*: *мартарды* «молодцов»; афф. 3 л. наст.-буд. времени ед. числа на *-т*: *болот* «будет», *қойуйт* «оставляет»; прош. на *-чу/-чү*: *жерде жатчу чачылып* «лежит разбросанная на земле», *күндө шелме тоқучу* «каждый день она ткала коврик» [12, с. 54, 57—58].

В основе языка прозаического сочинения Осмоналы Сыдыкова, посвященного истории правителя Шабдана, лежит старотатарский литературный язык — сплав чагатайского и татарского: *й* — в начале слов — *йигет* «юноша», *йаш* «молодой», *йоқ* «нет»; конечный *ґ* — *тағ* «гора»; раздельное написание аффиксов и основы слова — *булутлар-ға* (дат. п.) «тучам», с одной стороны, и *ир* «мужчина», *йан* «душа», послелог *кебек* исх. п. — *нан*—*қолларынан* «от их рабов», *йирләреннан* «от их земель», с другой стороны. На этом языковом фоне четко просматриваются киргизские черты: начальный *ж* — *журт* «жилище», *жигит* «юноша», *жит* «достигать»; род. п. на *-дин* — *меґрифетдин изи* «следы просвещения», *биздин кыргыз* «наши киргизы»; вин. п. на *-ди* — *хызметди* «службу», *шол йерди* «эту землю», *кимди* «кого»; послелог *шекилди* «как» (вм. татар. *шикелле*) — *адем шекилди* «как человек».

Язык писем Атаке-батыра (1785), бия Акымбека Улджебая и Мамбета Уметова (1825) и Байтика Канаева (середина XIX в.) характеризуется

большей сохранностью признаков чагатайского языка в сплаве с чертами киргизского: *селамет-лик-лер-ики* (вин. п.) «их здоровье» (письмо Атаке-батыра); *бирулмиш алтун медал йолуқтауруб алдум* «подаренную золотую медаль я получил как полагается» (письмо Акымбека Улджебая и Мамбета Уметова); *иззатлу ва хурматлу* «достоцимый и уважаемый» (письмо Байтека Канаева).

Названные произведения и тексты написаны на таких вариантах языка, которые, вне всякого сомнения, относятся к страту литературных языков: им присущи обработанность (наличие образных средств), наддиалектность (сочетание черт языков ~ диалектов) и присутствие языковой традиции.

Вместе с тем бросается в глаза отсутствие единообразия в нормированности литературных языков. Реализуется несколько региональных вариантов киргизского литературного языка:

- а) на чагатайской основе (киргизские письма);
- б) на основе староказахского литературного языка (поэма Молдо Нияза);
- в) на основе старотатарского литературного языка («Шабданова история киргизов» Осмоналы Сыдыкова).

К этому перечню можно добавить региональный вариант узбекского языка: в 1918—1919 гг. обращения к народу представителей советской власти печатались на юге Киргизии на узбекском языке; на севере Киргизии роль письменного языка до 1924 г. в значительной степени выполнял узбекский (см., например, «Воззвание Пишпекского общекиргизского демократического союза „Фухара“», опубликованное в 1917 г. в Пишпеке). В Северной Киргизии местное население также читало казахские газеты («Көмек», «Учкун», «Кедей эрки» «Аз жол», «Тілші») и журналы («Шолпан», «Таң», «Жас қайрат», «Аелдар теңдиги»), выходившие в Казахстане [2, с. 186]. Есть указания, что в XVII в. киргизы при сношениях с русскими прибегали к языку и письменности монголов [19]. Можно полагать, что в средневековой Киргизии существовали отдельные историко-культурные центры со своими скрипториями, как это имело место и в ряде стран Европы и Азии [20, 21].

Такое явление В. В. Виноградов считает общей закономерностью развития литературных языков Запада и Востока, характерной «для эпохи феодализма, эпохи, предшествующей образованию национальных литературных языков», например, классический арабский — у иранских народов, арабский и персидский — у тюркских народов, классический китайский — у японцев и корейцев, латинский — у германских и западнославянских народов, старославянский (древнеболгарский) — у южных и восточных славян, немецкий — у народов Прибалтики и Чехии [22, с. 10].

В истории русского литературного языка А. Н. Соболевский выделяет несколько литературных языков: два новгородских, два киевских, два западнорусских [23].

Приходится часто слышать в Киргизии, что раньше литературного языка не существовало, а то, что подразумевается под ним — это «язык молдо». Это выражение, думаю, можно толковать только в положительном смысле. Ведь в старое время молдо были не только служителями религиозного культа, но и деятелями культуры и просвещения, обучали грамоте детей. Они как образованные люди владели многими языками классического Востока и способствовали становлению и развитию литературного языка. Это не только нельзя отрицать, но и невозможно не подчеркивать. Как параллель можно привести роль отдельных монастырей и универси-

тетов в развитии немецкого литературного языка донациональной поры [24].

Ссылка на малую грамотность населения тоже не может поколебать факта наличия и функционирования литературного языка — в культуре важна не только количественная, но и качественная сторона.

Об этом В. В. Виноградов высказывается таким образом: «В ранние периоды образования буржуазных наций литературным языком владеют ограниченные социальные группировки, основная же масса сельского, а также городского населения использует диалект, полудиалект и городское просторечие; тем самым национальный язык, если его сливать с литературным языком, оказался бы принадлежностью лишь части нации» [22, с. 15].

Итак, можно с полной уверенностью сказать, что киргизы, начиная с XVIII в. по меньшей мере, пользовались арабской письменностью и имели в своем распоряжении не один, а несколько региональных литературных языков со своими жанрами и стилями. Необходимо продолжать собирание рукописей и старопечатных книг. Надо наладить их кодификацию и описание, научное издание и исследование — как частного, так и обобщающего характера. Это позволит определить круг чтения и репертуар книг, имевших распространение среди киргизов на протяжении XV—XIX вв., выявить, какие научные знания и литературные вкусы были у грамотных киргизов в прошлом, какие события и идеи их волновали, каким нравственным образцам они следовали [25]. Тем самым установится реальная связь между культурой киргизского народа в прошлом и настоящим. Невозможно не уважать прошлое, историю народа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Каниметов А.* Культура возрожденного к новой жизни киргизского народа // Развитие социалистической культуры в союзных республиках. М., 1962.
2. *Данияров С. С.* Становление киргизской советской культуры (1917—1924 гг.). Фрунзе, 1983.
3. *Батманов И. А.* Киргизский язык и письменность до образования киргизской нации // Формирование и развитие киргизской социалистической нации. Фрунзе, 1957. С. 56.
4. *Юдахин К. К.* Киргизско-русский словарь. М., 1940. С. 6.
5. *Малов С. Е.* К истории казахского языка // ИАН ОЛЯ. 1941. № 3. С. 99—100.
6. *Плоских В. И., Кудайбергенев С. К.* Ранние киргизские письменные документы // Изв. АН КиргССР. Обществ. науки. 1968. № 4. С. 75.
7. *Карасаева Х. К.* Кыргыз орфографиясынын тарыхынан // Тюркологические исследования: Сб. статей, посвященный 80-летию акад. К. К. Юдахина. Фрунзе, 1970. С. 73.
8. *Виноградов В. В.* Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития. М., 1967. С. 100—101.
9. История далекая и близкая. Беседа с компетентным человеком // Советская Киргизия. 1988. 26 июня. С. 3.
10. *Азия Ниалло.* По горным тропам. Памирские путевые заметки. Москва; Ташкент, 1933. С. 5.
11. *Шукуров Дж.* Из истории киргизского языка // Тр. Ин-та языка, литературы и истории. Вып. III. Фрунзе, 1952.
12. *Юнусалиев Б. М.* Отражение диалектных особенностей в санатах Молдо Нияза // Тюркологические исследования: Сб. статей, посвященный 80-летию акад. К. К. Юдахина. Фрунзе, 1970.
13. *Маанаев Э., Плоских В.* На «Крыше мира». Фрунзе, 1983.
14. По следам памятников истории и культуры Киргизстана / Под ред. Массона В. М. и Плоских М. В. Фрунзе, 1982. С. 136—137.
15. *Вуд Дж.* Путешествие к верховьям Оксуса. Лондон, 1872. С. 315.
16. *Айтмамбетов Д.* Дореволюционные школы в Киргизии. Фрунзе, 1961.

17. *Валиханов Ч.* Киргизы // Валиханов Ч. Избр. произведения. Алма-Ата, 1988. С. 338.
18. *Плоских В. М.* Первые киргизско-русские посольские связи (1784—1827). Фрунзе, 1970.
19. *Бартольд В. В.* Киргизы. Исторический очерк // Бартольд В. В. Собр. соч. Т. II. Ч. 1. М., 1963. С. 523—524.
20. Функциональная стратиграфия языка. М., 1986.
21. *Туманян Э. Г.* Язык как система социолингвистических систем. М., 1985. С. 112.
22. *Виноградов В. В.* Различия между закономерностями развития славянских литературных языков в донациональную и национальную эпохи. М., 1963.
23. *Соболевский А. И.* История русского литературного языка. Л., 1980. С. 22—23.
24. *Гухман М. М., Семенюк Н. Н.* История немецкого литературного языка IX—XV вв. М., 1983. С. 133.
25. *Эркебаев А.* Кыргыз элинин революцияга чейинки адабий мурасы жөнүндө // Кыргызстан маданияты. 1988. 21 июля. Б. 5.

ЧИЖЕВСКИЙ Ф.

ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ГЛАСНЫХ В УКРАИНСКИХ
ВЛОДАВСКИХ ГОВОРАХ

Целью статьи является описание внутренних различий украинских влодавских говоров в области вокализма путем выделения набора фонем, характеристики системы гласных всего комплекса говоров (максимальной системы) и отдельных систем.

Исследуемые говоры территории восточной части бывшего Люблинского воеводства (в р-не Буга) развивались на этническом украинско-польском пограничье. Эти говоры, сохранившие, с одной стороны, архаическое состояние, а с другой, подверженные польским влияниям, были предметом особого внимания языковедов, начиная с конца XIX в. (см. [1]), на протяжении межвоенного периода (см. [2]¹) и кончая послевоенным периодом (см. [3]).

В настоящей статье при описании системы вокализма влодавских говоров я основываюсь прежде всего на собственном материале, записанном в 1975—1980 гг. у информантов-билингвов, т. е. пользующихся украинской и польской языковыми системами.

Подробная характеристика языковой ситуации этого района представлена в работе «Атлас польских и украинских говоров окрестностей Влодавы» [4]. Для сравнения использованы и рукописные данные по украинским говорам Люблинщины картотеки Атласа говоров Люблинщины² и довоенные записи В. Курашкевича [2].

В результате фонетического анализа, проведенного на собственном материале, я выделяю в исследуемых влодавских говорах следующие гласные³: а) монофтонгические *i, y, e, u, o, a*, а также с другим оттенком по сравнению с перечисленными: *é, ó, ä, ý, ŷ*; б) дифтонгические: *ie, ⁱe, ^ue, ^{uo}, ^{uo} ^{iu}*.

С фонетической точки зрения эти гласные можно охарактеризовать следующим образом:

i — звук переднего ряда; при произнесении гласного *i* тело языка сильно поднимается к твердому нёбу (палатум), а также значительно продвигается вперед; звук нелабиализованный;

¹ Работа содержит библиографию основных трудов по украинским говорам Подлясья и Хелмщины.

² Materiały do Atlasu qwar Lubelszczyzny (картотека), Отделение польского языка (Instytut języka polskiego) Университета им. Марии Склодовской-Кюри в Люблине. Картотека содержит материалы по польским и украинским говорам бывш. Люблинского воеводства.

³ Цитируемый материал не содержит точной локализации. Схематическое разделение влодавских говоров представляет прилагаемая карта. Подробный перечень украинскоязычных деревень (см. в [4]).

y — при произнесении гласного *y* язык значительно продвинут вперед (но меньше, чем при *i*), расстояние от спинки языка до передней части твердого нёба значительное [5]⁴;

ÿ — звук, произносящийся при большем (чем при *y*) приближении тела языка к твердому нёбу и меньшем (чем при *i*) передвижении тела языка вперед; акустическое качество этого звука можно оценить как среднее

i
между *i* и *y*, т. е. *y*;

ÿ̇ — гласный, произносящийся при большем (чем при *e*) передвижении тела языка вперед и большем (чем при *e*) приближении средней части языка к твердому нёбу; фонетическое качество этого гласного можно оценить как

e
среднее между *i* и *e*, т. е. *y*;

e — тело языка относительно незначительно продвинуто вперед и относительно немного приподнято вверх; это гласный переднего ряда, среднего подъема;

u — звук заднего ряда, верхнего подъема, отчетливо лабиализованный; во время артикуляции этого гласного тело языка продвигается назад, а спинка языка приближается к задней части твердого нёба;

o — при гласном *o* тело языка поднято к твердому нёбу, основание языка продвинуто назад; это гласный заднего ряда, среднего подъема, слегка лабиализованный;

ó — гласный, произносящийся при большем (чем при *o*) подъеме тела языка к твердому нёбу и при большем (чем при *u*) продвижении тела языка назад; *ó* фонетически приближено к звуку, среднему между *o* и *u*;

a — тело языка лежит на дне ротовой полости, спинка языка слегка округлена или плоская; с твердым нёбом соприкасаются лишь боковые части языка; гласный *a* в окружении заднеязычных согласных произносится при продвижении языка назад; гласный *a* — нижнего подъема и (в основном варианте) среднего ряда;

ä — произносится при несколько более широком (чем при *a*) растворе гортани и большем (чем при *a*) подъеме спинки языка; нижняя челюсть опускается меньше, чем при *a*; звук, средний между *a* и *e*.

iē — узкий дифтонг; произносится при изменяющемся положении тела языка, язык опускается от высокого до среднего подъема; звук нелабиализованный;

i̇e — дифтонг со слабо выраженной начальной стадией и более отчетливой последней;

ÿe — узкий дифтонг, положение тела языка изменяется от относительно высокого (до более низкого, чем при *e*) до среднего; звук нелабиализованный;

iȯ — лабиальный дифтонг, язык изменяет положение от более заднего и высокого до более переднего и низкого; дифтонг *o* произносится с большим округлением губ в начальной стадии, в последней же фазе этого дифтонга лабиализация слабее;

u̇o — звук с ослабленной начальной частью и отчетливой последней, губы округлены;

⁴ Артикуляция гласного *y* во владарских говорах близка артикуляции этого гласного в украинском языке (см. [5, с. 54]): «Рентгенограммы [u], сделанные в лаборатории экспериментальной фонетики Киевского университета, помимо схемы артикуляции этого звука, свидетельствуют о том, что [u] — это звук переднего ряда, несколько более низкий, чем [i], приближенный к уровню среднего ряда».

iu — дифтонг, начальная стадия которого произносится при заднем продвижении тела языка, последняя стадия — при переднем продвижении языка.

Фонетическое качество рассматриваемых дифтонгов как звуков, произносящихся при изменяющемся положении тела языка, хорошо характеризует следующее замечание В. Курашкевича: «... северно-малорусский дифтонг выступает в сознании говорящих как одна фонема, произносящаяся ... как один гласный, типично неединообразный» [2, с. 59].

Выделенные в результате фонетического анализа гласные образуют максимальную систему гласных украинских говоров бывшего Влодавского повята. Однако эта максимальная система не встречается ни в одной из исследованных деревень. Географическое распространение и сфера употребления отдельных гласных различны. Укажем распространение и сферу употребления некоторых гласных: а) дифтонги выступают в западной части исследуемого ареала; б) гласный *ju* в полосе говоров в районе Буга; в) гласный *ju* в северо-западных говорах.

Дифтонги, а также гласный *ju* встречаются под ударением, а *ju* после согласных *r*, *l* независимо от ударения.

Монофтонгические звуки, как и в украинском языке [6, 7], могут быть охарактеризованы при помощи двух фонологических оппозиций⁵: места артикуляции (локализации), степени раствора ротовой полости.

Используя оппозицию места артикуляции, в исследуемых говорах можно выделить передние и задние фонемы. Во влодавских говорах в сфере оппозиции по месту образования дистинктивную функцию выполняют следующие гласные:

i / *y* : /u/ — /kit/ «кот»: /kut/ «угол», /rik/ «год»: /ruk/ «рук, вин. ед. ч. от ruk'a»⁶; /y/ : /u/ — /byty/ «бить»: /buty/ «быть»; /e/ : /o/ — /vely-ka/ «большая, прил. жен. р. от большой»: /vołyka/ «вин. ед. ч. от: vołyk», /herb/ «герб»: /horb/ «горб».

В зависимости от степени открытости различаются следующие гласные фонемы:

i / *y* : /y/ — /kit/ «кот»: /kyt/ «кит», /dim/ «дом»: /dym/ «дым»;

i / *a* : /a/ — /sik/ «сок»: /sak/ «сак, сумка»;

y / *e* : /e/ — /ber'y/ «бери, 2 л. ед. ч. императ.»: /bere/ «берет, 3 л. ед. ч. презенса», /nes'y/ «неси, 2 л. ед. ч. императ.»: /nese/ «несет, 3 л. ед. ч. презенса»;

y / *a* : /a/ — /dym/ «дым»: /dam/ «дам», /syn/ «сын»: /sam/ «сам»;

u / *a* : /a/ — /kut/ «угол»: /kat/ «палач», /žur/ «жур, вид супа»: /žar/ «жара»;

o / *a* : /a/ — /kora/ «кора»: /kara/ «кара».

Дифтонги находятся в оппозиции с монофтонгами по принципу изменяющегося положения языка, т. е. наличия/отсутствия продвижения языка с высокого положения к среднему (ср. [5, с. 41]):

uo / *y* : /y/ — /buok/ «бок»: /byk/ «бык, бугай»;

iu / *u* : /u/ — /kuot/ «кот»: /kut/ «угол»;

uo / *o* : /o/ — /ruot/ «род, поколение»: /rot/ «рот»;

⁵ Согласно М. А. Жовтобрюху, автору фонологической главы в работе «Украинская грамматика», фонологическими оппозициями в области вокализма литературного украинского языка являются: место образования, степень раствора, наличие или отсутствие лабиализации [7, с. 5]. Во влодавских говорах лабиализация является редундантной чертой.

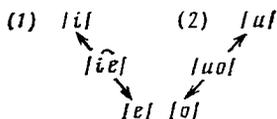
⁶ Ударение не указывается в тех словах, которые имеют паракситоническое ударение. Символ фонемы — / /, варианта фонемы — [/].

i- в *i-*, например, $\widehat{id'u} \Rightarrow idu$ или утрата начального *i*, например, $ind'yk \Rightarrow 'and'yk$. В случае последовательного развития в исследуемых говорах указанных фонетических процессов, т. е. перехода $li \Rightarrow ly \Rightarrow ty$, например, $xodyli \Rightarrow xodyly \Rightarrow xodyty$; $k'i, x'i, h'i \Rightarrow ky, xy, hy$, например, $ručk'i \Rightarrow ručk'y, mux'i \Rightarrow muxy, noh'i \Rightarrow nohy$; $i- \Rightarrow i-, i- \Rightarrow \emptyset$, тогда как в состав оппозиции по месту образования войдет гласный /y/, ср. /kyl/ «кит»: /kut/ «угол». Это позволяет говорить здесь, используя терминологию З. Штибера, о фонеме /y/ как о «потенциальной фонеме» [9].

Дифтонгические фонемы $\widehat{ie}/, \widehat{uo}/$, встречающиеся в исследуемой части говоров, отличаются от монофтонгических фонем сферой употребления. В противоположность монофтонгическим фонемам, которые могут встречаться и в начале, и в середине, и в конце слова, сфера употребления дифтонгических фонем ограничена двумя позициями: начало и середина слова или середина и конец. О фонологической самостоятельности $\widehat{ie}/$ свидетельствует не только дистриктивный критерий, т. е. возможность различения форм и значений слов, но и критерий дистрибутивный, т. е. возможность его употребления в последнем слоге, ср. /tel'ie/, /myž'ie/. О фонологической самостоятельности дифтонга $\widehat{uo}/$ говорит то, что он может выступать в позиции начала слова, ср. /'uowsysko/.

Узкая фонема $\widehat{ie}/$ может выступать параллельно основному варианту \widehat{ie} также в виде \widehat{ie} , \widehat{ye} ; это факультативные варианты фонемы $\widehat{ie}/$. Лабializedанная фонема $\widehat{uo}/$ реализуется, помимо основного варианта \widehat{uo} , также в виде факультативных вариантов \widehat{uo} , \widehat{yu} .

В южной части рассматриваемого комплекса говоров возможна нейтрализация оппозиции по изменяющемуся / не изменяющемуся положению тела языка. В результате исчезновения этого противопоставления наблюдается переход фонемы $\widehat{ie}/$ из класса фонем, произносящихся при изменяющемся положении языка. Узкая фонема /e/, которая является монофтонгической фонемой переднего ряда, после дефонологизации признака изменения позиции языка может совпасть с одной из соседних передних фонем, т. е. /i/ или /e/. Итак, в южной части рассматриваемой группы говоров наблюдаются следующие передвижения:



В результате этих изменений, касающихся степени раствора, происходит включение фонемы $\widehat{ie}/$ в класс верхних или средних фонем⁷, ср. /t'ieško/ \Rightarrow /t'iško/ или /t'ieško/ \Rightarrow /t'eško/ [см. (1)]. Подобные передвижения происходят и с задней фонемой $\widehat{uo}/$, которая может совпасть с классом фонем верхнего или среднего ряда, ср. /kuon'/ \Rightarrow /kup'/ или /kuon'/ \Rightarrow /kon'/ [см. (2)].

В предударном положении фонема /o/, помимо основного варианта [o], реализуется также в виде комбинаторного варианта [ó]. В определенных

⁷ См. статью «гласная» в [10].

словоформах этой группы говоров может произойти стирание противопоставления по открытости в рамках фонем верхнего и среднего ряда и соответственно отождествление фонемы /o/ с /u/, ср. /podwalina/ \rightleftharpoons /pidwalina/.

Подобные процессы в предударном положении происходят с фонемой /e/. Наряду с основным вариантом [e] фонема /e/ реализуется в этой позиции в виде факультативного варианта [ɛ̃]. В определенных фонетических контекстах может произойти, так же, как с /o/, перемещение фонемы /e/ из класса фонем среднего ряда в класс фонем верхнего ряда, ср. /bed'a/ \rightleftharpoons \rightleftharpoons /b'id'a/.

Б. Группа восточных говоров

Восточная часть владавских говоров (за исключением пояса вдоль Буга, см. карту) имеет следующую систему гласных:

$$\begin{array}{ccccc} /i/ & & & & /u/ \\ & /e/ & & /o/ & \\ & \text{□} /a/ & & \text{□} & \end{array}$$

Подобная система, состоящая из 5 фонем, известна и полесским говорам [11].

Инвариант фонемы /a/ имеет передний характер, на это указывает факт употребления гласного [a] после мягкого согласного, ср. /t'aško/, /mež'a/, /bu'i'ak/, а также возможность передвижения фонемы /a/ в рамках класса передних фонем. Существующая оппозиция по степени раствора между широкой фонемой /a/ и фонемой /e/ (среднего раствора) подвергается нейтрализации в ударной позиции, ср. /šarka/ \rightleftharpoons /šerka/, /tel'e/ \rightleftharpoons \rightleftharpoons /tel'e/. Этот тип нейтрализации имеет на рассматриваемой территории почти повсеместный характер [2, с. 120—150; 12]. Фонема /a/ реализуется в определенных фонетических контекстах в виде [ä], например, /jählena kaša/.

В. Группа говоров в районе Буга

В нескольких деревнях, расположенных в районе Буга (см. карту), система гласных включает следующие фонемы:

$$\begin{array}{ccccc} /i/ & & & & /u/ \\ & /y/ & & & \\ & & /e/ & & /o/ \\ & & \text{□} /a/ & & \end{array}$$

Это 6-фонемная система⁸.

О том, что /y/ является самостоятельной фонемой, свидетельствует дистрибуция фонемы /i/. Если в группе говоров Б фонема /i/ реализуется в виде комбинаторных вариантов: [i] после мягких согласных и [y] после

⁸ Идентичную систему гласных имеют бойковские говоры; по А. М. Залескому [13], она выглядит следующим образом:

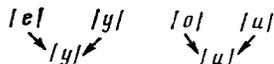
$$\begin{array}{ccccc} /i/ & & & & /u/ \\ & /y/ & & & \\ & & /e/ & & /o/ \\ & & \text{□} /a/ & & \end{array}$$

Другая схема вокализма (несмотря на то, что число гласных фонем такое же) присуща литературному украинскому языку. По М. А. Жовтобрюху (см. [7]), эта схема такова:

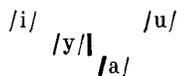
$$\begin{array}{ccccc} /i/ & & & & /u/ \\ & /y/ & & & \\ & /e/ & & & /o/ \\ & & & & \text{□} /a/ \end{array}$$

твердых, то в группе говоров В гласный *i* может выступать и после мягких, и после твердых согласных, ср. /wiz/ «воз» : /w'iz/ «вез, 3 л. ед. ч. прош. вр. от везти», /nis/ «нос»: /n'is/ «нес, 3 л. ед. ч. прош. вр. от нести». Именно такая дистрибуция фонемы /i/ позволяет признать фонему /y/ самостоятельной [14]. Обсуждаемая часть влодавских говоров объединяется по признаку наличия фонемы /y/ с диалектами украинского юго-запада [15].

В безударной позиции представленная выше система гласных фонем изменяется в результате нейтрализации оппозиции по степени раствора. Это явление происходит следующим образом [5, с. 37]:

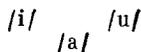


В результате нейтрализации противопоставления по степени раствора передняя фонема /e/ среднего раствора переходит в класс передних фонем широкого раствора, ср. /metl'a/ \rightleftharpoons /mytl'a/, /lox'ajet's'a/ \rightleftharpoons /lox'ajit's'a/. Подобное изменение затрагивает фонемы заднего ряда, ср. /vołoška/ \rightleftharpoons /vułoška/, /ivsysko/ \rightleftharpoons /ivsysku/. В результате дефонологизации степени раствора фонемы среднего раствора /e/ и /u/ оказались в группе фонем узкого раствора /y/, /u/, вследствие чего оппозиция между ними нейтрализовалась: /e/ \rightleftharpoons /y/ и /o/ \rightleftharpoons /u/. В результате безударная система говоров в районе Буга выглядит следующим образом:



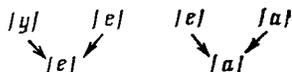
Это 4-фонемная система.

На территории группы говоров Б (см. выше), где [y] — вариант фонемы /i/, система гласных следующая:



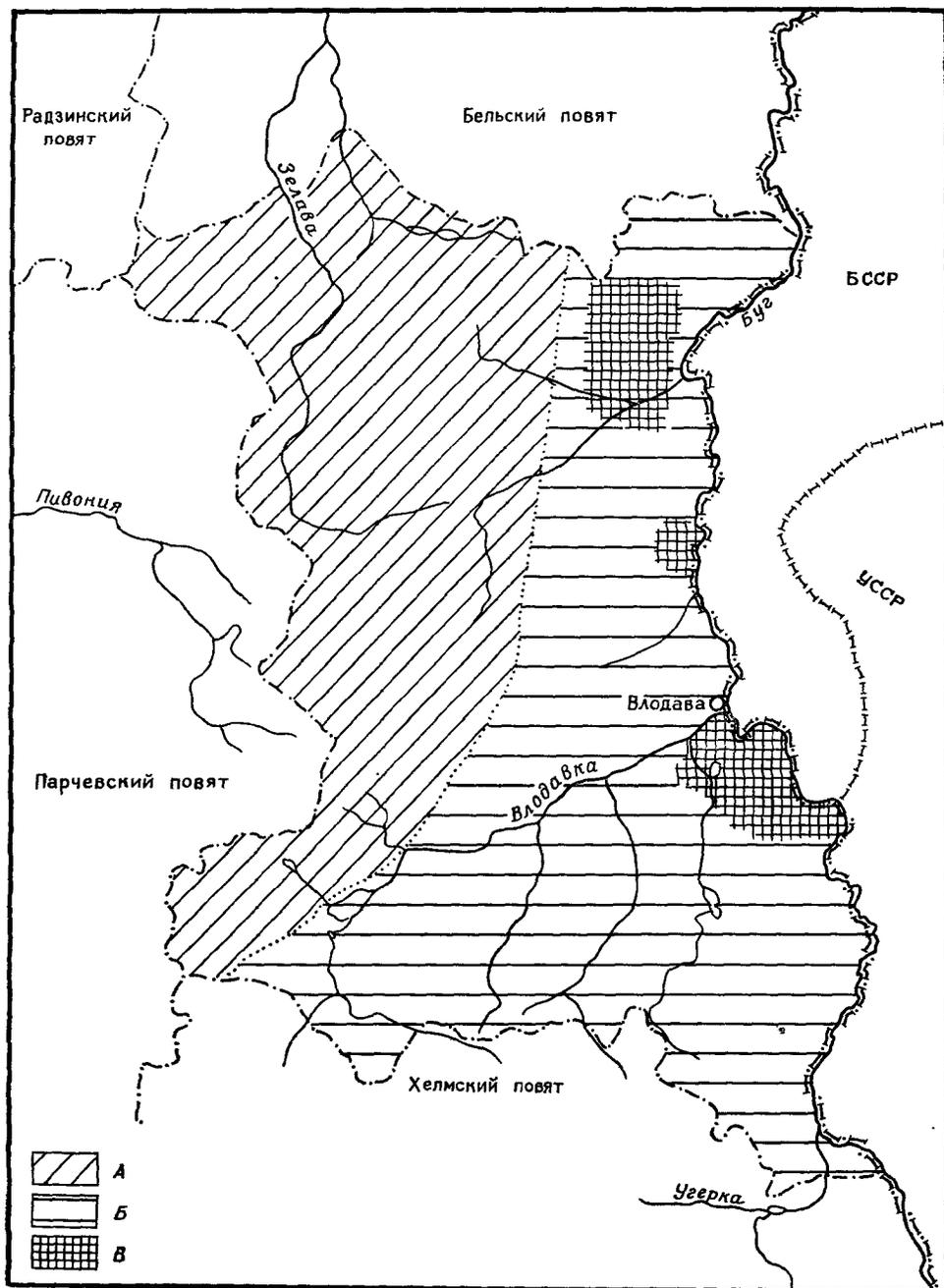
Это 3-фонемная система.

Как в группе говоров Б, так и в группе говоров В существует нейтрализация оппозиции по степени раствора и в ударном положении. В результате нейтрализации этой оппозиции происходит передвижение фонемы узкого раствора /y/ в фонему среднего раствора /e/, а также фонемы среднего раствора /e/ в фонему широкого раствора /a/, ср.



Этот процесс не влечет за собой качественных изменений системы гласных (в отличие от ситуации в безударной позиции), ср. /tryk/ \rightleftharpoons /trek/, /bydło/ \rightleftharpoons /bedłu/, /treba/ \rightleftharpoons /traba/. Но это вызывает, однако, большую функциональную нагруженность фонем /e/ и /a/ в сравнении с ситуацией в группе говоров А.

Подводя итоги, следует сказать, что система говоров в районе Буга в противоположность системе западных говоров (группа А) обнаруживает четкую зависимость от ударения. В безударной позиции изменения системы происходят в результате сужения степени раствора (продвижение вверх), тогда как в ударной позиции — в результате расширения степени раствора (продвижение вниз).



Условные обозначения. А — говоры с 7-фонемной системой: *i, u, $\hat{a}o, \hat{e}e, e, o, a$* ; Б — говоры с 5-фонемной системой: *i, u, e, o, a*; В — говоры с 6-фонемной системой: *i, y, u, e, o, a*.

По отношению к общеукраинскому языку влодавские говоры, развивавшиеся на периферии его формирования, представляют в области вокализма систему более полную (за счет дифтонгических фонем /ie/, /uo/). Это система, характеризовавшая древнеукраинский язык до XVI в. (см. [16]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шимановский В. Звуковые и формальные особенности народных говоров Холмской Руси. Варшава, 1897.
2. Kuraskiewicz W. Ruthenica. Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej. Warszawa, 1985.
3. Smoczyński P. Kwestionariusz do atlasu gwar Lubelszczyzny. Lublin, 1965.
4. Czyżewski F. Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy. Lublin, 1986.
5. Жилко Ф. Т. Нариси з діалектології української мови. Київ, 1966. С. 54.
6. Коструба П. Фонетика сучасної української літературної мови. Ч. 1. Львів, 1963. С. 37.
7. Украинская грамматика / Отв. ред. Русановский В. М. Киев, 1986. С. 5.
8. Smułkowa E. Szkic systemów fonologicznych ruskich gwar Białostoczczyzny wschodniej // SO. 1968. XVII. S. 415—416.
9. Stieber Z. Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego. Warszawa, 1966. S. 104.
10. Gołąb Z., Heinz A., Polański K. Słownik terminologii językoznawczej. Warszawa, 1968. S. 501.
11. Климчук Ф. Д. Гаворкі заходняга Палесся. Фанетычны нарыс. Мінск, 1983. С. 45.
12. Czyżewski F. Wpływ akcentu na rozwój wokalizmu w ukraińskich gwarach okolic Włodawy // Slavica Lublinensia et Olomucensia. T. IV. Lublin, 1986. S. 141—149.
13. Залеський А. М. Фонологічна система бойківської говірки // Структура українських говорів. Київ, 1982. С. 70.
14. Stieber Z. Systemy wokaliczne dawnej Lemkowszczyzny // Świat językowy Słowian. Warszawa, 1974. S. 466.
15. Dejna K. Fonologiczny system języka ukraińskiego // ВРТЖ. 1950. X. S. 149—150.
16. Історія української мови. Фонетика / Відпов. ред. Німчук В. В. Київ, 1979, С. 241—247, 273—279.

Перевела с польского Санникова О. В.

ЕСЬКОВА Н. А.

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕКОТОРЫХ ФАКТОВ
РУССКОЙ ГЛАГОЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ *

Задача настоящей статьи — исходя из определенного понимания устройства словоформы русского глагола — предложить интерпретацию ряда морфологических фактов. Объектом рассмотрения являются некоторые непродуктивные группы глаголов, глаголы уникального устройства, аномальные парадигмы и отдельные аномальные словоформы; предлагается, в частности, объяснение некоторых явлений, находящихся за пределами литературной нормы или на ее периферии.

Сущность предлагаемого подхода — в признании **п р и н ц и п и а л ь н о й** т р е х ч л е н н о с т и словоформы глагола. Если именная словоформа с словоизменительной точки зрения членится на два элемента — основу и флексию, то словоформа глагола не может состоять меньше чем из трех компонентов. Непременной составной частью любой глагольной словоформы является элемент, находящийся между основой и флексией (или суффиксом), который лучше всего называть **т е м о й**. Примеры членения словоформ инфинитива: *чит-а-ть, рыж-е-ть леч-и-ть* (-а-, -е-, -и- — тематические элементы).

Такая точка зрения означает пересмотр термина «основа». Широко распространен подход, при котором словоформы глагола возводятся к двум основам — основе инфинитива и основе настоящего времени. При предлагаемом понимании основой названо то, что остается от основы в традиционном смысле после вычленения из нее темы. Традиционные две основы создаются соотносительными тематическими элементами, выступающими в двух глагольных подпарадигмах, одна из которых включает инфинитив, прошедшее время, причастия прошедшего времени и дееспричастие совершенного вида, а другая — настоящее-будущее время, повелительное наклонение, причастия настоящего времени и дееспричастие несовершенного вида. В дальнейшем эти две подпарадигмы будут обозначаться как «подпарадигма прошедшего времени» и «подпарадигма настоящего времени», а настоящее-будущее время будет именоваться настоящим.

Регулярные соотношения тематических элементов, выступающих в двух подпарадигмах, образуют морфологические классы глаголов. Здесь принимается следующая классификация.

- I класс: а — а₁ (*чит-а-ть — чит-а₁-у*)
- II класс: е — е₁ (*бел-е-ть — бел-е₁-у*)
- III класс: ова — у₁∅ (*рис-ова-ть — рис-у₁∅-у*)
- IV класс: и — ∅₁ (*ход-и-ть — хож-∅-у*)
- V класс: (н)у — (н)∅ (*прыгн-у-ть — прыгн-∅-у*)

* Статья написана на основе двух сообщений, сделанных в Институте языкознания АН СССР на заседаниях, посвященных памяти моего учителя А. А. Реформатского, 11 мая 1979 г. и 16 октября 1985 г.

- VI класс: $a - \theta_2$ (*пис-а-ть — пиш-ѳ-у*)
 VII класс: $e/a - \theta_1$ (*сид-е-ть — сиж-ѳ-у, крич-а-ть — крич-ѳ-у*)
 VIII класс: $ny, \theta - n$ (*мёрз-ну-ть, мёрз-ѳ-ѳ — мёрз-н-у*)
 IX класс: $\theta - \theta$ (*нес-ѳ-ти — нес-ѳ-у*)

Классы I—V восходят к продуктивным классам С. О. Карцевского (см. [1]), непродуктивные классы VI—IX почти повторяют А. В. Исаченко (VII класс объединяет его VII и VIII классы, VIII и IX соответствуют его IX и X классам; см. [2]).

За пределами этих классов остаются глаголы, образованные примерно от 60 корней; на их классификации здесь нет необходимости останавливаться.

Тематические элементы являются носителями морфологических и морфонологических особенностей каждого глагольного класса. Они определяют систему чередований (именно поэтому «пустые» тематические элементы, вызывающие разные чередования, даны выше с разными индексами), выбор системы флексий (признак «спряжение» оказывается зависимым и целиком предсказуемым), а также выбор некоторых аффиксов причастий.

И оказывается, что большинство нерегулярностей русской глагольной морфологии может быть отнесено за счет нерегулярного использования тематических элементов. Иначе говоря, большинство морфологических аномалий русских глаголов можно представить как неправильное сочетание «нормальностей», т. е. как контаминацию признаков разных глагольных классов в пределах системы форм словоизменения одного глагола¹.

Глаголы, у которых признаки разных классов обнаруживаются в пределах подпарадигмы настоящего времени, называют обычно разноспрягаемыми. Фактически они «разнотемные»: глагол *хотеть* сочетает признаки VI (*хочешь, хочет*) и VII (*хотим, хотите, хотяя, хотящий*) классов; глагол *бежать* — VII (*бежишь, бежит, бежим, бежите*) и IX (*бегут, бегущий*) классов. Флексии I или II спряжений определяются тематическими элементами, от которых зависят и чередования.

Контаминированные глагольные парадигмы не выглядят столь аномальными, когда разнородные тематические элементы сочетаются более «правильно», распределяясь по подпарадигмам настоящего и прошедшего времени.

Есть группа глаголов, обладающих существенным признаком VI класса — соотношением «тема *a* в подпарадигме прошедшего времени — нулевой тематический элемент в подпарадигме настоящего времени». Это глаголы: *братъ, врать, брать, жаждасть, ждать, жрать, звать, лгать, орать* («кричать»), *рвать, сосать, стонать, ткать*; ср.: *вр-а-ть — вр-ѳ-у*.

Однако глаголам VI класса присущи два существенных морфонологических признака — чередование конечных согласных основы и сдвиг ударения с флексии на основу во всех формах настоящего времени, кроме первого лица: *писа́ть — пишу́ — пише́т, вяза́ть — вяжу́ — вяже́т, шепта́ть — шепчу́ — шепче́т, дрема́ть — дремлю́ — дреме́т, трёпа́ть — треплю́ — трепле́т* и т. д. Носителем этих признаков можно считать выступающий в подпарадигме настоящего времени нулевой тематический элемент.

Поскольку глаголы типа *врать* и *сосать* не имеют отмеченных морфонологических признаков (ср. *соверу́ — совере́т, сосу́ — сосе́т*), нельзя считать, что в них представлен тот же «нуль», что у глаголов VI класса. В то

¹ Впервые такой подход к морфологическим аномалиям в глагольной системе был предложен на Советании по формальной морфологии и словообразованию, проходившем с 10 по 21 января 1972 г. в Можжинке (под Москвой); см. [3].

же время настоящее время этих глаголов оказывается устроенным так же, как у глаголов типа *нести* (ср. *сосу* — *сосёт* и *несу* — *несёт*, *жду* — *ждёт* и *веду* — *ведёт*). Это дает право считать, что у тех и других глаголов в подпарадигме настоящего времени представлен один и тот же тематический элемент. Иными словами, нет необходимости «заводить» для глаголов типа *брать*, *сосать* особый класс или подкласс: они сочетают в себе признаки IV и IX классов, т. е. имеют контаминированные парадигмы с темами *a* (IV класса) — *υ* (IX класса).

Таким же образом можно показать, что уникальный глагол *реветь* (для которого в «Русской грамматике» 1980 г. заведен особый подкласс; см. [4]) имеет контаминированную парадигму с темами VII и IX классов. (Известно, что в некоторых диалектах он сохраняется как глагол VII класса с настоящим временем *ревяю*, *ревит*; его былую принадлежность к этому классу выдает и семантика.)

Контаминацию тех же VII и IX классов с более прихотливым распределением тематических элементов можно усмотреть в глаголах *мереть*, *переть*, *тереть*, *простереть*: по VII классу оформлены инфинитив и деепричастия (*замерев*, *отперев*, *вытерев*, *распростерев*), остальные же формы образуются так, как у глаголов IX класса (*замру*, *замрёт*, *замер*, *замерла*, *замерший*).

Глагол *спать* имеет контаминированную парадигму с «правильно» распределенными по подпарадигмам тематическими элементами: *спать* — *спал* — *спавший* с темой VI класса (ср. *трепать* — *трепал* — *трепавший*) и *сплю* — *спит* — *спят* с темой, общей для IV и VII классов (ср. *креплю* — *крепит* — *крепят* от *крепить* и *скриплю* — *скрипит* — *скрипят* от *скрипеть*).

Так же устроен глагол *гнать* — с той разницей, что в настоящем времени у него появляется беглая гласная: *гнать* — *гоню*, *гонит*, *гонят*.

Прихотливо устроены приставочные глаголы на *-шибить*. Инфинитив и страдательные причастия (*расшибленный*, *ушибленный*) имеют тему IV класса, прошедшее и будущее время образованы по IX классу (*ушиб*, *ушибла*, *ушибу*, *ушибёт* — как *грёб*, *гребла*, *гребу*, *гребёт*). Что же касается действительных причастий и деепричастий, то для них до недавнего времени не был нормативно закреплён «выбор» между этими двумя возможностями, т. е. между формами типа *ушибивший*, *ошибившийся*, *ушибив*, *ошибившись* (образованными по IV классу) и формами типа *ушибший*, *ошибшийся*, *ушибши*, *ошибшись* (по IX классу). В последнее время появились нормативные указания в пользу форм первого типа — образованных по IV классу (см. [5] и [6]).

Контаминированные парадигмы имеют также глаголы *читать* (IV класс, кроме словоформ *чту*, *чтут*, *чтущий*, содержащих тему IX класса), *жиздаться* (IV и IX классы с «правильным» распределением), *зыбиться* (IV и VI классы, тоже распределенные по подпарадигмам).

Предлагаемый подход дает возможность объяснить природу некоторых вариантных словоформ.

Глаголы VIII класса на *-стигнуть* (с приставками *до-*, *за-*, *на-*, *по-*) имеют варианты инфинитива на *-стичь*. Можно считать, что эти вариантные словоформы содержат тематический элемент IX класса, присоединяемый к основе на *-стиг-* (ср. *постичь* и *постричь*).

Так же можно объяснить образование форм страдательных причастий на *-верженный* (с приставками *в-*, *из-*, *ниж-*, *ниспро-*, *по-*, *с-*), выступающих как варианты с архаическим оттенком к основным формам на *-вергнутый* глаголов на *-вергнуть* (*вергнутый*, *повергнутый* и т. д.). Эти варианты

причастных форм тоже содержат тему IX класса (ср. *поверг* — *поверженный* и *постриг* — *постриженный*).

Строго нормативными формами страдательных причастий приставочных глаголов от *пеленать* признаются образования на *-пелёнатый* (*запелёнатый*, *перепелёнатый*, *распелёнатый*, *спелёнатый*). Они вытесняются вариантами на *-пелённутый* (*запелённутый* и т. д.), которые уже перестали «запрещать» в нормативных словарях. Как объяснить появление этих вариантов? Дело в том, что строго нормативные варианты морфологически аномальны, регулярными были бы формы на **-пелёнаный* (ср. *запятнать* — *запятнаный*). В то же время причастный суффикс *-т-* закономерен у глаголов на *-нуть* V класса (*подчёркнутый*, *раздвинутый*, *заглопнутый* и т. п.). В формах *запелённутый*, *распелённутый* и пр. произошла «подстановка» тематического элемента другого глагольного класса, «оправдывающая» выбор причастного суффикса *-т-*. Возникает контаминированная парадигма, но устраняется аномалия в выборе суффикса страдательного причастия.

Перейдем к рассмотрению двух явлений, приводящих к возникновению у нескольких глаголов вариантных подпарадигм настоящего времени. Здесь придется иметь дело преимущественно с фактами, находящимися за пределами литературной нормы или на ее периферии. Оба явления включают в себе много загадочного, что обнаруживается, в частности, в некоторых написаниях. Поэтому «разгадки» будут касаться не только морфологии, но и орфографии.

1. Первое явление касается нескольких глаголов VI класса с основами на губные согласные: *сыпать*, *трепать*, *щипать*, отчасти *дремать*. Рассмотрим его на примере глагола *сыпать*.

Наряду со строго нормативной системой форм настоящего времени *сыплю*, *сыплешь*, *сыплет*, *сыплем*, *сыплете*, *сыплют* существуют варианты словоформ (кроме первого лица) *сыпешь*, *сыпет*, *сыпем*, *сыпете*, *сыпят*. Свойственные преимущественно устной речи и «полупризнанные» литературной нормой, они тем не менее проникают в печать и чаще всего пишутся именно так: *сыпет* (с флексией первого спряжения), но *сыпят* (с флексией второго спряжения). Как объяснить их появление и оправдана ли такая письменная передача?

Оставив пока в стороне орфографию, обратим внимание на то, что в «новоявленной» подпарадигме глагола *сыпать* возникает морфонологическое противопоставление 1 л. ед. числа прочим словоформам: *сыплю* — *сыпет*, *сыпят*. Такое соотношение чередующихся конечных согласных основы бывает представлено в подпарадигмах настоящего времени глаголов двух классов — IV и VII, реализуясь противопоставлением шипящих мягким зубным (*прошу* — *просит*, *просят* от *просить*, *гляжу* — *глядит*, *глядят* от *глядеть*) и сочетаний губных с <л'> — мягким губным (*кормлю* — *кормит*, *кормят* от *кормить*, *скорблю* — *скорбит*, *скорбят* от *скорбеть*). С такой системой чередований могут сочетаться только флексии второго спряжения. В соответствии с предлагаемым здесь способом описания носителем этих морфонологических и морфонологических признаков признается выступающий в подпарадигме настоящего времени глаголов этих классов тематический элемент.

Происходящее с глаголом *сыпать* и подобными ему может быть представлено как результат «проникновения» этого тематического элемента в подпарадигму настоящего времени, т. е. как возникновение контаминированной парадигмы. Этим морфологическим объяснением диктуются написания *сыпишь*, *сыпит*, *сыпим*, *сыпите* — в соответствии с уже бытующей

щим в практике *сылят*. (Такое решение уже принято в [6], см. с. 700—701.)

Интересно проанализировать, почему в практике печати стихийно сложилось «нелогичное» соотношение *сылет* — *сылят*. Интуиции пишущих хватает на то, чтобы не написать **сылют*, из-за отсутствия глагольных словоформ с орфографическим сочетанием «губная + -ют»². Написания же *сылешь*, *сылет*, *сылем*, *сылете*, имеющие аналогию в таких словоформах, как *гребешь*, *скребет*, *реем*, *снимете* и т. п., непосредственная интуиция «рядового пишущего» не отвергает. Как мы видели, только достаточно сложный грамматический анализ позволяет установить, что и эти словоформы содержат флексии второго спряжения³.

Предлагаемое объяснение вскрывает механизм морфологической трансформации глагола *сылать* и подобных ему, но оставляет без ответа вопрос о «движущей силе» этих изменений. Представляется понятным и закономерным, когда непродуктивные соотношения заменяются продуктивными, между тем глагол *сылать*, изменяясь, уподобляется уникальному глаголу *спать*; ср.: *спать* — *сплю* — *спит* — *спят* и *сылать* — *сыплю* — *сыпит* — *сылят*. Некоторое объяснение этой «странности» будет предложено после рассмотрения второй группы глаголов.

2. Глаголы *мерить* и *мучить* наряду с закономерными для IV класса подпарадигмами настоящего времени *мерю*, *мерит*, *мерят*, *мерящий*, *меря* и *мучу*, *мучит*, *мучат*, *мучащий*, *муча* имеют варианты подпарадигмы *меряю*, *меряет*, *меряют*, *меряющий*, *меряя* и *мучаю*, *мучает*, *мучают*, *мучающий*, *мучая*. Возможное объяснение этой вариантности — параллельное оформление этих двух глаголов по I продуктивному классу — предполагает существование инфинитивов *мерять*, *мучать* и соответствующих им других словоформ, относящихся к подпарадигме прошедшего времени (*мерял*, *мерявший*, *мучал*, *мучавший* и т. д.). Именно такой точки зрения придерживается А. А. Зализняк (см. [5]).

Исходя из этого объяснения, следует узаконить написания *мерять*, *мерял*, *мучать*, *мучал* и т. д. Они встречаются в практике, но орфографический словарь их не рекомендует, поскольку в звучащей речи *мерить* и *мерять*, *мучить* и *мучать* не различаются. Такое орфографическое решение кажется убедительным. С морфологической же точки зрения вызывает сомнение идея «перехода» глаголов из одного продуктивного класса в другой. Все это заставляет искать другое объяснение морфологической вариантности, возникающей в парадигмах глаголов *мерить* и *мучить*.

Реально в звучащей речи вариантность представлена у этих двух глаголов лишь в одной подпарадигме — настоящего времени. Как же соотносить словоформы *меряю*, *меряет* и *мучаю*, *мучает* с инфинитивами *мерить* и *мучить*? В чем причина возникновения вариантности? Прежде чем предложить ответ на эти вопросы, рассмотрим еще одну небольшую группу глаголов.

Глаголы *ездить*, *елозить* и *лазить*, также относящиеся к IV классу, имеют такие (резко противоречащие литературной норме) варианты

Удивительно, что словоформа *сылют* фигурирует как разговорная в одном из современных нормативных словарей наряду с *сылешь*, *сылет* и т. д. (см. [7]). Обратив внимание на «несообразность» соотношения *сылет* — *сылят*, авторы этого словаря устранили ее совсем не тем путем, каким следовало.

³ А. А. Шахматову это представлялось самоочевидным: «Вместо *сыплю* — *сыплешь* весьма обычно *сыплю* — *сыпишь*» [8]. Ср. также в рецензии А. А. Реформатского на одну научно-популярную книгу: «Радует также и такая морфологическая мелочь, как написание нейтрального *сылются* по I спряжению, а просторечного *сылятся* — по II спряжению» [9].

подпарадигмы настоящего времени: *ездию, ездит, ездют, едьющий, едья*; *елозию, елозит* и т. д.; *лазию, лазит* и т. д. Именно так (с *-ию, -ит* и т. д.) пишутся в необходимых случаях эти просторечные словоформы. Различие письменной передачи не заслоняет морфологической родственности соотношений *мучить — мучаю* и *ездить — ездю*, а написания *ездию, елозию, ласию* «пнаталкивают» на разгадку явления.

Здесь нам понадобится предложенное А. А. Зализняком деление русских глаголов на *у с е к а е м ы е* и *н е у с е к а е м ы е* (см. [10]). Каждая из этих больших групп включает более одного морфологического класса, которые тоже можно характеризовать как *усекаемые* и *неусекаемые*. К последним относятся классы I и II, остальные классы — *усекаемые*.

Существуют параллельные *неусекаемые* и *усекаемые* классы «на базе» одинаковых тематических элементов, причем первые являются продуктивными, а вторые — непродуктивными. Такие параллельные классы есть с тематическими гласными *а* и *е*; ср.: *читать — читаю* (*неусекаемый* глагол I класса) и *писать — пишу* (*усекаемый* глагол VI класса), *сесть — седею* (*неусекаемый* глагол II класса) и *сидеть — сижу* (*усекаемый* глагол VII класса).

С тематической гласной *и* существует только один глагольный класс — IV, который является *усекаемым* и при этом продуктивным. Сочетание этих качеств оказывается предпосылкой возникновения формальных трудностей. *Усекаемые* глаголы (не все, но только они) являются носителями морфонологических чередований архаического типа (зубных с шипящими, губных с сочетаниями губных с <л'>), т. е. тех чередований, которые в известном смысле изживаются русской морфонологической системой. Их окончательному переходу в разряд реликтов мешают как раз глаголы на *-ить*: парадоксальным образом продуктивный глагольный класс является источником воспроизведения архаических чередований! Хорошо известны возникающие в связи с этим морфологические трудности, в частности, отсутствие по формальным причинам словоформ 1 л. ед. числа у ряда глаголов (*держитъ, победитъ* и т. п.). При этом литературная норма прочно удерживает «морфонологический барьер», не допускающий проникновения в 1 л. ед. числа парномягких согласных вместо закономерных для этой морфонологической позиции членов чередований (типа **пылесосу* вместо **пылесосу*).

Налицо явное и труднопреодолимое морфонологическое противоречие. Предпосылкой его радикального преодоления может быть формирование «*неусекаемого*» класса на базе тематического элемента *и*. То, что наблюдается в рассмотренных выше пяти глаголах, и является попыткой формирования такого глагольного класса на *-ить*, который по соотношению подпарадигм был бы аналогичен I и II классам; ср.: *читать — читаю, белеть — белею, ездить — ездю*. Разумеется, сказанное не следует понимать прямолинейно, как «прогнозирование» появления в русском языке нового глагольного класса. Это всего лишь гипотеза, помогающая разгадать загадку глаголов *мерить* и *мучить*.

Следует ли из сказанного, что нужно писать *мерию, мучию* — по образцу *ездию, елозию, ласию*? Как кажется, в таком «орфографическом максимализме» нет надобности. Но предложенная морфологическая интерпретация происходящего в парадигмах глаголов *мерить* и *мучить* подтверждает правильность интуиции составителей орфографического словаря, не узаконившего написания *мерять, мучать, мерял, мучал* и т. д. Имея в виду эту интерпретацию, можно спокойно принять соотношение

мерить — *меряю*, *мучить* — *мучаю*, «не смущаясь» их орфографическим несоответствием. Именно такое решение проведено в [6] (см. с. 701).

Остается выполнить данное выше обещание. Только что сказано о морфонологических затруднениях, с которыми бывает связано образование 1 л. ед. числа настоящего времени глаголов на *-ить*. Но оказывается, что эти затруднения не распространяются на глаголы с основами на губные согласные. Морфонологическое противопоставление сочетаний «губная + <л'>» мягким губным оказывается более стойким, чем эквивалентные ему противопоставления шипящих мягким зубным (<ж> — <д'>, <ж> — <з'>, <ч> — <т'>, <ш> — <с'> и др.). Можно предположить, что в процессе эволюции русской морфонологической системы эта эквивалентность в дальнейшем не сохранится; в частности, в глаголах IV класса может остаться продуктивным чередование губных с сочетаниями губных с <л'>, на котором держится морфонологическое противопоставление 1 л. ед. числа остальным словоформам (*креплю* — *крепит*, *крепят*), при утрате продуктивности чередованием зубных с шипящими.

Стойкую чередования «губная — губная + <л'>» может объяснять его распространение на новые слова, даже не опирающееся на «типичные» модели, что наблюдается в глаголе *сыпать* и подобных ему. Другой интересный в этом плане факт — появление у глаголов II продуктивного класса *выздороветь*, *опротиветь* (с настоящим временем *выздоровею*, *выздоровеет*, *выздоровеют* и *опротивею*, *опротивеет*, *опротивеют*) вариантных подпарадигм *выздоровлю*, *выздоровит*, *выздоровят* и *опротивлю*, *опротивит*, *опротивят*, парадоксальным образом заменяющих продуктивные соотношения непродуктивными («переводящих» глаголы из II класса в VII).

Остается в заключение сослаться на формальную модель русской морфологии трех авторов (см. [11]), в которой последовательно осуществляется продемонстрированный здесь подход к устройству глагольных словоформ и парадигм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карцевский С. О. Повторительный курс русского языка. М.; Л., 1928. С. 77—78.
2. Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Ч. II: Морфология. Братислава, 1960. С. 67—97.
3. Красильникова Е. В. Совещание по формальной морфологии и словообразованию // Тр. МГПИИЯ им. М. Тореца. 1972. Вып. 15. С. 188.
4. Русская грамматика. Т. I. М., 1980. С. 656.
5. Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1977.
6. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Аванесова Р. И. М., 1983.
7. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. 6-е изд. М., 1987. С. 357.
8. Шахматов А. А. Из Очерка современного русского литературного языка // Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому языку. М., 1952. С. 231.
9. Реформатский А. А. // РЯШ. 1970. № 5. С. 109. Рец. на кн.: Книга о русском языке. М., 1969.
10. Зализняк А. А. К вопросу о правописании безударных гласных в глагольных окончаниях // О современной русской орфографии. М., 1964. С. 134—135.
11. Бидер И. Г., Большаков И. А., Еськова Н. А. Формальная модель русской морфологии. Ч. I—II. // ИРЯ АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 111, 112. М., 1978.

ЩЕКА Ю. В.

ГАРМОНЕМА И ТАКТЕМА КАК ИНТОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В ТУРЕЦКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

Традиционно совокупность просодических характеристик речи относят к так называемым неопредельным (недискретным) фонетическим единицам. Основание для их противопоставления обычным, предельным единицам усматривается в том, что просодические характеристики принимаются за якобы неделимые: «чтобы уловить эти показатели и описать их в системе, не следует ни начинать с уже выделенных слов, ни стремиться к их предельному членению. Напротив, следует начинать с широких кусков звучащей речи и стремиться к тому, чтобы уловить изменения фонетических характеристик именно на этих целых широких участках» [1]. Просодические характеристики как фонетические единицы на самом деле проявляются во всей значимости на уровне предложения, текста, как, впрочем, и единицы языка (морфемы, слова, словосочетания) полностью реализуются, лишь функционируя в предложении, в тексте. Однако из этого вовсе не следует, что они неделимы.

Если деление предложения на словосочетания, слова, морфемы и фонемы изучено сравнительно хорошо, то интоналогические единицы языка находятся лишь в стадии выявления. Попытка определения последних содержится, например, в работе И. Г. Леонтьевой, которая говорит об интоналогических единицах двух типов, выполняющих соответственно коммуникативную (выражение коммуникативного типа предложения) и экспрессивную (выражение актуального членения) функции [2]. Ту же общую направленность имеют работы других лингвистов, как отечественных, так и зарубежных, в которых роль коммуникативной интоналогической единицы играет интонаема (Захер) или мелодема (Эссен) [3, с. 209]. Д. Болинджер и К. Пайк в качестве лингвистически значимых единиц выделяют интонационные контуры, а французские лингвисты — интонационные уровни [4]. Несмотря на определенные успехи, в целом интоналогические единицы еще нельзя считать выявленными, что, по нашему мнению, еще раз и выражается в подходе к просодии как к неопредельным фонетическим явлениям. Неопредельными, неделимыми они нам представляются только потому, что соответствующие единицы еще не известны.

Главным препятствием здесь, на наш взгляд, является недостаточное внимание исследователей к музыкально-гармонической стороне речи. В настоящей работе мы попытаемся показать, что учет этой стороны дает ключ к созданию интоналогии. Отметим также крайнюю необходимость привлечения основных результатов изучения интонации не только западноевропейских и русского языков, но и языков тюркских, в частности, турецкого.

Вопрос о применимости к речи ладово-гармонических категорий остается в настоящее время открытым. Мнения специалистов по этому поводу

весьма противоречивы. С одной стороны, еще в конце прошлого века Й. Шторм писал о родстве речи и пения: «пение представлено в мелодике речи в виде зародыша... музыкальная природа речевой мелодики особенно сильно проявляется в различении устойчивых и неустойчивых тонов» [5]. Ноты и музыкальные понятия активно использовались при описании интонации¹. О. Есперсен писал, что «разговорная речь, как и музыка, обладает тоновальностями; в датском языке говорят почти исключительно в мажоре и лишь иногда в миноре» [7]. Исследователь турецкой интонации Р. Наш отмечает: «В конце предложения интонация завершается на тонике или на одной из ступеней тонического трезвучия, ...в то время как в нефинальных частях предложения звучат третья, четвертая, пятая или.. седьмая ступени...» [8]. По мнению некоторых лингвистов, повествовательное предложение в русском языке оканчивается нисходящей к тонике квинтой, а вопросительное — восходящей большой терцией [9].

С другой стороны, музыкально-гармоническая сторона речевой интонации в разделах фонетики практически не изучается. Некоторые фонетики вообще пишут об отсутствии в речи ладово-музыкальных соотношений. Так, сравнивая интонограммы обычно произнесенной фразы *O, wie ist es kalt geworden!* и ее вокализированной передачи (пения), О. Эссен приходит к выводу об отсутствии в речи более или менее длительных звуков определенной ЧОТ (частоты основного тона). Он пишет: «...кривая изменения ЧОТ в речи не обнаруживает четких интервалов, какие мы привыкли слышать в музыке, ...изменяются частоты... не состоят друг с другом в соотношениях, соответствующих нашей музыкальной системе; эти соотношения... иррациональны» [3, с. 202]. Многие лингвисты говорят лишь о высотных (но не гармонических) соотношениях тона в речевой интонации, при этом отрицается необходимость фиксации абсолютных значений ЧОТ и предлагается учитывать лишь то, что один тон выше или ниже другого [10].

Доводы противников применимости музыкально-ладовой структуры к речи нельзя признать убедительными, в их работах много внутренних противоречий. Так, в цитированной работе О. Эссена на следующей же странице говорится о наличии в речи звуков вполне определенной ЧОТ в сильно- и средневыделяемых слогах, которые «можно с легкостью идентифицировать» [3, с. 203]. В этой же работе приводятся результаты экспериментальных исследований, подтверждающих тесную связь интонации с музыкально-ладовой структурой, например, эксперименты Мейнсма и Ван Гельдера, показавшие, в частности, что нисходящие большая терция и квинта несомненно являются формой завершающей мелодики повествовательного предложения [3, с. 203]. Что же касается фиксации абсолютных высот звуков речи, то они важны, конечно, не сами по себе, а для выяснения соответствующих лингвистических закономерностей, которые можно вывести лишь на основе точных и исчерпывающих экспериментальных данных в каждом конкретном примере.

Отправным пунктом при решении рассматриваемого вопроса является, на наш взгляд, то, что гласные в слогах наибольшей или средней выделенности имеют определенное (пусть обычно небольшое по сравнению с длительностью всего слога) время стабильности ЧОТ — факт, ни у кого не вызывающий возражений. Исходя из этого, можно утверждать, что звуки речи соотносятся друг с другом не только по высоте; одновременно они

¹ См., например, работу по французской интонации, полностью основывающуюся на нотах [6].

просто не могут не соотноситься и по своим ладово-гармоническим характеристикам, которые являются не субъективными, а глубоко объективными. Еще Гельмгольц (1877 г.) показал, что устойчивость и неустойчивость, консонанс и диссонанс звуков зависят от наличия биений (или, иначе, от степени частотных совпадений) между тонами и их высшими гармониками [11]. Сущность терминальной и прогрессивной интонации связана не только с высотными изменениями мелодики, но и со сменой устойчивых и неустойчивых звучаний. Можно предположить, что само ощущение законченности, возникающее при восприятии тоники, развивалось в тесной взаимосвязи с речью, где всякая законченная мысль оформляется соответствующими интервалами и тоникой: «...музыкализация интервалов предшествовало их очень постепенное, длительное выделение из повторов одних и тех же постоянных ритмо-интонаций» [12].

Экспериментальный анализ подтверждает высказанные утверждения. Нами было исследовано 49 фраз, выбранных из записанных в студийных условиях на магнитофонную ленту живых разговорных диалогов, начитанных двумя дикторами, для которых турецкий язык является родным и которые владеют турецким литературным произношением. Данные обрабатывались на интонографе конструкции ЛЭФИПР. Подавляющее большинство всех тонов каждой из исследовавшихся фраз ложится на соответствующие ступени той или иной мажорной или минорной тональности. Так, из 688 тонов, для каждого из которых стабильная интенсивность или, вернее, певучесть, понимаемая как суммарная интенсивность в см за время стабильного звучания данного тона, составляла¹ более 5 единиц, лишь 105 тонов (15,3%) оказалось внеладовыми. Таким образом, можно говорить о квантованном характере интонационно-мелодических переходов в речи, т. е. о том, что ЧОТ каждого последующего гласного не может быть в принципе любой, а реализуется преимущественно на одном из дискретного набора значений (на одной из семи ступеней лада). Это и позволяет утверждать, что каждая фраза в турецкой разговорной речи звучит в определенной тональности.

Сказанное относится лишь к тонам, певучесть (выделенность) которых превышает некоторый минимальный уровень (у нас он был принят за 5 единиц). Помимо этих тонов, в слогах обычно наблюдается много различных нестабильных, переходных звуков, что и привело, видимо, О. Эссена к выводу об «иррациональности» речевых интервалов (см. выше)². Разница между речью и пением не в том, что в речи интервалы «иррациональны», а в пении гармоничны, но лишь в том, что время стабильности ЧОТ (певучесть) гласных в речи обычно значительно меньше времени звучания всего гласного; в пении же гласный целиком реализуется на определенной ЧОТ.

Недостаточное внимание лингвистов к музыкально-гармонической стороне речи приводит к тому, что описание единиц языка (как рассмотрение материально-идеальной оболочки знаков, так и их понимание в целом) остается существенно неполным.

Единицы языка понимаются как «определенное единство содержания и выражения» (фонема, морфема, слово, предложение и др.) [13]. План содержания и план выражения обладают многими принципиально различающимися параметрами, существует «глубокое отличие грамматической

² Наличие переходных внеладовых тонов не нарушает ладотональную структуру фразовой интонации. В обычной музыке, безусловно обладающей такой структурой, также наблюдаются внеладовые тоны, например, в хроматических пассажах, и не только в них.

категории от линейной единицы — фонемы, морфемы, слова... Грамматические категории имеют другое измерение: они глубинны и объемны. Они находятся не на линии текста, а в пространстве языка» [14]. Одновременно оба эти плана тесно связаны друг с другом, и неучет какой-то стороны плана выражения отрицательно сказывается на нашем понимании всей системы языка в целом.

Физико-акустической основой фонемы является, как известно, некоторый набор формант, каждая из которых связана с усилением гармоник данной частоты. Само же существование гармоник и различная степень их совпадений для любой пары звуков в лингвистической теории не учитываются. Между тем совпадению или несовпадению гармоник как факту плана выражения соответствует определенное значение, т. е. определенный план содержания, что позволяет говорить о такой системе, в рамках которой гармоника гласных различной высоты, соотносясь друг с другом, несут определенные значения — так же, как это имеет место для взаимной соотношенности наборов формант в рамках фонологической системы данного языка. Речь идет о системе музыкального лада, полной парадигмой которой является известный набор семи дискретных тонов с определенным соотношением ЧОТ. В этой системе тоны имеют значение устойчивости, законченности или, наоборот, неустойчивости, незаконченности, вопросительности, т. е. в сущности обнаруживают семантику, связанную с сегментацией речевой цепи и коммуникативной формой предложения. Определенный тон этой системы (I ступень лада) является «устойчивым, опорным элементом ладовой структуры... и имеет ладовую функцию тоники. Ладовые функции доминанты (V ступень) и субдоминанты (IV ступень) ...выражают ладовую неустойчивость» [15]. В соответствии с теорией функций ладов функции всех других гармоний, основывающихся на других (кроме упомянутых I, IV и V) ступенях, могут быть выведены из рассмотренных трех [16].

Из сказанного вытекает, что если учитывать не только форманты, но также и другие значимые физико-акустические параметры гласного, то необходимо говорить о его вхождении сразу в две семиотические системы, которые можно представить в виде таблицы (см. табл. 1).

Таблица 1

Вид системы	Физико-акустический коррелят	Образ	Семантика
1. Фонологическая система 2. Ладовая система	Набор формант Гармоники	Акустический образ гласного Восприятие тона гласного по отношению к ладу	Фонематическая значимость гласного Абстрактное значение устойчивости (терминальности) и неустойчивости (прогрессивности)

Таким образом, наряду с фонологической системой имеет место и интонологическая система языка, основой которой является рассматриваемая лингвистическая ладовая структура. Как и фонологическая система, лежащая в основе языковых единиц всех уровней, интонологическая система также пронизывает все уровни языка и тесно связана с собственно языковой системой, составляя ее неотъемлемую часть.

Если каждая из восьми турецких гласных (вернее, каждая совокупность аллофонов) является в рамках фонологической системы турецкого языка соответствующей фонемой, то одновременно, реализуясь на определенной ЧОТ, каждая из них имеет в рамках ладовой структуры значение одной из семи ступеней лада, в связи с чем их целесообразно было бы назвать гармонемами. Фонема и гармонема суть различные стороны, или измерения, одной и той же единицы языковой системы. Гармонема является минимальной интонологической единицей.

Так же, как фонема не является еще полнозначной мельчайшей единицей языка (она имеет, как правило, смысловоразличительную функцию), гласная фонема не может полноценно выполнять и функцию гармонемы. Только гласные в турецком языке могут быть слогаобразующими, а потому все согласные важны с точки зрения интонологии лишь как элементы, образующие границы слога, обрамляющие и организующие гармонему. В этой связи приведенное выше определение необходимо дополнить следующим образом: полноценная гармонема в основе основ является одновременно и эквивалентом морфемы (уточнение «в основе основ» здесь необходимо, так как не каждый фонетический слог, конечно, обязательно совпадает с планом выражения морфемы).

Единицей языковой системы следующего уровня является слово. Как и в случае фонемы и морфемы, план выражения этой единицы совпадает с планом выражения соответствующей интонологической единицы, которую целесообразно было бы назвать тактемой. В статье, посвященной анализу ритмических особенностей тех же турецких разговорных фраз, что исследуются в настоящей работе [17], речевым тактом мы называли отрезок между двумя последовательными максимумами интегральной интенсивности слогов. В таком виде речевой такт является лишь структурирующим элементом речи, который не соотносится непосредственно с планом содержания. С другой стороны, фонетическое слово связано с речевым тактом тем, что через него проходит, как правило, одна тактовая черта, т. е. оно имеет одно тактовое ударение. Так, из всего числа слов, содержащихся в исследованных 49 предложениях, 78,7% (155 слов) несут на себе одно тактовое ударение; в 12,2% (24 случая) одно тактовое ударение объединяет два слова (сюда же входит один-единственный случай объединения тактовым ударением сразу трех слов); в оставшихся 9,1% (18 слов) одно слово имеет два тактовых ударения. Эти данные убедительно показывают, что в турецкой устной речи, как правило, на каждый речевой такт приходится одно слово. Аналогичная закономерность наблюдается и в русской разговорной речи [18, с. 7]. План выражения тактемы отличается от такта тем, что границы первой обычно не совпадают с границами такта, — тактема, или фонетическое слово, чаще всего начинается в одном такте и заканчивается в следующем. Такая трактовка представляется более целесообразной по сравнению с простым отождествлением такта с фонетическим словом (под термином «такт» многие исследователи понимают «совокупность слогов, объединенных одним полным словесным ударением» [19]).

Фонетическое слово с точки зрения интонологии важно как организованный набор (главных и второстепенных) тонов, соотносящихся с ладовой структурой и дающих одну определенную гармоническую окраску; с этой точки зрения оно и является тактемой, т. е. единицей интонологической (см. табл. 2).

Максимум интегральной интенсивности не является единственным организующим элементом тактемы. Наряду с ним важны также: 1) повышение в начале и понижение в конце тактемы ЧОТ с соответствующим высот-

Единица	План выражения	План содержания
Слово,	Фонетическое слово	Совокупность соответствующих системных связей в языке
Тактема	Фонетическое слово	Совокупность системных связей слоговых тонов в рамках лада

ным максимумом в ее пределах (высотные вершины тактем вынесены в записях примеров на отдельный нотный стан сверху) и 2) максимум (обычно также один) стабильной длительности тона и его суммарной интенсивности за время стабильного звучания (в пределах тактемы). Поясним сказанное на нескольких примерах (см. рис. 1—3)³.

В данных трех фразах каждому слову соответствует одна тактема (тактемы выделены лигами). Исключение составляют слова *bu özel*, входящие в одну тактему в последнем примере (рис. 3). Это объясняется тем, что в разговорных фразах в силу ситуативной обусловленности речи тема часто оказывается избыточной и соответствующее слово, ее выражающее (здесь местоимение *bu*), теряет ударность. Аналогичная закономерность наблюдается и в русской разговорной речи [18, с. 20].

В тактемах *basamakta*, *yasaktir*, *bende*, *degil* в основных чертах наблюдается вначале повышение, затем кульминация и спад высоты тона. В *durtak*, *kabahat*, *bu özel* тактема начинается с наиболее высокого тона. В случае *degil* (второй пример) кульминация высоты приходится, наоборот, на конец. Тактема *araba* составляет исключение, она состоит из трех тонов одной высоты.

На нижнем нотном стане выписаны звуки, составляющие кульминацию певучести в тактеме (они имеют наибольшую суммарную интенсивность за период стабильного звучания тона, см. нижнюю строку цифр в примерах). Рассматриваемые три типа кульминаций в тактеме (максимум слоговой суммарной интенсивности, кульминация высоты тона и максимум певучести) могут совпадать, как в обоих тактемах *degil* (здесь не все три максимума приходятся на один и тот же тон, но все они в пределах одного слога), либо не совпадать, как в *basamakta*, *yasaktir*, *bu özel*, где совпадают лишь ударный слог и максимум певучести, а высотная вершина приходится на слабую долю такта, или в *bende*, где совпадают высотный максимум и ударный слог, а на слабую долю приходится максимум певучести. В тактеме *durtak* совпадают высотный максимум и максимум певучести, но они оба приходятся на безударную долю такта. Совпадение всех трех максимумов на одном слоге создает интонацию категоричности, которая отчетливо слышится на слове *degil* во втором и третьем примерах.

³ Переводы приведенных примеров: 1) «Стоять на подножке запрещается!» 2) «Я не виноват!» 3) «Это (Вам) не частный автомобиль!».

Строка цифр (а) — длительность стабильного звучания (ДСЗ) в мс, строка (б) — суммарная интенсивность данного тона (СИ) в см.

Длительности нот соответствуют не собственно длительности звуков, а длительности слога (или его части), который данная нота представляет. Например, длительность первого такта первого примера составляет 300 мс и, соответственно, шестнадцатой ноты — 25 мс, фактически же звук ре диэз длится лишь 20 мс. Для второго такта соотношения временных отрезков и фактической длительности: 102 : 15, 102 : 15, 51 : 20, 51 : 40 и т. д. При проигрывании на музыкальном инструменте некоторого сходства с фактической речевой интонацией можно добиться лишь исполнением нот острым стаккато и в необходимом темпе.

300 мс 410 мс 650 мс

Basamakta / durmak // yas a ktır

a) ДСЗ	-	20	15	15	20	40	-	-	14	14	10	60	20
б) СИ	-	4	6	5	3	9	-	-	2	2	1	12	6

Рис. 1

480 мс 240 мс

К а б а н а т // б е н д е / д е ğ и л

a) ДСЗ	20	13	18	18	80	18	20	30	40	15	20	-	40	4
б) СИ	17	8	8	7	65	10	22	34	40	18	17	-	31	4

Рис. 2

470 мс 370 мс

B u // ö z e l / a r a b a d e ğ i l

a) ДСЗ	20	20	30	100	16	16	10	20	90	80	80	20	140	20
б) СИ	8	10	15	50	5	3	2	27	20	20	7	50	7	

Рис. 3

Как уже отмечалось, в такте подчеркивается определенная ступень лада, или гармония, оттеняемая другими, менее певучими тонами. Так, тактема *yasaktir* имеет доминантную окраску (Д) (ступени II и IV), которая лишь в самом конце сменяется относительной устойчивостью III ступени (Т'), т. е. гармонический план здесь можно было бы обозначить: Д — (Т'). Тактема *basamakta* имеет, наоборот, яркую тоническую окраску (Т) (ступени I, III и V).

В настоящей работе, посвященной рассмотрению лишь гармонемы и тактемы, необходимо ограничиться этими общими замечаниями, так как конкретные лингвистические возможности речевой гармонии полноценно выявляются на больших отрезках — синтагмах, предложениях, текстовых единствах, которым также, по нашему мнению, соответствует интоналогические единицы. Их целесообразно было бы назвать соответственно мелодемой, интономемой и композемой и рассмотреть в отдельной работе. Отметим лишь, что каждое из приведенных трех высказываний является интономемой с гармоническим планом: 1) Т — (II) // Д — (Т'), 2) Д (или субдоминанта С) // (Т') — Д — Т, 3) Д // Т — Д — Т — (Д) или, если ограничиться только основными чертами: 1) Т // Д, 2) Д // Д — Т, 3) Д // Т — Д — Т. Таким образом, налицо объединение частей высказывания в единое целое и одновременное выделение и противопоставление их на основе соотношения устойчивости и неустойчивости (смены гармоний тоники и доминанты). Для фраз с терминальной интонацией (рис. 2 и 3) характерно окончание на тонике.

Возвращаясь к рассмотрению особенностей тактемы, напомним, что ее выделение в качестве интоналогической единицы основывалось на соответствии «слово — такт». В этой связи важно остановиться на случаях речевых отклонений от этого соответствия. Случаи объединения в одной тактеме двух слов и, наоборот, разбивки одного слова на две тактемы составляют особенность турецкой разговорной речи и зависят от действия двух факторов: 1) степени коммуникативной нагрузки данного слова и 2) требований ритма.

Два тактовых ударения на одном слове могут наблюдаться тогда, когда оно оказывается сравнительно длинным и не уместается в одном такте (в примерах ниже вертикальная черта показывает границу такта): *Neden böyle yapıyorsunuz?* «Почему Вы так поступаете?». Действие только ритмического фактора наблюдается, однако, редко. Обычно в рассматриваемых случаях данное слово интонационно выделяется, оно несет повышенную коммуникативную нагрузку: *Alay eder misin benimle?* «Будешь ли ты со мной шутить?»; *Görülüyor efendim... Duvarlar badanalıh... «Это, знаете ли, видно... Стены побелены...»; *Benzin parasının bile karsılığı değil verdiğ*ini*z! «Того, что Вы даете, не хватает даже на бензин!».**

Рассматриваемое слово не обязательно имеет на себе главное логическое ударение; оно часто входит в состав ремы и выделяется вместе с главным выделяемым словом, стоящим рядом: *Yanlıs anladın tutumu!* «Неправильно ты понял мою позицию!». Иногда двудударное слово располагается в теме высказывания, но оно все равно оказывается связанным с

второстепенным центром коммуникативного выделения: *Uçüncü peron sözü kulağıma ilişi verdi* «До моего слуха донеслись слова „третий перрон“».

Те случаи, когда слово не несет тактового ударения, иногда вызваны чисто ритмическим фактором; безударное слово стоит рядом с двуударным, т. е. наблюдается своего рода смещение тактового ударения: *Bugün kentler taşıma araçlarının çeşidiyle doludur* «Сегодня города забиты различными средствами транспорта»; *Oldum olası severim şu tren yolculuğunu*. «Я всегда любил эти поездки на поезде».

Уточняя определение тактемы, можно сказать, что она соответствует прежде всего полнозначному слову. Что же касается последогов, частиц, *bir* в роли артикля, местоимений, то они обычно входят в состав одной тактемы вместе с тем полнозначным словом, к которому относятся: *Maşallah! Ne kadar zevkli döşemişsiniz evinizi* «Слава богу, как хорошо вы обставили свой дом!»; *Bu da mı sanat eseri?* «А это что, тоже произведение искусства?»; *Şimdi bırakalım bu sözleri, canım!* «Давай сейчас не будет говорить об этом, дорогой!»; *Bu tramvay Bebeğe gider mi?* «Этот трамвай идет в Бебек?». Вместе с тем частицы и местоимения могут иногда и составлять отдельную тактему под действием ритмического фактора: *Şimdi sırası mı ya?* «Разве сейчас время для этого?» или при их сильном коммуникативном выделении: *Borcumuz ne kadar tuttu?* «Сколько мы (вам) должны?».

Важно отметить, что место ударения в такте, состоящем из двух слов, может приходиться как на полнозначное, так и на служебное слово. Так, наш материал не позволяет согласиться с распространенным тезисом о безударности «примыкающего элемента такта», выраженного служебным словом [20]: *Bana bir şeycikler olmaz* «Со мной ничегошеньки не случится», см. также выше пример с *bu da mı*. В этом отношении показателен также следующий пример, где вспомогательный глагол в одном случае несёт, а в другом не несет тактовое ударение: *Yasak etmeli efendim, yasak etmeli bu filimleri!* «Запретить нужно, слышите, запретить такие фильмы!».

Единую тактему часто составляют, особенно в разговорной речи, такие сочетания двух слов (определение и определяемое), где выражаемое значение мыслится говорящим как единое понятие: *Biz şoför milletini sinirli olu-*

ruz «Мы, шоферы, бывает, нервничаем»; *Oğlum, bunlar eeh hep gene işi şeyler!* «Сынок, да это все для молодых!»; *Gitmedim başka yere!* «Никуда больше я не ходил!»; *Bak sanıza şu Bazenin Sen nehri kıyısında çocuk adlı tablosuna* «Посмотрите на эту картину Базена под названием „Ребенок на берегу Сены“».

Отдельную тактему часто не образуют слова, выражающие избыточную в условиях разговорной речи тему сообщения (слова *şifreyi* и *derler*): *Ta'mam, ben söktüm şifreyi* «Все, я разобрал шифр»; *Sonra sırta har dal yapıştirmek iyi gelir derler* «Потом, говорят, хорошо поставить на спину горчичники».

Особенностью разговорной речи является также то, что при замещении в предложении одной синтаксической позиции двумя словами (не составляющими словосочетания) они образуют одну тактему. Именно с этим связано интонационное отличие в оформлении однородных членов предложения, типичных для письменной разновидности языка, от парных членов, типичных для разговорной речи. Если однородные члены предложения уточняют и развивают пропозитивную номинацию, то парные члены в разговорной фразе могут уточнять комплекс грамматических значений предложения, составляя один из типов разговорных предикативных конструкций [21]. *Gezmek tozmak bile parayla olur* «Даже просто пойти пройтись, и то стоит денег!» (по условиям контекста слова *parayla olur* являются избыточной темой, отсюда и их объединение в одной тактеме.)

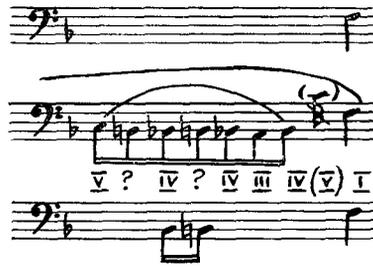
Ударение в отдельно взятом слове, с одной стороны, и речевое тактовое ударение, с другой, имеют один и тот же физико-акустический коррелят — максимум интегральной интенсивности слога. Данные по силовым вершинам тактем в исследованных нами разговорных фразах подтверждают вывод о частом несовпадении ударения в отдельно взятом слове и в речевой цепи, о чем пишут многие исследователи турецкого ударения [22]. В этой связи, однако, трудно согласиться с мнением Л. Н. Старостова о том, что словесное ударение «не входит в состав постоянной фонетической характеристики слова» [23]. Известно, что всякое слово, употребляясь в речи, обычно несколько меняет, конкретизирует свое значение. Поэтому естественно ожидать, что и его внешняя форма может при этом изменяться, деформироваться в речи. Кроме того, здесь должен также учитываться тип речи. В разговорной речи расхождение тактового и словесного ударений наблюдается чаще, чем в письменной.

В нашем материале в 91 случае (47%) тактовое ударение совпало с ударением в отдельно взятом слове и в 103 случаях (53%) не совпало с ним. Для сравнения нами был исследован (без применения экспериментальных средств) записанный на магнитофонную пленку отрывок из передачи последних известий анкарского радио летом 1974 г. с правительственным сообщением о высадке турецких войск на Кипре, который может считаться типичным для устной реализации письменной разновидности турецкого литературного языка. В отрывке содержится 160 слов. В нем несовпадение



bir sey cikler

Рис. 4



t o z m a k

Рис. 5

тактового и словесного ударений наблюдается лишь в 18 словах (11,3%), что значительно ниже приведенной выше цифры для разговорной речи.

Выше были кратко рассмотрены не только силовые максимумы (ударные слоги) тактем, но и их высотные максимумы, максимумы певучести и слоги гармонической устойчивости. Весьма интересно, что во многих случаях на месте бывшего словесного ударения звучит устойчивый или относительно устойчивый тон лада (I или III ступень), что даже при отсутствии на данном слоге других максимумов придает ему характер интонационно-ладовой опорности, выделяя данный слог как словесно ударный. В некоторых случаях отсутствие тактового ударения на обычном ударном слоге словоформы компенсировалось одновременным наличием на нем всех других максимумов — максимумов высоты и певучести, а также ладовой устойчивости. В качестве примеров приведем лишь две тактемы, которые встречаются в рассмотренных ранее фразах, *bir seycikler* и *toz mak* (см. рис. 4 и 5).

Из упоминавшихся выше 103 случаев несовпадения тактового и словесного ударений в 31 случае на месте словесного ударения наблюдался след (от этой ударности) в виде высотного максимума, в 47 случаях — в виде максимума певучести и в 27 случаях — в виде устойчивых тонов (I и III ступень). Лишь в еще 27 случаях (сумма цифр оказывается больше 103, так как во многих случаях имеется сразу два или три показателя) на слоге словесного ударения не было никаких кульминативных или ладовых следов. Эти 27 слов относительно общего числа учтенных слов⁴ в количестве 194 составляют лишь 13,9%, т. е. в целом, несмотря на частые случаи смещения силового словесного ударения, в турецкой разговорной речи обычное для данного слова ударение отмечается другими соответствующими максимумами и ладовыми средствами. Как уже отмечалось, слог словесного ударения часто выделяется сразу несколькими несилловыми максимумами. Так, из указанных выше 31 случая только одним высотным максимумом этот слог выделялся лишь в 17; из 47 случаев выделения певучестью только в 28 этот способ выделения был единственным.

Выводы

1. Широко распространенное представление о просодических единицах как единицах неопредельных и вытекающее отсюда их принципиальное противопоставление единицам обычным, т. е. предельным, на наш взгляд не выдерживает критики и объясняется неизученностью соответствующих

⁴ По техническим причинам несколько слов было исключено из рассмотрения.

интоналогических единиц. Это, в свою очередь, проистекает от неучета лингвистами музыкально-гармонической стороны речи. В пользу вывода о том, что речь обладает музыкально-гармоническими закономерностями говорит следующее: а) сами звуки по своей физической природе не могут не соотноситься друг с другом своими ладово-гармоническими характеристиками, б) мнение теоретиков музыки об общем происхождении речевой интонации и музыки и в) экспериментальные данные — в 84,7% исследованных случаев тоны достаточной выделенности ложатся на ту или иную ступень музыкального лада. Турецкая речь обладает, таким образом, квантованным характером интонационно-мелодических переходов.

2. Наличие у речи музыкально-гармонической стороны позволяет сделать вывод о существовании собственно лингвистической ладовой структуры, которая может рассматриваться как на абстрактном уровне (в нашей работе в качестве первого приближения выбраны мажорный и минорный лады европейской музыки), так и на более конкретном уровне в том смысле, что звуки каждого речевого отрезка соотносятся в рамках определенной тональности.

3. Представление о единицах языка — фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, фразовом единстве — как о единицах, входящих лишь в парадигматические и синтагматические связи в рамках языковой системы, является, на наш взгляд, существенно неполным. Материальные оболочки (план выражения) этих единиц соотносятся еще и в рамках языковой ладовой структуры, выражая при этом целый ряд специализированных лингвистически значимых интонационных значений, важнейшими из которых являются значения терминальности и прогрессивности (план содержания). Поэтому эти же единицы, рассмотренные в плане интонации и просодики, обнаруживают особую сторону, являясь, таким образом, одновременно и единицами интоналогическими, т. е. соответственно гармонемой (соответствует гласной фонеме, обрамленной согласными, или морфеме), такемой, мелодемой, интономемой, композемой.

4. Тактема, особенностям которой в основном посвящена работа, организуется наличием в пределах звучания слова трех вершин: силовой, высотной и вершины певучести, которые могут совпадать на одном слоге или, наоборот, приходится на разные слоги слова. Если гармонема задает тон, соответствующий той или иной ступени тональности, то тактема представляет собой некоторое сочетание тонов, образующих определенную гармоническую окраску.

5. Интонема, соответствующая предложению, организована сменой устойчивых и неустойчивых гармоний. Интонема повествовательного предложения в турецком языке оканчивается на тонике.

6. Краеугольным камнем излагаемой теории является совпадение материальной оболочки тактемы и слова, т. е. тот факт, что, как правило, на каждое слово приходится по одному максимуму силы, высоты и певучести. Силовой максимум приходится на одно слово в 78,7% исследованных случаев.

7. Речевые отклонения (две силовые вершины на одном слове или одна вершина на двух словах) вызываются двумя типами факторов: а) требованиями речевого ритма и б) степенью коммуникативной нагрузки слова. К первому типу относятся случаи смещения тактового ударения, когда двуударное слово стоит рядом с безударным.

8. Особенность турецкой литературной разговорной речи, отличающая ее от устной реализации письменной разновидности турецкого литературного языка, связана со случаями нарушения принципа одно

слово — одно тактовое ударение по причине обилия коммуникативно ослабленных слов (вторая группа факторов из предыдущего пункта): а) не образуют отдельной тактемы слова, обозначающие избыточную в данных речевых условиях тему сообщения, б) пара слов, замещающих в разговорной фразе одну и ту же синтаксическую позицию, образует одну тактему, в) два слова, мыслимые говорящим как единое понятие, также обычно оформляются в виде одной тактемы.

9. Тактему образуют лишь полнозначные слова. При этом важно, что в турецком языке в тактеме, образованной сочетанием полнозначного и служебного слов, тактовое ударение может приходиться как на одно, так и на другое из этих слов.

10. Еще одной особенностью турецкой разговорной речи является то, что в большей части слов (в нашем материале — 53%) наблюдается несовпадение тактового и словесного ударений. В устной реализации письменной разновидности степень этого несовпадения значительно ниже (по нашим данным, на уровне 11,3%). В случае несовпадения тактового и словесного ударений в разговорной речи на слоге словесного ударения наблюдается след в виде других максимумов. Случаи неотмеченности этого слога никакими речевыми максимумами составили в нашем материале лишь 13,9%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М., 1975. С. 88.
2. Леонтьева И. Г. Функциональная теория интонации: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1976.
3. Essen O. Allgemeine und angewandte Phonetik. В., 1979.
4. Bolinger D. Intonation. L., 1972. P. 53.
5. Storm J. Englische Philologie. Bd I. Leipzig, 1892. S. 207.
6. Pierson P. Métrique naturelle du langage. P., 1884.
7. Jespersen O. Lehrbuch der Phonetik. Leipzig, 1926. S. 241.
8. Nash R. Turkish intonation. The Hague — Paris, 1973. P. 41.
9. Van Schooneveld C. H. The sentence intonation of contemporary standard Russian as a linguistic structure. The Hague, 1961. P. 9.
10. Pike K. L. The intonation of American English. Ann Arbor, 1956. P. 20.
11. Цэйлер Ч. А. Физика музыкальных звуков. М., 1976. С. 136.
12. Асафьев Б. В. Избр. тр. Т. V. М., 1957. С. 164.
13. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1976. С. 102—103.
14. Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. М., 1979. С. 197.
15. Григорьев С. Теоретический курс гармонии. М., 1981. С. 137—138.
16. Дареаш Г. Книга о музыке. М., 1983. С. 123.
17. Щека Ю. В. Роль речевого ритма в актуальном членении турецкой разговорной фразы // Вестник МГУ. Сер. 13. Востоковедение. 1987. № 4.
18. Русская разговорная речь / Под ред. Земской Е. А. М., 1983.
19. Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967. С. 188.
20. Махаматов А. Акцентуация речевого такта в русском и узбекском языках // СТ. 1985. № 5. С. 46.
21. Щека Ю. В. О соотношении парных членов предложения и некоторых типов предикативных конструкций в турецкой разговорной речи // СТ. 1983. № 6. С. 68.
22. Потапова Т. Д. Словесное ударение в турецком языке // СТ. 1983. № 3. С. 57 и 62.
23. Старостов Л. Н. Об ударении в турецком языке // Тр. Военного ин-та ин. яз. 1953. № 2. С. 110.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

В большом рукописном наследии известного отечественного языковеда, чл.-корр. АН СССР Николая Владимировича Юшманова (1896—1946) наряду с работами по индоевропеистике (космоглоггитике)*, семитологии и африканистике имеется исследование, которое можно было бы охарактеризовать как исследование по фонетической типологии — «Этюды по общей фонетике на материале неиндоевропейских языков».

Оригинал публикуемой рукописи находится в ЛО архива АН СССР в фонде чл.-корр. АН СССР Н. В. Юшманова.

Черновые наброски к данной работе были опубликованы под заглавием «Этюды в книге «Проблемы африканского языкознания (Типология, компаративистика, описание языков)» (М., 1972) в разделе IV. Научные публикации (с. 314—327).

«Предварительные замечания» самого автора свидетельствуют о том, что к печати им подготовлен раздел исследования, в котором излагаются наблюдения и результаты сравнительно-типологической работы, проведенной им в начале 40-х годов нашего столетия.

Исследование таких фонетических явлений, как «блуждающая пазализация» и «пермутация согласных», опирается на материалы семитских языков, ряда африканских языков, относящихся к различным семьям (чадской, банту, манде, к атлантическим языкам), угро-финских, палеоазиатских, полинезийских и кавказских языков и является для своего времени первой типологической разработкой фонетических явлений, наблюдаемых в языках разной генетической принадлежности и различных структурных систем. Многие из привлеченных ученым языков были еще мало известны и мало исследованы в начале 40-х годов. В настоящее время по каждой из групп имеются специальные работы (см. соответствующие разделы комментария), некоторые фонетические явления, обнаруженные Н. В. Юшмановым, также попали в поле зрения специалистов и получают свою интерпретацию в синхронном и историческом планах (см., например, в комментариях работы по африканским и кавказским языкам). Но остается несомненным, что типологические обобщения и интерпретации этих явлений Н. В. Юшмановым и в наши дни вызовут большой интерес как у лингвистов широкого профиля, так и у специалистов по отдельным языкам.

В общем названии темы («Стадиальная фонетика»), в некоторых ее разделах (III. А. 2 «Стадии развития плавных») Н. В. Юшманов придерживается официального направления в языкознании тех лет, заданного учением Н. Я. Марра. Данное исследование является как бы прелюдией к дальнейшей и окончательной работе по стадиальной фонетике. В разделе III. А. 2 автор намечает единый путь фонетического развития, общий для языков различных систем и семей. Однако именно на конкретном материале, подвергнутом далее анализу, читатель убеждается в сосуществовании «стадий», соответствующих скорее различным типам фонетических систем, чем различным стадиям единого и последовательного процесса языкового развития. О формальном примыкании Н. В. Юшманова к учению Н. Я. Марра см. подготовленную к печати книгу В. М. Алпатов «История одного мифа. Н. Я. Марр и марризм» (гл. IV. «За цитом»).

Работа ученого публикуется без изменений текста и транскрипции. При этом следует отметить, что в ряде случаев авторская транскрипция и авторский способ передачи грамматических форм в некоторых языках отличаются от принятых в настоящее время.

Примечания к тексту Н. В. Юшманова помещены после статьи. Ссылки на них даны в тексте статьи цифрами со звездочкой.

Примечания к разделу «Особенности соответствий плавных согласных в картвельских языках» подготовлены Я. Г. Тестельцом.

Выражается также искренняя благодарность А. Н. Барулину, А. И. Коваль, Л. Р. Концевичу, А. Ю. Милитареву, В. Я. Порхомовскому, Я. Г. Тестельцу, Е. А. Хелимскому, С. Б. Янкивер, которые любезно предоставили помощь и консультации на разных этапах подготовки данной рукописи к печати, а также руководству ЛО архива АН СССР и архива ЛО ИВ АН СССР.

Белова А. Г.

* См. недавнюю публикацию С. Н. Кузнецова: *Н. В. Юшманов. Всемирный язык* (1928) // ИАН СЛЯ. 1987. № 5. С. 457—468.

ЭТЮДЫ ПО ОБЩЕЙ ФОНЕТИКЕ НА МАТЕРИАЛЕ
НЕИНДООЕРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ
(ИЗ ТРЕХЛЕТНЕЙ ПЕРЕХОДЯЩЕЙ ТЕМЫ «СТАДИАЛЬНАЯ
ФОНЕТИКА» 1940 — 1942 ГГ.)

СО Д Е Р Ж А Н И Е

- I. Блуждающая назализация в хауса:
1. Сущность явления
 2. Отражения в специальной литературе
 3. Аналогичные явления в других языках
 4. Заключение
- II. Законы пермутации согласных в нивхском (гиляцком) языке и в некоторых африканских языках (фуль и суро-чуана):
1. Схождения в чередовании согласных
 2. Функции чередований в сравниваемых языках
 3. Фонетическая сторона явления
 4. Морфологическая сторона явления
- III. Особенности соответствий плавных согласных в картвельских языках:
- А. Грузинское *-l-* // мегрело-чанское *-r-*
1. Описания явления и примеры
 2. Стадии развития плавных
- Б. Грузинское *-r-* // мегрело-чанское *-nʒ-*
1. Описание явления и примеры
 2. Объяснение явления

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящие «Этюды» представляют собой сравнительно небольшую часть исследований, производимых мной по вопросам стадиальной фонетики, т. е. фонетической части единого языковорческого процесса. Как известно, основоположник нового учения о языке покойный академик Н. Я. Марр в своих языковедных изысканиях уделял немало внимания и фонетике, но, не будучи фонетистом ни по своей подготовке, ни по своим преимущественным интересам и привлекая фонетику лишь попутно с другими отделами языкознания, он не смог дать ни одного обобщающего труда из области стадиальной фонетики, ни исследовательской программы для тех, кто взял бы на себя выполнение подобной задачи. Однако Н. Я. Марр научил нас методу широкого внеродственно-типологического сближения языков и тем самым дал нам возможность разрабатывать вглубь и вширь новое учение о языке, включая и стадиальную фонетику. Полагаю, что мои работы последних лет подтвердили, насколько ценным и плодотворным оказывается метод Марра в самых, казалось бы, трудных и запутанных участках языкознания. Обильное привлечение материала неиндоевропейских, зачастую бесписьменных и младописьменных языков со всего земного шара — то, на чем всегда так настаивал Н. Я. Марр, — повлияло даже на общее заглавие моих «Этюд» (тем более, что в большинстве пособий по общей фонетике основным образом учитываются только важнейшие индоевропейские языки); это не значит,

однако, ни в какой мере, что «Этюды» игнорируют индоевропейские языки (таковые учитываются и приводятся в каждом этюде!), но ареной, на которой я наблюдаю явления, охваченные «Этюдами», служат мне неиндоевропейские языки. Всего здесь даются три этюда:

I. Блуждающая назализация в хауса ^{1*}.

II. Законы пермутации в нивхском (гиляцком) ^{2*} языке и некоторых африканских языках (фуль ^{3*} и суто-чуана ^{4*}).

III. Особенности соответствий плавных согласных в картвельских языках.

Как видно уже из заглавий этюдов, эти темы еще не дают самой стадимальной фонетики, но лишь приближаются к ней, представляя те предварительные опыты и наброски, без которых нет возможности решать трудные основные вопросы стадимального языкознания; это, как выражаются немцы, *Skizzen und Vorarbeiten*. До сих пор из таких опытов мною был опубликован лишь один — «Фонетические параллели африканских и яфетических языков» в сб. «Africana», т. I, с. 19—44 ^{5*}. Другой опыт «Семито-хамито-яфетические сжатогортанные» публикуется в сб. «Язык и мышление», т. XI ^{6*}. Немало отдельных моментов из стадимальной фонетики встречается и в других моих работах, не посвященных целиком стадимальной фонетике, так особенно в статье «Сингармонизм урмийского наречия» в сб. «Памяти Н. Я. Марра», с. 295—324 ^{7*}. Большинство публикуемых мною исследований было в свое время доложено и обсуждено на заседаниях Института языка и мышления имени Н. Я. Марра, в том числе и все три этюда, которые публикуются в настоящем сборнике.

Следует отметить, что этюды, выделенные для данной публикации, объединены известной внутренней связью: они все посвящены вопросам «неожиданных эффектов», возникающих при взаимодействии шумных и сонорных согласных, причем первые два этюда прокладывают путь к третьему этюду, посвященному в конечном счете так называемому мегрельскому закону — одному из труднейших вопросов как яфетического, так и общего языкознания.

В работе, где на одной странице встречается подчас десяток различных языков с весьма различным звуковым составом, приходится считаться с известной трудностью, которая до сих пор довольно далека от удовлетворительного разрешения, именно — с отсутствием единой общепринятой фонетической транскрипции. Здесь не место обсуждать этот сложный вопрос, необычайно запутанный как в идеологическом, так и в техническом отношении; ограничиваюсь самым необходимым — даю указания, как прочесть вслух приводимые написания из многочисленных языков.

В своей практической орфографии приводятся европейские языки и хауса; для последнего нужно отметить: $c = r$, $k = дж$ (восточные диалекты) или $ж$ (западные диалекты), $sh = ш$, $w = y$, $y = й$, кроме того, k' и ts — согласные с гортанным взрывом. Прочие языки приводятся в транскрипции, составленной с таким расчетом, чтобы транслитерация грузинского алфавита, которым пользуются для картвельских языков, совпадала с системой, принятой учеными Советской Грузии ¹.

В транскрипции нужно отметить из простых латинских букв $c = ц$, $q = язычковое k$, $x = x$; из деформированных букв a (широкое $ы$), η (заднеязычный носовой), z (слитное $дз$); из греческих букв β , γ , δ , ϑ , φ

¹ Урартские памятники музея Грузии. Издал Г. В. Церетели. Тбилиси, 1939, с. 76.

(щелевые *b, g, d, t, n*); диакритические значки — — напряженность, — долготы, — открытость, —' (при согласных) = палатализация, — шипящая, — оглушение, — глубокое образование, ' — гортанный взрыв. ' — сдавленный голос, — неслоговая функция гласного, ° — лабиализация, — слоговая функция согласного. Изредка в квадратных скобках дается уточнение знаками международной фонетической ассоциации.

1. БЛУЖДАЮЩАЯ НАЗАЛИЗАЦИЯ В ХАУСА

1. Сущность явления

В языке хауса есть явление, пронизывающее весь словарь и всю грамматику, но насколько мне известно, нигде не описанное и не исследованное. Это явление, которое можно назвать блуждающей назализацией, состоит в том, что во многих словах носовой согласный может то появляться, то исчезать, несколько не влияя на значение. Блуждающая назализация встречается и в своих и в заимствованных словах хауса; последние очень поучительны в том отношении, что, зная источник заимствования, мы легко можем убедиться в добавочности (вторичности) блуждающего носового согласного. За изъятием крайне немногочисленных случаев начального *ny*[ɲ] явление встречается лишь внутри слова и притом лишь перед интервокальным согласным, т. е. выражается в чередовании сочетаний типа *ata ~ anta*.

Приведу примеры, иллюстрирующие блуждающую назализацию в хауса, распределив их по группам в зависимости от происхождения ⟨и⟩ функции в языке.

1) Заимствованные слова:

hankali «ум» ← араб. *'aql* (народное *'aqāl*) «ум»;
liz(z)āmi ~ linzāmi «узда» ← араб. *ližām* «узда»²;
lugga ~ lunga «ученая речь, непонятная для масс» ← араб. *luḡa* «язык»;
manja «майор» ← англ. *major*[meɪdʒə] «майор»³;
miya ~ minya «сто» ← араб. *mi'a* (народное *miya*) «сто».

2) Свои слова как словарные единицы:

jiyya ~ jinya «уход за больным», *sauyā ~ sanuyā* «род кустарника»;
k'āwa ~ k'anwa «сильное желание», *tabo ~ tambo* «шрам»;
k'idaye ~ kidanya «считать», *tatabara ~ tantabara* «голубь»;
kūhū ~ kunhū «легкие (орган)»;

² В современном хауса шипящие согласные встречаются перед любым гласным, но еще не так давно они могли быть только перед *e* и *i*. Поэтому в заимствованных словах возможна замена слога «шипящий + гласный заднего ряда» слогом «свистящий + гласный заднего ряда».

³ Туземцы хауса не допускаются к офицерским чинам, но самое большое — к унтер-офицерским званиям, среди которых есть и *sergeant* — *major* [sz:dʒnt-meɪdʒə]. Последнее усвоено в форме *sajamanja* — с явным фонетическим воздествием первого члена сложения на последний. Отсюда и отдельное *manja* для известного офицерского чина.

tauya ~ *tanya* «большие, знатные», *yamyam* ~ *nyamnyam* «людоед»,
taya ~ *tauya* ~ *tanya* «помогать»;
musāya ~ *musanya* «выменивать», *yunwa* ~ *nyunwa* «голод».

3) Свои слова как грамматические производные:

а) Усилительная порода гласных (интенсив):

fī «превосходить» → *fāye* ~ *fanye*, *cī* «кушать» → *cinya*, *canye*;

jā «тянуть» → *jāye* ~ *janye*, *shā* «пить» → *shanye*;

k'ī «не хотеть» → *k'īye* ~ *k'inye*, *sō* «хотеть» → *sonye*, *sanye*.

б) Имя качества и отыменный глагол (деминатив)

*karatu*⁴ // *karanta* «читать» ← араб. *qara*'a «читать»;

kusāci ~ *kusanāci* «близость» ← хауса *kusa* «близ»;

munāfucci ~ *munāfunci* «лицемерие» ← араб. *munāfiq* «лицемер»;

nīsāta ~ *nīsanta* «удалять» ← хауса *nīsa* «даль».

Число примеров можно было бы значительно увеличить, если привлечь менее очевидные случаи, требующие каждый раз специального исследования. Приведу в качестве образца таких примеров пару *koko* // *kwanko* «чашка, стакан». Здесь неприятная, но вполне обычная история: пособия по хауса, написанные лучшими знатоками языка, расходятся между собой. А. Mischlich^{8*} дает в своих пособиях однородную пару: *kōkō* // *konko* «чашка, кубок, стакан», тогда как Bargery^{9*} дает в своем словаре два разнородных слова: *k'ōk'ō* «маленькая горлянка (бутылка из тыквы)» и *kwanko* «жестянка для папирос, консервов и т. д.» без чистого варианта. Зная, что гласный *o*, попав в закрытый слог, распадается на лабиализацию предыдущего согласного + гласный *a* (точнее [ɔ]) и что это явление отмечается Mischlich'ом посредством написания *o* (черточка под буквой гласного — значок Lepsius'a^{10*} для открытых гласных), а официальной орфографией, проводимой у Bargery, посредством *wa*; и усматривая в разнице значений вполне обычную функциональную смену (название туземного сосуда распространяется на привозные сосуды), мы могли бы не сомневаться, что *k'ōk'ō* и *kwanko* — варианты того же слова. Спорадическая мена простого *k* и эйективного (смычно-гортанного) *k'* в хауса известна, например: *k(')oroso* «род погремушки», *k(')undā* «род пресноводной устрицы», *k(')wark(')wata* «вошь».

Остается учесть еще одно обстоятельство. Когда идет речь о вариантах, необходимо установить, употребляются ли оба варианта в одном и том же речевом коллективе или один вариант привычен одному речевому коллективу, а другой — другому. Относительно приведенных примеров можно сказать, что словари иногда приурочивают отдельные варианты к отдельным диалектам или к группе ближайших друг к другу диалектов. Так, по словари Bargery, варианты *lizzami* и *k'idanya* принадлежат кацинскому диалекту, а вариант *kunhu* — зарийскому, тогда как варианты *jinya* и *musanya* — группе диалектов, именно зарийскому, кацинскому и сокотскому. Тем не менее многие примеры являются общехаусанскими (таковы случаи без вариантов, например, *hankali*, *manja*, *karanta*). Это заставляет нас рассматривать все явление в целом как общехаусанское. Бывают и такие любопытные случаи: общехаусанское *tsuntsū* «птица» имеет общехаусанское же множественное число *tsuntsūyē*, но в катагум-

⁴ Слово *karatu* значит собственно «читать», но используется и как инфинитив «читать». Названная пара соответствует аналогичной паре *rubutu* «писание» // *rubuta* «писать», но последнее слово не принимает блуждающей назализации.

ском диалекте сохранилась форма множественного числа *tsuwā* — *tsuwāi*, которая показывает, что и единственное число когда-то звучало **tsūtsū*, т. е. без *-n*.

2. Отражения в специальной литературе

В литературе, посвященной языку хауса, находим изредка кое-какие высказывания по поводу той или иной группы слов, связанной с блуждающей назализацией, но явление в целом ускользает от исследователей. Рассмотрим то, что мне удалось до сих пор найти. С. Meinhof в главе «Hausa» своей известной книги *Die Sprachen der Hamiten* (Hamburg, 1912) касается блуждающей назализации в трех местах. Во-первых, на с. 61 он пишет: «В повторах появляется носовой согласный без постижимой причины, напр. *dandaka* „толочь“ от *daka* „толочь“. Сравните также именные окончания *-nta* при *-ta*, *-nči* при *-či*, равно как *idanduna*, мн. ч. к *ido* „глаз“, конечно, вместо **idaduna*». Значит, самые факты автору известны, неизвестно лишь их объяснение. Во-вторых, на с. 80 он пишет, что при образовании повторительной породы (итератива) посредством неполного повтора часто вставляется в основу некоренное *-n*, которое нужно рассматривать как остаток притяжательного соединения (*Genitivverbindung*), и в качестве примера он приводит опять *daka* «толочь» → *dandaka* «толочь». В-третьих, на с. 84, приводя уже знакомые нам формы интенсива на *-nye*, он делает сноску: «Замечательно, что *-ne* появляется всегда только после односложных основ». Относительно итератива замечу, что необычные для хауса сочетания согласных, получающиеся при повторе, подвергаются полной ассимиляции в пользу второго члена сочетания, превращаясь таким образом в геминат; но, как мы видели на приводившихся уже примерах, интервокальный геминат (иных в хауса нет) нередко расподобляется в сочетание «носовой согласный + неносовой согласный», например *lugga* → *lunga*, следовательно, путь развития таков: *dakdaka* → *daddaka* → *dandaka*, а притяжательное соединение, о котором думает автор, здесь не при чем⁵. Что касается интенсива на *-nye*, *ka-na shā* «ты в питье» = «ты пьешь». Некоторые группы глаголов сохраняют в этом виде притяжательное соединение дополнения, например, *ka-na sha-n giya* «ты в питье пива» = «ты пьешь пиво». Элемент *-n*, связывающий предыдущее определяемое с последующим определением, т. е. выражающий родительный падеж последующего слова, называется по-сессивом и по функции соответствует персидскому изафету (хауса *gida-n ubā* = перс. *zāna-i padar* «дом отца»). Вот это-то *-n* Meinhof старается узнать в случаях, подобных глаголу *dandaka*.

⁵ Несовершенный вид в хауса образуется как именное предложение, например, автор правильно заметил его исключительное применение к односложным основам, но не знал вариантов с *-ye*, примеры которых я привел выше.

Другой автор, касающийся блуждающей назализации, — А. Klingenhoben^{11*} в своей сделавшей эпоху статье *Die Silbenauslautgesetze des Hausa* (*Zeitschrift für Eingeborenen Sprachen*, XVIII). Прежде всего отмечу очень важное наблюдение автора над живой речью хауса: он слышал носовые гласные в таких случаях, как *mī* «мы», *nīsa* ~ *nēsa* «даль» (с. 276). Эти примеры начинаются носовыми согласными *m̄*-, *n̄*-, что дает автору повод объяснить появление носовых гласных частичной ассимиляцией в пользу носовых согласных. Зная, что носовые гласные могут назализовать неносовые согласные, например, по-французски встречается [pānā] вместо [pādā], [pwēnmir] вместо [pwēdmir] для правописных *pendant*, *point de mire* (*P. Passy. Les changements phonétiques*. Paris, 1890, с. 183).

Мы могли бы попытаться свести блуждающую назализацию в хауса к подобному же рода ассимиляции, но этому препятствует наличие достаточно большого числа случаев, где наблюдается блуждающая назализация при отсутствии исконных носовых согласных, например, *kuhi ~ kinhi*, *taya ~ tanyā*. Затем перейдем к с. 279, где автор делает сноску об уже приводившемся мною слове *yinwa ~ nyinwa* «голод»; признавая первую форму первоначальной, он объясняет вторую форму из предположений вроде *nta jin yinwa* «я чувствую голод», где контакт *n + y* приводит ко взаимной ассимиляции [*j → nj*], и, следовательно, возникает новая форма *nyinwa*. Объяснение остроумно, но неприменимо к случаю *yatyuat ~ nyatnyuat* «людоед», которого автор не упоминает. Далее на с. 285 находим высказывание: «суффиксы отвлеченности звучат *-nta*, *-ntaka* и *-nči* только после гласного, после согласного же они опускают свой носовой согласный». И еще раз на этой же странице автор высказывается за исконность носовых форм *-nta*, *-ntaka*, *-nči*. Попутно он отмечает, что случай *abuta* «дружба» от *aboki* «друг» не является исключением, так как раньше было **abokta* (значит, суффикс находился после согласного). Если бы автор знал тогда случаи вроде *munafunci* «лицемерие» от араб. *munāfiq* «лицемер» и *kusāci* «близость» от *kusa* «близ», а также учел бы тождество суффиксов отвлеченности *-ta // -ci* с суффиксами отыменных глаголов *-ta // -ce // -ci*, он бы не высказался за исконность носовых форм: по его правилу нельзя объяснить ни имен, как *munafunci* и *kusāci*, ни глаголов, как *tsorata* «пугаться» от *tsoro* «страх» или *ruwaita* «интересоваться» от *ruwa* «интерес»!

Упомянем еще о замечании, которое делает D. Westermann на с. III своего небольшого пособия *Die Sprache der Haussa in Zentralafrika* (Berlin, 1911): «Однако я не обозначал согласные с носовым началом как таковые, ибо они мне еще малоизвестны и встречаются, кажется, в единичных случаях (напр. *nyadú* „свинья“ наряду с *q_oadú*). Насколько я знаю, они отсутствуют в прежних описаниях языка». Пример, приводимый Westermann'ом, напоминает приводившийся выше пример *yinwa ~ nyinwa* «голод» и остроумное его объяснение, данное Klingenhoben'ом; возможно, что из выражений вроде *pama-n gadu* «мясо свиньи» выделяется дублет с носовым началом, но в литературную речь такие дублеты почти не попадают (тем более, что слова в хауса не могут начинаться с неслогового [ɲ]), да и со слоговых носовых начинаются весьма редко).

Наконец, упомянем, что туземец-информатор, которому R. Prietze обязан своими текстами хауса, опубликованными в «Mitteilungen» Берлинского семинара восточных языков за 1926 г.^{12*}, писал арабскими буквами каждый геминат хауса как группу «*n + согласный*», не смущаясь даже такими необычными для хауса сочетаниями, как *nl* вместо *ll*. Это замечательно тем более, что арабское письмо располагает особым значком для удвоения согласных; если же человек избрал другой способ, можно думать, что в его сознании удвоение согласных отождествляется с блуждающей назализацией, хотя бы это отождествление и не оправдывалось в случаях *nt*, *kk*, *rr* за невозможностью сочетаний *nt*, *nl*, *nr* в хауса.

3. Аналогичные явления в других языках

Блуждающая назализация встречается во многих языках земного шара, но она мало где изучалась. Приведу примеры из известных мне языков, где это явление по крайней мере давно замечено, описано и посилено изучено.

Прежде всего упомянем итальянский язык с его диалектами ⁶: «Неясна вставка носового: *strambo, lambrusca, gomberuto, vincido*... Только в калабрийском, по-видимому, удвоенный согласный превращается с известной регулярностью в сочетание носовой + другой согласный: *sumportare, landa* (= *latta*), *imbu* (= *gibbus*), *mentu* (= *mitto*) и др. Кроме того, сицилийское *mienzu* (= *medius*); ломбардское *des-lenguare* (= *disliguare*); старогенуэзское *lenger* (= *leggiero*); неаполитанское *granonchia* (= *granocchia*) и т. д. В моденском *ninzola* (= **nūceola*) повлияло первое *n*. К этому нужно добавить, что итальянский язык — в отличие от многих других европейских языков — действительно соблюдает долгую выдержку согласных, указываемую удвоенным написанием буквы. Очень часто итальянское удвоение согласных является новшеством по сравнению с латынью, например, *accademia, commedia, fabbrica*... вместо *academia, comœdia, fabrica*...

Из других индоевропейских языков, допускающих аналогичные явления, назовем русский, где в диалектах наблюдается спорадическое развитие долгих *тт, дд* в группы *нт, нд*, например, *онтуда, антудя, антэда* вместо литературного *оттуда*; *ондай, ондам, ондал*... вместо литературных *отдай, отдам, отдал*... Случаи, как *эпто* вместо *это*, показывают, что приходится считать их со спорадическим удлинением *т, д*: «Факты удлинения данных согласных не представляют вообще когда-либо и где-либо последовательно наблюдаемого фонетического закона: обычно это частные случаи, отмечаемые в литературном языке и в областных говорах» ⁷.

Теперь перейдем к семитским языкам. Здесь замечена и в значительной степени изучена диссимилиация геминатов ⁸; результатом этой диссимилиации являются чаще всего сочетания «носовой + другой согласный» или «*r* + другой согласный». Явление встречается как в древних, так и в новых семитских языках; как в исконных, так и в заимствованных словах. Из многочисленных примеров, собранных в семитологических пособиях, остановимся на тех, которые методически важны для нашего исследования. Так, в амхарском языке сочетание «носовой + другой согласный» появляется не только на месте исконных геминатов, как *zəbb* → *zəmb* «муха», но и на месте вторичных геминатов, как *ɥāld* → *ɥādd* → *ɥānd* «сын, мужчина». Также обстоит дело и в ассиро-вавилонском языке, например, *zibbu* → *zumbu* «муха», *inādin* → *inamdin* (читают: *inandin*) «он дает». Это нам важно учесть для таких случаев в хауса, как *lizzami* → *linzami* и *lugga* → *lunga* со вторичными геминатами на месте. Так как блуждающая назализация обычно связана с геминацией, важно отметить, что в семитских языках бывает и блуждающая геминация — переходящая с одного согласного в том же слове на другой; например, «верблюду» в арабском языке вообще без геминации — *ʕamal*, в ассиро-вавилонском с геминацией второго согласного (если он перед гласным) — *gammalu*, а в еврейском с геминацией третьего согласного, если он перед гласным, — *gāmdl*, мн. ч. *gəmallim*; сирийский язык вместо ожидаемых **ne'oll* «вступит», мн. ч. **ne'ollun*, имеет *ne'ol* и *ne'lun*.

⁶ F. d'Ovidio e W. Meyer-Lübke. Grammatica storica della lingua italiana e dei dialetti italiani. Milano, 1919, с. 122.

⁷ В. И. Чернышев. Удлинение звуков т и д в русском языке (Сб. в честь на проф. Л. Милетичъ. София, 1933, с. 180).

⁸ C. Brockelmann. Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. Bd I, Berlin, 1908 (особая глава «Dissimilation der Geminaten, с. 243—246). Специальное исследование: R. Růžicka. Konsonantische Dissimilation in den semitischen Sprachen (Beiträge zur Assyriologie, Bd IV, Hf. 4). Leipzig, 1909 ^{13*}.

Приведу еще любопытный пример, соединяющий блуждающую геминацию с блуждающей назализацией: палестинско-арабское *xuld* «крот» вместо общеарабского *xuld* (объяснить здесь *-nd* можно лишь из предшествовавшей ступени **-dd*).

Ознакомимся с другой областью, где блуждающая назализация (вместе с другими аналогичными явлениями) представлена более чем богато. Это — картвельские языки: мегрельский и чанский, близко родственные грузинскому. Здесь очень часто встречается «нарастание *n* на согласных после гласных» (чанский язык) и «вставляются преимущественно *n* и *r*...; особенно бросаются в глаза вставки в заимствованных словах» (мегрельский язык)⁹.

Я уже указывал на то обстоятельство, что заимствованные слова особенно поучительны для работы над интересующими нас вопросами. Приведем, по Кипшидзе, примеры заимствованных слов с упомянутыми «вставками» *n* и *r* (перед губными согласными вместо *n* появляется однородное им *m*)^{14*}:

груз.	<i>akvani</i>	→ мегр. <i>arkvani</i>	«люлька»
	<i>atasi</i>	→ <i>antasi</i>	«тысяча»
	<i>čka</i>	→ <i>čirka</i>	«стакан»
	<i>im^odi</i>	→ <i>im ndi</i>	«надежда»
	<i>ka^rari</i>	→ <i>ka(m)ari</i>	«каперсы»
	<i>magari</i>	→ <i>mangari</i>	«крепкий»
	<i>oboli</i>	→ <i>omboli</i>	«сирота»
	<i>šakari</i>	→ <i>šankari</i>	«сахар»
	<i>žari</i>	→ <i>žampi</i>	«тутовое дерево»
русск.	<i>акация</i>	→ <i>lakancia</i>	(лишнее <i>l</i> -)
	<i>водка</i>	→ <i>ontka</i>	(без <i>v</i> -)
	<i>пол</i>	→ <i>proli</i>	(из <i>*porli</i> ?)

Из приведенных примеров некоторые заслуживают особых замечаний. Примеры *arkvani* и *ontka* могут возбудить сомнение в интервокальной позиции согласного, перед которым наблюдается «нарост», но тут нужно учесть, что в картвельских языках сочетания типа *kv* или *tk* могут рассматриваться принципиально как цельные фонемы¹⁰. Пример *žari* ~ *žampi* «тутовое дерево» имеет еще замечательный вариант *nžari*; подобное выступление «неорганического» или «вставочного» согласного к началу слова в мегрельском языке не редкость и является частным случаем общей особенности мегрельской фонетики — необычайной склонности к перестановке звуков.

4. Заключение

Факты, которые прошли перед нами, показывают с несомненностью общий фонетический процесс широкого мирового распространения. Особенности, свойственные каждой группе языков или даже каждому отдельному языку, не должны умалять общность изучаемых нами явлений.

⁹ Н. Марр. Грамматика чанского (лазского) языка с хрестоматией и словарем. СПб., 1910, с. 4, 7, 19, 20, 71, 164, 172; И. Кипшидзе. Дополнительные сведения о чанском языке. СПб., 1911, с. 2; И. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка с хрестоматией и словарем. СПб., 1914, с. 07, 125, 274, 285, 301; Н. Марр. Грамматика древнелитературного грузинского языка. Л., 1925, с. 010; И. И. Мещанинов. Пособие к пользованию яфетидологическими работами. Л., 1931, с. 21; И. В. Мегрелидзе. Лазский и мегрельский слои в гурийском. Л., 1938, с. 79, 97.

¹⁰ См. мою статью «Фонетические параллели африканских и яфетических языков» (сб. Africana, т. I, с. 36).

Если одни языки допускают лишь блуждающий носовой, а другие языки — также *г* или какой-нибудь сонорный согласный, если одни языки удлинняют и раздваивают только какие-нибудь определенные согласные, а другие языки трактуют подобным образом любые согласные независимо от места и способа образования, если, наконец, в одних языках и случаях имеются свободно обмениваемые варианты того же слова (с блуждающим сонорным или без него), а в других языках и случаях тот или иной вариант не уцелел, — все это частности, которые относимы за счет специфики языка или случая.

Прежде всего следует обратить внимание на самый принцип блуждания, приводящего к спорадическим явлениям (в противоположность регулярным явлениям). В общем можно сказать, что ассимилятивные процессы обычно регулярны и дают повод к установлению фонетических законов, тогда как диссимилятивные процессы обычно спорадичны и учитываются как исключения, отклонения, единичные случаи. Конечно, нельзя отрицать возможность спорадической ассимиляции, как нельзя отрицать возможность регулярной диссимиляции¹¹, но важнее будет то, что оказывается наиболее типичным, наиболее общераспространенным. Вот и блуждание, которое свойственно во многих языках носовым или вообще сонорным согласным, относится к процессам диссимилятивного характера — чаще всего по линии диссимиляции геминатов (удвоенных или удлинненных согласных). Вообще говоря, блужданием мы можем назвать этот процесс потому, что некоторый согласный то появляется, то исчезает в том же самом слове (вроде блуждающих огоньков на болотах и кладбищах), но способность какого-нибудь речевого элемента блуждать в только что описанном смысле дает этому элементу возможность блуждать еще и в другом смысле — скитаться с места на место в том же слове. Выше приводились примеры блуждающей геминации в семитских языках (*gammalu* // *gəmall-*, *ne'oll* → *ne'ol*); здесь блуждание свойственно не звуку (фонеме), а длительности звука (дуреме¹²), но может блуждать и какая-нибудь из работ, входящих в артикуляцию фонемы, т. е., по терминологии И. А. Бодуэна де Куртене^{13*}, — кинема¹³.

Как явствует из приведенных примеров, наиболее частыми блуждающими являются носовые согласные, но в некоторых языках с ними конкурирует *г*. В этом нет ничего удивительного, так как *п* и *г* нередко обмениваются между собой; особенно это заметно в семитских языках¹⁴.

¹¹ Например, трактовка заимствований в русском просторечии показывает несколько случаев спорадической ассимиляции, как *бумага* → *гумага*, *кокета* → *коклетта*, *серьезный* [ʃi'ʤoznɐj] → *сурьезный* [sv'ʤi'ʤoznɐj], и множество случаев регулярной диссимиляции по линии *р ... р* → *л ... л* (как *лыцарь*, *кульер*, *диллеттор...*) и по линии «*м* + губной» «*н* + губной» (как *бомба*, *ланпа*, *транвай...*).

¹² Поясним, что спутники звука — длительность, сила и тон — могут изучаться и в общем комплексе фонетических явлений и в отдельности; в последнем случае можно говорить об особых отделах фонетики — дуретике, динаметике и тонетике — с особыми самостоятельными единицами — дуремой, динамемой и тонемой.

¹³ Так, корневые варианты семитского глагола «смеяться» допускают четыре возможности блуждания кинемы, отличающей так называемые эмфатические или дебелие согласные семитских языков от остальных — простых согласных;

1) первый и последний корневые эмфатические: евр. *šāḥaq*;

2) первый эмфатический, последний простой: араб. *ṣāḥika*;

3) первый простой, последний эмфатический: эфиоп. *šāḥaqa*, евр. *šāḥaq*;

4) первый и последний корневые простые: араб. *gāḥex* // *dāḥex*.

¹⁴ Например, «сын» — араб. *ibn*, евр. *ben*, араб. *bar*; «два» — араб. *iḥḥayn*, евр. *šəḥāyim*, араб. *təren*; «гнаться» — евр. *gāḥar* // араб. *gāḥan*, а также евр. *kn' ~ kr'*; «восток» — евр. *mizrāḥ* // араб. *maḥḥaba*.

Теперь перейдем к связи между блуждающей назализацией и геминацией. В индоевропейских и семитских языках эта связь очевидна и несомненна; в хауса — порой заметна, порой незаметна; в картвельских языках, коим геминация вообще чужда, искомая связь, разумеется, незаметна.

С физиологической стороны геминация содержит в себе противоречие, которое при благоприятных для того условиях ведет к дальнейшему развитию — переходу количества в качество. Дело в том, что геминат — удлинненный или удвоенный согласный, как мы привыкли его называть, — является одной фонемой, хотя бы и обозначался на письме двумя буквами, но интервокальный геминат принадлежит двум слогам, кончая предыдущий и начиная последующий (*atta*), а поэтому равносильен двум фонемам. Таким образом, по мысли, высказывавшейся еще акад. Н. Я. Марром в одной его ранней работе¹⁵, удвоение ведет к раздвоению. Кстати, если слово в своей обычной (словарной) форме имеет геминат не в интервокальной позиции, приходится считаться с возможностью необозначения на письме сверхкраткого гласного (ə) или с возможностью чередования позиций; так, амхарские случаи типа *ɰādd* → *ɰānd* вовсе не противоречат требованию интервокальной позиции, ибо вполне обычно также произношение *ɰāndə*, и, кроме того, часто встречаются формы с различными суффиксами: *ɰāndu*, *ɰāndax*, *ɰāndəš*... К физиологической стороне дела относится также вопрос о качестве согласных — исконного и новополученного. Оказывается, что в большинстве случаев удвоение шумного согласного развивается в сочетании «сонорный + шумный», а удвоение сонорного согласного может дать и такое сочетание и сочетание «сонорный + сонорный», но в обоих случаях меняется последняя часть гемината, а не первая, как это типично для шумного гемината; например, в казахском языке стечение *мм* → *мб*, *нн* → *нд*, *лл* → *лд*.

Нужно иметь в виду, что в каждом языке есть известный запас допустимых сочетаний, вне которого чужое или новое сочетание усваивается с трудом или вообще недопустимо. Так, в семитских языках допустимо сочетание *-nr-*, но вообще не встречается обратное сочетание *-nr-*. Поэтому немудрено, что и *rr* → *rn* (например, «голень» — араб. *kurā* / / эфиоп. *kʷrnā* из **kurrā*) и *nn* → *rn* с нарушением обычного порядка раздвоения сонорного гемината (например, «шапка, колпак» — франц. *bonnet*, итал. *bonetto* → араб. *burnayṭa*). В хауса диссимилиация *ll*, *mm*, *nn*, *rr* мне неизвестна.

Наблюдаемая в хауса диссимилиация полугласного гемината *yy* → *ny*, например, *tayya* → *tanya* «помогать», представляет очень редкий вид диссимилиации геминатов, но она встречается в одном из арабских диалектов, именно в дасинском (Ю. Аравия). например, *hinūṣ* «дни» из **ayūṣ*, *hinūṣ* «тебя» из **iyūṣ*. В большинстве же языков и диалектов йотное скопление разделяется тем, что его начало входит в состав дифтонга, как в немецком языке *zweijährig* [tsvaijɛ:riç] «двухлетний», *Neujahr* [noija:r] «новый год».

В языках, использующих геминацию как грамматическое средство, диссимилиация геминатов допускается лишь в случаях, отбившихся по своему значению от продуктивных типов или относящихся к непродуктивным типам. Так, в хауса мы не находим блуждающей назализации

¹⁵ Предварительное сообщение о родстве грузинского языка с семитскими (Основные таблицы к грамматике древнегрузинского языка. СПб., 1908, с. 2, сноска = Избранные работы, т. 1, с. 24, сноска).

ни в типе причастия страдательного залога, например, *bugagge* «битый» от *buga* «бить», ни в типе двусложного множественного числа имен с высоким падающим тоном первого слога, например, *tuddā* [] «холмы» от *tudu* «холм»; стало быть, нет форм вроде **bugange* или **tunda* в смысле указанных типов. В арабском языке интенсив-итератив (тип *qattala*) допускает диссимиляцию гемината только в случаях, отбившихся по значению, например, *ḡammara* → *ḡamhara* «собрал», *faqqa'a* → *farqa'a* «щелкал пальцами»; имя профессии, оно же прилагательное усилительное (тип *qattāl*) не допускает диссимиляции, например, *ṣaqqāl* «полировщик», *ḡaḡḡāk* «смехач», но менее ходкие усилительные типы охотно допускают диссимиляцию, например, *ḡurrūḡ* → *ḡurnūḡ* «навозный жук», *'urudd* → *'urund* «жесткий».

В тех случаях, где блуждающая назализация или аналогичное явление встречается без варианта с геминацией, можно думать об утрате былой геминации, но можно искать и других путей развития, нежели диссимиляция геминатов. Так, в грузинском, где свое ударение едва заметно, сильное ударение других языков, сопровождаемое долготой или полудолготой гласного, нередко воспринимается как усиление гласного добавочным *r* (по крайней мере перед переднеязычным шумным согласным), например, араб. *ḡāšiya* «кайма» → груз. *aršia*, русск. *хлопот* → груз. *xlaporti* «хлопоты»¹⁶. В хауса, где геминация в общем существует и бывает семантической, например, *ḡani* «ладан»/ḡanni «рука», вернее всего исходить из геминации, но там, где она не вносит смыслового изменения.

Что касается имени качества и отыменных глаголов хауса, здесь уместно вспомнить явление, хорошо нам известное из русского языка: когда иностранное слово кончается на гласный и несклоняемо, мы образуем от него новые слова не простой прибавкой суффикса, а спайкой основы с суффиксом посредством какого-нибудь заполнителя (морфологической пустышки), например, *пальто* → *пальтовщица*, *кино* → *киношник* (любитель кино). В этом отношении любопытно использование в живой речи формы *лотошник* (правописное *лоточник*) и для торговца с лотка и для любителя играть в лото. Таким же образом и в хауса основы, кончающиеся гласным, могут воспользоваться каким-нибудь заполнителем. принимая суффиксы *-ta*, *-taka*, *-ci*; чаще всего заполнителем является *n*, т. е. самый ходкий служебный согласный хауса, он же нередко результат блуждающей назализации, но иногда также *i* (неслоговое), например, *tsawo* «длина» → *tsawata* «быть длинным; удлинять», как *daidai* «правильность» → *daidaita* «быть правильным; исправлять».

Оставшаяся без объяснений пара *yatum* → *nyamnyam* «людоед» находится в точно такой же форме и с таким же значением в амхарском языке¹⁷.

По-видимому, в этом случае первоначальной формой является носовая (сравните *нямням* в так называемом детском языке). Возможно, что мы

¹⁶ См.: *Н. Марр*. Грамматика древнелитературного грузинского языка. Л., 1925. с. 010.

¹⁷ *J. Baeteman*. Dictionnaire amarigna-français suivi d'un vocabulaire français-amarigna. Dire Daoua, 1929, col. 542: « (yatum ou nyamnyam) 1° nom d'une région du Soudan dont les habitants seraient (ou auraient été) anthropophages; 2° anthropophage».

имеем дело с племенным названием Нуамнуам, родственным ходкому в Африке корню со значением «животное» (*inyama* в банту), «мясо» (*nama* в хауса), «кушать» (*nyama* в фуль). Если это так, то *Уатуат* — диссимилированный вариант от *Нуамнуам* или соответствующая маскировка вроде табу.

II. ЗАКОНЫ ПЕРМУТАЦИИ СОГЛАСНЫХ В НИВХСКОМ (ГИЛЯЦКОМ) ЯЗЫКЕ И НЕКОТОРЫХ АФРИКАНСКИХ ЯЗЫКАХ (ФУЛЬ И СУТО-ЧУАНА)

1. Схождения в чередовании согласных

Столь отдаленные друг от друга языки, как нивхский (гиляцкий) из палеоазиатских, фуль^{16*} из бантоидных и группы суто-чуана из юго-восточной сектора банту^{17*}, проявляют поразительные схождения между собой в чередовании согласных, что может быть продемонстрировано сравнительной таблицей:

Нивхский	Фуль	Суто-чуана
$f \sim ph$	$f \sim p$	$f \sim ph$
$v \sim p$	$w \sim b$	$v \sim cp$
$\zeta \sim th$	$s \sim t'$	$s \sim ch$
$r \sim t$	$y \sim d'$	$\check{s} \sim \check{ch}$
$s \sim t'h$	$x \sim k$	$r \sim th$
$z \sim t'$	$*\gamma \sim g$	$l \sim t$
$x \sim kh$		$x \sim kh$
$\gamma \sim k$		$*\gamma \sim k$

Буквой *h* отмечена придыхательность согласных. Часть пар не введена в таблицу как материал, несущественный для сравнения: язычковые $\check{x} \sim qh$, $\check{y} \sim q$ нивхского языка; шумно-боковые $l \sim tlh$ языков суто-чуана и т. д. Среднеязычные согласные, отмеченные значком $\check{}$, производят впечатление шипящих и нередко обозначаются как таковые ($t' = \check{c}$, $d' = \check{z}$), глухое нивхское ζ похоже на \check{s} , да и в звонком нивхском *r* слышится призвук \check{z} .

Следует упомянуть, что в нивхском языке произношение разнится по диалектам, причем звукам *v*, *s*, *z* амурского диалекта, положенного в основу литературного нивхского языка, соответствуют звуки *w*, \check{s} , \check{z} сахалинского диалекта. В языках суто-чуана *f*, *v* суть губно-губные [φ , β].

При сравнении приведенного материала следует заметить, что в нивхском и суто-чуана глухие длительные чередуются с придыхательными глухими мгновенными, а звонкие длительные — с непридыхательными глухими мгновенными. Фуль не проводит различия между придыхательными и непридыхательными, но для сравнения его с нивхским дополнительно сообщим, что в контакте с предыдущим носовым согласным нивхские глухие озвончаются, причем непридыхательные *p*, *t*, *t'*, *k*, *q* изменяются вполне явственно в звонкие *b*, *d*, *d'*, *g*, \check{g} , тогда как придыхательные *ph*, *th*, *t'h*, *kh*, *qh* могут озвончаться лишь частично, не переходя в ясно выраженные звонкие. Бывшее $*\gamma$ представлено нулем звука или заменами — *w*, *y*. Внимательный наблюдатель заметит одну неясность в суто-чуана: $r \sim th$. Если *r* звонкий длительный (а это так), то оно должно чередоваться с непридыхательным *t*; с последним, однако, чередуется другой звонкий длительный — \check{t} . Дело в том, что языки суто-чуана не-

обычайно податливы на ротацизм; прежнее *th*, если оно не было защищено предыдущим согласным, превращалось в *r*, например **thatho* «три» в свободной позиции → *raro*, а в контакте с предыдущим согласным → *tharo*. Вот это-то чередование *r* → *th* вошло в таблицу наряду с другими, внешне аналогичными чередованиями, но в остальных парах мы имеем мгновенный как результат пермутации (превращения) длительного, а в паре *r* ~ *th* наоборот — мгновенный является исконным. Что касается пары *l* ~ *t*, она вполне нормальна, так как в юго-восточном секторе языков банту фонема *l* исконна, тогда как фонема *r* либо результат ротацизма, либо вносится в составе заимствований из других языков.

2. Функции чередований в сравниваемых языках

Рассмотрим, с какими грамматическими явлениями связаны чередования в привлеченных языках, и приведем примеры, иллюстрирующие изучаемое.

В нивхском языке переходные глаголы начинаются длительным согласным, а непереходные мгновенным, например, *vəkzd'* «потерять», а *pəkzd'* «потеряться, пропасть». Имена в большинстве случаев начинаются мгновенным, но после определения, если оно кончается не длительным и не носовым, мгновенный заменяется длительным; переходный глагол не меняет своего длительного начала после подлежащего, но меняет на мгновенное начало после прямого дополнения, если оно кончается не мгновенным и не гласным.

Примеры:

<i>pəŋx</i>	«суп»	<i>vəkzd'</i>	«потерять»
<i>t'xəj-pəŋx</i>	«суп из медведя»	<i>t'haf-pəkzd'</i>	«потерять точило»
<i>həjk-vəŋx</i>	«суп из зайца»	<i>mot-vəkzd'</i>	«потерять подушку»
<i>t'ho-vəŋx</i>	«суп из рыбы»	<i>t'aqo-vəkzd'</i>	«потерять нож»
<i>eγa(γ)-bəŋx</i>	«суп из коровы»	<i>nir(γ)bəkzd'</i>	«потерять чашку»

Как видим из примеров, чередования происходят преимущественно в комплексах, составляющих особенность строя таких языков, к которым принадлежит нивхский, именно — в определительных и дополнительных комплексах, причем определение предшествует определяемому, а дополнение предшествует дополняемому. Теперь рассмотрим чередования согласных в предложениях, составленных из слов: *qan* «собака», *t'hi* «ты» (→ *t'h* «твой»), *ni* «я» (→ *n* «мой»), *t'harj(d')* «белый», *rud'* «преследовать». Имеем *qan rud'* «собака преследовала»; *qan qan-thud'* «собака собаку преследовала»; *t'h-xan n'-sarj-gan-thud'* «твоя собака мою белую собаку преследовала».

Следует заметить, что небольшое число имен начинается с длительного согласного и не меняет своего начала, нарушая таким образом столь своеобразные принципы нивхского языка; это — частью заимствованные слова, например, *seta* «сахар», *xaza* «ножницы», частью отдифференцированные варианты, например, *raf* «домик для покойника, который ставят на родовом кладбище, после сожжения умершего сородича» при *taf* «дом» (сахалинский диалект), частью случаи, еще требующие разъяснения. Вообще же мгновенное начало имени распространено на многие заимствования, например «шаман» — *t'hama(n)* при нанайском *saman* и эвенкийском *samān*.

Насколько глубоко пронизан строй нивхского языка закономерными чередованиями согласных, привлечшими наше внимание, показывает то обстоятельство, что чередованию подвергаются и начальные согласные

суффиксов, например:

Мн. число		Направит. падеж		Вопросиг. частица	
<i>mi-γi</i>	«лодки»	<i>mi-rox</i>	«к лодке»	<i>mi-γa</i>	«лодка ли?»
<i>pa-x-ki</i>	«камни»	<i>pa-x-tox</i>	«к камню»	<i>pa-x-qa</i>	«камень ли?»
<i>qa-n-gu</i>	«собаки»	<i>qa-n-dox</i>	«к собаке»	<i>qa-n-qa</i>	«собака ли?»

В языке фуль чередование согласных в начале слова противопоставляет единственное число множественному (как в имени, так и в глаголе, например, *fande* «горшок» // *pande* «горшки», *fi'a* «стреляй!» // *pi'p* «стреляйте!»). Однако у большинства имен различение чисел производится окончаниями, и на долю чередования согласных выпадает лишь второстепенная, подсобная функция — предупреждать об окончании, например, самоназвание народности фуль в единственном числе *Pulo*, а во множественном числе *Ful'be*; у глаголов же, кроме повелительного наклонения, различение чисел производится местоимениями, например: *gor-ko on o yexi* «человек этот он пошел», т. е. «этот человек пошел»; *wor-'be 'ben 'ben d'exi* «люди эти они пошли», т. е. «эти люди пошли»¹⁸. Чередование согласных в фуль воспроизводится и в повторе, который является одним из ходовых грамматических средств, например, *pipi'do* «стрелок», мн. ч. *fifi'be*; *t'añtañ'do* «ткач», мн. ч. *sañsañ'be*; *bumbum'do* «слепой», мн. ч. *wwum'be*. Есть заметная тенденция к гармонизации чередований — к своего рода гармонии согласных, например, *sofru* «колени», мн. ч. *kopi*; *mi safsafta* «я разрыхляю (землю)» // *mən t'ap't'apta* «мы разрыхляем».

Строгость чередования согласных в фуль не во всех диалектах одинакова: кое-где, например, отмирает чередование *s ~ t'*. Заимствования обычно подвергаются чередованиям, например, *kefero* «неверный», мн. ч. *xef'er'be* (из араб. *kāfir*); *basali* «лук», единичное *wasalde* «луковица» (из араб. *başl*). Некоторые новообразования не подчиняются чередованиям, например, от *xolsere yeso* «передняя лапа» (букв. «лапа лица») образуется мн. ч. *kolt'e yesod'e* «передние лапы», где нельзя ни оставить *yeso* без изменения (прилагательное должно согласоваться!), ни взять его мн. ч. *gese*; *sauru* «палка», уменьшительное *t'abel* «палочка» (*saw ~ t'ab*).

В группе языков суто-чуана чередование согласных сопровождается противоположением единственного и множественного чисел имен, например, чуана *lofafa* «перо», мн. ч. *liphafaja*; педу *levaka* «время», мн. ч. *lipaka*; суто *seatla se sesweu* «белая рука» (букв. «рука, которая бела»), мн. ч. *diatla ce cwheu*¹⁹. Кроме того, чередование сопровождается противоположением глагола и отглагольного имени, а также глагола с дополнением «меня» или «себя» и глагола без дополнения или с другим дополнением, например, педу *šara* «бичевать» → *oa nšhara* «он меня бичует», *o a išhara* «он себя бичует», *šhara* «бичевание».

Следует заметить, что не весь запас согласных сравниваемых языков участвует в чередованиях. В нивхском чередуются все шумные согласные, кроме *h*; при этом не забудем, что нивхское *r* принадлежит скорее к шум-

¹⁸ Следует пояснить, что «человек» выражается основой **γor*, которая по исчезновении фонемы *γ* приобрела начало *w*- в связи с губным округлением гласного, но до псезонирования *γ* приобрела осмысленный вариант *g*-. Подобным образом основа **γi* «видеть» представлена в *mi yi'i* «я видел» // *meγ gi'i* «мы увидели», приобретая начало *и* у- в связи с гласным *и*. Итак, **γor* → *wor ~ gor*, **γi* → *yi ~ gi*.

¹⁹ Приходится оговориться, что написание *cwh* (в моем источнике даже *tswħ*) выражает одну цельную фонему: придыхательный лабиализованный свистящий аффрикат (в аналитическом алфавите акад. Н. Я. Марра цельное написание: *ϕ*).

ным, чем к сонорным, так как сопровождается шипящим шумом типа ζ (можно сравнить с чешским \check{r}). В языке фуль чередуются все шумные согласные, кроме $'b, 'd, t$; из сонорных чередуются r , которое, возможно, было раньше шумным. То, что в одних фульских диалектах может быть обозначено посредством x , в других диалектах звучит h , но это не влияет на чередование $x \sim k$, которое становится тогда $h \sim k$. Суто-чуана чередует все шумные, кроме s (ts), так как фонемы z нет, а из сонорных l, r (о последнем мы уже говорили в связи с ротализмом). Иногда мы не знаем, почему данный согласный не участвует в чередованиях, тогда как другие аналогичные ему согласные участвуют; так, в языке фуль вовсе вне чередований находится t , тогда как p, k, b, d, g чередуются. Заслуживает внимания разность трактовки l : оно не чередуется ни в нивхском, ни в фуль, но чередуется в суто-чуана. На этом мы закончим рассмотрение функций, носимых чередованиями. Дальнейшие детали и примеры можно найти в специальной литературе²⁰.

3. Фонетическая сторона явления

Что касается пермутации, наблюдаемой в языках банту и так называемых бантоидных, суть дела, с фонетической стороны, заключается в следующем: сонорные согласные, которые совмещают одновременно две противоположности — смычку, задерживающую выход воздуха, и открытый канал, свободно пропускающий воздух, не являются по существу ни чисто мгновенными (несмотря на смычку!), ни чисто длительными (несмотря на открытый канал!), но являются, если можно так противоречиво выразиться, мгновенно-длительными. Это приводит к тому, что размычка сонорных согласных типа n и l может запаздывать, несколько не вредя их слитности. Запаздывающая размычка может осуществляться в виде шумного смычного того же органа, например, в немецком: *Triumpf* → *Triumpf*, *Mensch* → *Mentsch*; в русском: *Фомин сын* → *Фоминцын* (по В. А. Богородицкому)^{18*}. И так во многих языках. То, что в одних языках встречается лишь sporadически и не является обязательным, а иногда даже считается предосудительным, в других языках может сделаться правилом. Так, в идиш указанное выше явление позволило сформулировать правило: «Если l или n стоит в ударном слове перед z, \check{z}, s и \check{s} , то сибилант нужно произносить аффрицировано: z становится dz, \check{z} становится $d\check{z}, s$ становится c, \check{s} становится \check{c} »²¹. Немецким *unser, Fenster, Mensch, Felsen, falsch* соответствуют в идиш по транскрипции *Birnbaum'a: ǎndzĕr, fenctĕr, menĕ, feldzn, falĕ...*

²⁰ Для нивхского языка: *Языки и письменность народов Севера*, ч. III, с. 181—222. Е. А. Крейнович. Фонетика нивхского (гиляцкого) языка с приложением статьи Т. Р. Зиндера и М. И. Матусевич «Экспериментальное исследование фонем нивхского языка». Л., 1937.

Для языка фуль: С. Meinhof. Die Sprachen der Hamiten. Hamburg, 1912, с. 31—57. А. Kling-nheben. Die Laute des Ful. Berlin, 1927.

Для языков суто-чуана: А. N. Tucker. The comparative phonetics of the Suto-Chuana group of Bantu languages. London, 1929. (Моя рецензия в сб. «Africana», т. I, с. 106—109).

²¹ S. Birnbaum. Praktische Grammatik der jiddischen Sprache (Hartleben's Bibliothek der Sprachkunde, № 128), с. 123. В тексте ошибочно «palatalisiert» вместо «af-friziert», но множество примеров подтверждает последнее. Идиш советских евреев следует указанному правилу не очень строго, но в основном следует.

В мордовском языке аналогичное явление вполне регулярно для *з* после *l*, *n*, *r*, например, *сало-сь* ~ *салць* «соль», *вакано-сь* ~ *ваканць* «чашка», *каре-сь* ~ *карць* «лапоть»²².

К сказанному надлежит добавить, что по всему миру распространены такие переходы, как *ml* → *mbl*, *mr* → *mbr*, *nl* → *ndl*, *nr* → *ndr* (последний переход известен и в русском просторечии, например, *нрав* → *ндрав*). Таким образом общий ход пермутации становится яснее: мы имеем широко распространенные аналогии для чередований не только между шумными согласными, как *f* ~ *p*, *š* ~ *č* и т. д., но и между сонорным и шумным, как *l* ~ *d* или *r* ~ *d*. Остается выяснить, почему в одних случаях пермутация дает аффрикаты, а в других случаях — смычные без заметной аффрикации, так сказать, чистые: почему сонорные, вызвавшие пермутацию, так легко исчезают и во всех ли случаях пермутация вызвана сонорными; наконец, почему в нивхском и суто-чуана глухость и звонкость длительных отражается в придыхательности и непридыхательности мгновенных.

Относительно аффрикатов^{19*} заметим, что они — те же смычные, но с замедленным и скользящим размыканием, т. е. вместо простого и четкого взрыва получается сдвиг смычки в щель, через которую на короткое время пропускается ток выдыхаемого воздуха. К этому нелишне прибавить, что первым компонентом аффриката бывает лишь такой смычный, который не встречается без аффриката: губно-зубные смычные в *pf*, *bv*; особые, если можно так выразиться, сибилантофильные переднеязычные смычки в *ts*, *dz*, *tš*, *dž* (= *c*, *z*, *č*, *ž*); какие-то особые смычные в редких по встречаемости заднеязычных аффрикатах. Отсюда получается известное раздвоение и при пермутации: когда длительный согласный обеспечивает удобное место для смычки, получается простой смычный (губно-губные щелевые *ф*, *β*; шумленные разновидности *r*; среднеязычные щелевые *х*, *γ* и их более продвинутые заднеязычные щелевые *х*, *γ*); когда длительный согласный не дает удобного места для смычки, получается аффрикат (губно-зубные щелевые *f*, *v*; сибиланты переднеязычного района *s*, *z*, *š*, *ž*; шумно-боковые *l*, *l̃*; крайние типы заднеязычных щелевых *х*, *γ* и т. д.). Нужно только учитывать, что нынешние звуки не всегда совпадают со звуками той эпохи, когда происходила в данном языке пермутация. Иногда диалекты показывают, из каких звуков нужно исходить при объяснении пермутации: выше сообщалось, что сахалинские нивхи произносят *ш*, *ś*, *ž* на месте *v*, *s*, *z* амурских нивхов; это типологически поддерживает предположение С. Meinhof'a (Hamiten, с. 35) о том, что в фуль прежде произносилось не *s*, а *ś*, но не поддерживает А. Klingenberg'a (Laute, с. 88), который не решается принять это предположение. Ведь получить *t'*, *d'* из *s*, *z* невозможно, а *ś*, *ž* одинаково хорошо подходят к пермутационным парам и нивхского языка и языка фуль. Где есть пары *f* ~ *p*, *v* ~ *b*, можно смело сказать, что исходное произношение *f*, *v* было губно-губным^{20*}.

Кроме того, между простыми смычными и аффрикатами есть промежуточный тип — аффрицированные смычные. Таковыми оказались при экспериментальном исследовании нивхские *t'*, *d'*, *k*, *g*, *q* (Зиндер и Матусевич, с. 113).

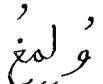
На вопрос, почему так легко исчезают сонорные, вызвавшие пермутацию, можно в общем ответить, что пермутация есть один из путей пере-

²² М. Е. Евсеев. Основы мордовской грамматики. Изд-2-е. М., 1931, с. 46, 128, 147, 166.

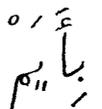
дачи функции отмирающей морфемы остающимся морфемам ^{21*}. Подобно тому, как в немецком языке противоположение единственного числа *Vater*, *Tochter*, *Mutter* множественному числу *Väter*, *Töchter*, *Mütter* осуществляется через палатализацию гласных (*a, o, u* → *ä, ö, ü*), вызванную когда-то отпавшим окончанием *-i*; подобно тому, как в туарегском языке ^{22*} противоположение мужского рода *amašeq* «туарег», *abarad* «молодой человек» женскому роду *tamašeq* «женщина или язык туарегов», *tabaraṭ* «девушка» осуществляется не через очевидный конфикс (префикс и суффикс сразу) *t...t*, как в случаях *amɣar* «старик» / *tamɣart* «старуха», *awaqqas* «лев» / *tawaqqast* «львица» и т. д., но через префикс *t-* и мену звонкого дебелого согласного на глухой, вызванную отпавшим суффиксом *-t* (раньше было, как подсказывает система, **t-amašeq-t*, **t-abarad-t*); таким же образом морфемы в виде кратких префиксов, содержавших носовые согласные или *l*, постепенно стираются, проходя ряд этапов: 1) утрата гласного и принятие слоговой функции сонорным согласным, например *mi* → *m̥*, *li* → *l̥*; 2) утрата слоговой функции и ассимиляция последующему согласному по органу, например *md* → *nd*, *nb* → *mb* (у звуков типа *l* это маловероятно); 3) отпадение сонорного, облегчаемое оглушением перед глухим согласным (например *mp* → *m̥p* → *p*), за ненадобностью элемента, уже передавшего свою семантическую функцию первому согласному основы путем его пермутации. К сказанному полезно добавить некоторые уточнения. Во многих африканских языках носовые согласные могут быть другого органа, чем последующий носовой согласный, только при слоговой функции носового, например, суахели *m̥thu* «человек» из *muthu*,

еще воспроизводимого в арабском написании (), при утрате сло-

говой функции носовой согласный ассимилируется последующему неносовому по органу и обычно также по способу образования, отчего возникают так называемые полуносовые согласные — цельные фонемы, в начале произношения которых на короткое время приподнята нёбная занавеска. В латинском написании, автором которого является почти всегда европеец, обычно миссионер, носовой форшлаг полуносового согласного изображается особой буквой носового согласного: *mb*, *nd*, *ṅd*, *n'd'*, *ŋg*... В арабском же написании, которое вырабатывается не иностранцами (в частности — не мусульманскими миссионерами, несущими своей пастве арабский Коран и игнорирующими местные языки), а самими туземцами, носовой форшлаг ничем не выражается, как равно и лабиализация (у европейцев *w* — после буквы согласного: *kw*, *gw*, *ɣw*...); в этом принципе сходятся никогда не соприкасавшиеся между собою общества — суахили в Восточной Африке ^{23*} и фуль в Западной Африке. Суахили пишет, например, слово «мир, свет» латинскими буквами как

luimwengu, а арабскими буквами  , т. е. как бы «*wulimiɣu*», фуль

пишет, например, «скажи мне!» латинскими буквами как *mbi'ayam*,

а арабскими —  , т. е. как бы *bi'ayam*.

Отпадение оглушенного сонорного может оставлять после себя след: придыхательность глухого согласного, вызвавшего оглушение, напри-

мер, суахили **muntu* → *muthu* → *m̥thu* «человек», **nipaka* → **m̥paka* → *phaka* «кошка». И здесь семантическая функция отмирающего элемента живет в переносе на другой элемент.

Развитие неравномерно, и разные диалекты того же языка могут отражать разные этапы развития, да, кроме того, в пределах самого диалекта или языка приходится считаться с архаизмами и неологизмами, составляющими «исключения» к «правилам». Так, в одном из диалектов языка фуль еще можно услышать глухие носовые, например *m̥put'u* «лошадь» при общефульском *putú*; в языках суто-чуана имя действия (отглагольное имя) сохраняет начальный носовой — остаток префикса, если основа односложна, но не сохраняет при двухсложности основы, например *pedu ja* «давать» → *m̥pho* «даяние», но *viča* «звать» → *pičo* «зов».

Пермутация после *l* не представляет трудности для объяснения, пока пермутируемыми согласными являются переднеязычные щелевые (*s, š, z, ž*). Здесь переход от артикуляции *l* к артикуляции другого типа запаздывает на короткий момент: боковые проходы уже устранены, но язычно-зубная или язычно-нёбная смычка еще держится, давая звук легкого *t* или *d*; получаются *lts, ltš, ldz, ldž* = *lc, lč, lž, lẓ̌*. Гораздо труднее было бы объяснить пермутацию губных и заднеязычных щелевых после *l*, т. е. переходы *lf* → *lp, lx* → *lk*. Подобная пермутация предполагается для языка фуль в тех случаях, когда классовый префикс оканчивается на *l*, а также когда сама основа слов оканчивается на *l*. Однако дело могло обстоять и иначе: в языке фуль очень часто наблюдается замена *l* носовым согласным в контакте с классовым суффиксом^{24*}, например, *duldu* ~ *dundu* «лес» из **dul-ru*; *soldu* ~ *sondu* «птица» из **sol-ru*, мн. ч. *t'oli*, уменьшительное *t'olel*²⁵; *d'auḡgal* «цесарка, мн. ч. *d'aule* (стало быть, основа *d'aul*; ед. ч. *d'auḡgal* из **d'aulḡal*). С другой стороны, *l* изредка встречается в том же языке фуль перед щелевыми согласными и на них не воздействует, например, *Fulfulde* «язык фуль», *xolsere* «лапа». Отсюда можно сделать заключение, что *l* перед другим согласным превращалось в носовой того же органа; носовой-то и производил пермутацию. Причину такого же своеобразного звукоизменения можно усмотреть в том, что носовые согласные разнообразнее, чем боковые, и теснее примыкают к следующему за ними неносовому согласному, чем боковые; в качестве иллюстрации можно привести случай спорадической ассимиляции в современном арабском языке — *ambārḡḡ* «вчера» вместо древнего *al-bārīḡa*, где определенный член *al-* перестал сознаваться говорящими (переход от *m* к *b* несравненно легче и проще, чем от *l* к *b*). Различные сохранившиеся варианты в языке фуль позволяют примерно восстановить происходившие когда-то процессы; «берцовая кость», представленная в вариантах *korlal* и *korḡgal*, должна была звучать **korl-ḡal*, но в одном варианте исчезло **ḡ* и сохранилось предшествующее ему *l*, а в другом варианте *l* сменилось на но-

²³ F. Storbeck в своем разговорнике Ful из серии «Metoula Sprachführer»²⁵, основанном на адамовском диалекте^{26*}, называет птицу систематически *solndu*, мн. ч. *solī*; форма *solndu* может быть принята лишь с полуносовым *nd*, так как три согласных подряд для фуль необычны, и может быть истолкована как переходная ступень от старого **lr* к новым *ld* ~ *nd*; форма *solī* вместо обычного *t'oli* объясняется утратой чередования *s* ~ *l'* в данном диалекте. С. Meinhof (Hamiten, с. 33) приводит *korḡ-gal* «берцовая кость» (с таким именно делением на морфемы) наряду с *korl-al*, мн. ч. *korl-e*; здесь тоже невозможное стечение согласных — возможно было бы лишь *korḡ-gal* с полуносовым. Там же на с. 34 Meinhof приводит *bernde, berne* «сердце» (у Storbeck'a лишь первая форма), которое опять-таки допустимо лишь с полуносовым^{27*}.

совой форшлаг *ʎ, пермутируя последнее в *g* (боковой форшлаг вообще невозможен, и стремление к компактной артикуляции неизбежно ведет к носовому форшлагу).

До сих пор объяснения касались главным образом пермутации в африканских языках, где на основании обширного и достаточно прозрачного материала выясняется, что пермутация вызывается сонорными согласными типа *n* и *l*. При этом упоминавшиеся языки — фуль и суто-чуана — проявляют пермутацию лишь при гоморганности носового с последующим неносовым. Другие языки Африки пермутируют и без гоморганности; так, на языке ваи (западносуданская группа манде) ^{28*}, от *ʒa* «лицо» имеем *ʒa lo* «в лице», а от *kuɔ* «голова» *kuɔ do* «в голове». В подобных случаях, очевидно, играет роль не запаздывание одной артикуляции перед другой, а совместность обеих артикуляций в один и тот же момент; артикуляции *n* и *l* несовместимы, так как задняя часть языка при *n* должна быть в смычке с мягким нёбом, а при *l* бока языка должны образовать проходы, достаточно просторные, чтобы обеспечить сонорность *l*, артикуляции же *n* и *d* относительно совместимы, так как язык может одновременно образовать смычку спереди и сзади (обычная вещь в языках Южной Африки — двусмычные и щелкающие согласные ²⁴), следовательно, смена артикуляций *ɲd* компактнее, чем смена *ɲl*.

Теперь перейдем к пермутации в нивхском языке. Здесь носовые согласные (кстати: без обязательной гоморганности) пермутируют последующий шумный длительный и звонкий мгновенный, но, как мы уже знаем, глухие длительные дают иной эффект, чем звонкие. В амурском диалекте часто отпадает окончание — *ɲ*, сохраняемое в сахалинском диалекте, но результат пермутации остается без изменения: вместо *ɕaɲ bəŋx* «суп из коровы» и *nirɔ-bəkzd'* «потерять чашку» остаются *ɕa-bəŋx* и *nir-bəkzd'*. Исчезновение носового нужно всегда иметь в виду, иначе получится много ничем не объяснимых «исключений» ²⁵.

За изъятием некоторого числа имен, начинающихся на шумный длительный и не поддающихся пермутации, чередования согласных в комплексах и в суффиксах оказываются в зависимости от конца предыдущей морфемы: длительность сохраняется после мгновенных и гласных, например, *hək-vəŋx* «суп из зайца», *t'ho-vəŋx* «суп из рыбы», *mot-vəkzd'* «потерять подушку», *t'ago-vəkzd'* «потерять нож»; мгновенность без звонкости наступает после щелевых (длительных шумных), например, *tɕɛf-rəŋx* «суп из медведя», *t'haf-pəkzd'* «потерять точило»; мгновенность со звонкостью, которая не выражается на письме в случае придыхательности, наступает после носовых, как уже говорилось. Утрата воздействовавшего окончания не меняет прежнего воздействия, например, *ŋi* «я» + *thu* «нарта» → *ŋ-ri* «моя нарта», *t'hi* «ты» + *thu* «нарта» → *t'h-ri* «твоя нарта», *if* «он» + *thu* «нарта» → *i-thu* «его нарта»; однако *t'h* — «твой» ~ «тебя» и *ph* «свой» ~ «себя» оглушают последующий звонкий, например *ŋ-zaqo* «мой нож», но *t'h-saqo* «твой нож» (последнее явление не относится к пермутации, так как меняется лишь характеристика по голосу).

²⁴ См. профили речевого аппарата в моей статье «Фонетические параллели африканских и яфетических языков» (сб. «Africa», т. I, М.— Л., 1937, с. 31 и 41).

²⁵ В конце слов *b* отмечен в трех словах: *kab* (собств. имя), *t'harb* „шелк“, *qob* „поварешка“. Л. Шренком ²⁹ название поварешки записано как *qomb*. Л. Я. Штернбергом ^{30*} название шелка записано как *t'harmp*... Следует напомнить, что в этих сочетаниях звук *b*, так же, как и другие звонкие смычные, появляется только под влиянием конечных сонантов. В словах *t'harb* и *qob* наличие *b* объясняется утраченным *m* [Е. А. Крейнович. Фонетика нивхского (гиляцкого) языка. М.— Л., 1937, с. 81].

Здесь мы подходим к трудной части нашего вопроса — к пермутациям под влиянием не сонорных, а шумных согласных, именно щелевых *f, ɣ, s, x, ɣ̣* (звонкие щелевые в конце не встречаются). Найти аналогии в других языках будет нелегко; мы несомненно имеем дело с очень редким явлением. Прежде всего перед нами процесс диссимилиятивного характера: два звука, однородных по способу образования, становятся разнородными. В мордовских диалектах, по сообщению Д. В. Бубриха^{31*}, встречается такая диссимилиация, но лишь в области переднеязычных щелевых, например, от *вешемс* «искать» вместо *веш-са* «я поищу его» говорят и *веш-ца* ($\check{s} + s \rightarrow \check{s}c$). Сюда же (ли) относятся такие явления тюркских языков, как *башлар* → *баштар* «головы», *арыслан* → *арыстан* «лев», сказать трудно, так как переход *л* → *т* наблюдается там после весьма различных согласных, а не только после щелевых.

Похожим, но обратным по порядку явлением будет переход *xs* → *ks* для правописного *chs* в немецком, например, *Wachs* [vaks]. Вообще же диссимилиация по способу образования — вполне обычное явление — по-русски мы нередко (расподобляем) два следующих подряд смычных, превращая первый из них в щелевой, например, *кто* → *хто*, *когда* → *коуда*, *что* → *што*.

Нивхская пермутация, основанная на диссимилиации щелевых, имеет такой же практический смысл, как и африканские пермутации, основанные на ассимиляции весьма разнородных согласных, встретившихся на стыке морфем: приобретает компактность фонетики, необходимая при возрастающей компактности морфологии. Дело в том, что соединение двух щелевых не дает такой компактности, как соединение щелевого со смычным; это особенно заметно в таких устойчивых (и хорошо испытанных в индоевропейских языках) соединениях, как *sp, st, sk*. Можно даже найти нечто общее между обеими пермутациями и в отношении длительности (количества) звука: какое-нибудь *tw* (два длительных согласных — —) превращается в *tb* (либо длительный с мгновенным —·, либо [tʰb] один мгновенный —); точно так же какое-нибудь *sv* (два длительных согласных — —) превращается в *sp* (длительный с мгновенным —·). Если нивхский язык идет другим путем, чем африканские, то цель у них одна, но разная структура и разный фонетический состав; последние обстоятельства и определили разные пути. Что касается воздействия нивхских носовых на последующий согласный, здесь наблюдается полное схождение с африканскими языками, и мы на этом не останавливаемся.

Любопытное схождение нивхского языка с языками суто-чуана в том, что звонкие длительные чередуются с чистыми глухими мгновенными, а глухие длительные — с придыхательными глухими мгновенными, объясняется тем, что глухие согласные более воздушны, чем звонкие, т. е. требуют большей затраты выдыхаемого воздуха, так как при звонких согласных голосовые связки сближены и дрожат, задерживая выход воздуха. Избыток воздуха, пришедшийся на глухой длительный согласный, накапливался при пермутации и выходил по ликвидации нового мгновенного согласного в виде придыхания. Сближение голосовых связок, сопровождавшее звонкий длительный согласный, либо переходило в их смычку (и пермутированный согласный оказывался смычно-гортанным, каковы глухие непридыхательные мгновенные у большинства говорящих на языках суто-чуана), либо наоборот — сменялось удалением голосовых связок друг от друга (и пермутированный согласный был простым глухим, как у меньшинства говорящих на языках суто-чуана, но, по-видимому, у всех нивхов). Что касается языка фуль, в нем пермутация

не затрагивала работы голосовых связок, но переносила почти всю энергию на работу ротовых звукопроизводящих органов, отчего получалась своеобразная гармония согласных, как, например, *wiwre* «фурункул», мн. ч. *bubi*; *fouru* «гиена»; мн. ч. *pobi*; *xolsere* «лапа», мн. ч. *kolt'e*. Сюда же относится и пермутация второго согласного в слове, если первый не поддается пермутации, например *nofru* «ухо», мн. ч. *nopi*; *limsere* «длинное платье», мн. ч. *limt'e*.

4. Морфологическая сторона явления

Уже при рассмотрении фонетической стороны изучаемого явления мы были вынуждены делать небольшие экскурсы в область морфологических отношений: не один раз речь была о передаче отмирающей морфемой своей функции остающейся морфеме, говорилось также о связи между морфологической и фонетической компактностью.

Сравнение структуры привлекавшихся языков на первый взгляд очень неутешительно: в отношении порядка слов нивхский и упоминавшиеся африканские языки диаметрально противоположны (первый язык пользуется словопорядком «отца дом», «большой дом», «воду пить», т. е. предпосылает ограничивающий элемент ограничиваемому как в определительных, так и в дополнительных комплексах, последние же языки пользуются словопорядком «дом отца», «дом большой», «пить воду» и т. д.); в нивхском языке нет ни рода, ни класса, а в языках банту и бантоидных все имена делятся на много классов, каковое деление распространяется на все согласующиеся категории, наделяя их классовыми показателями — существительное, прилагательное, местоимение, глагол (он согласуется с субъектом и с объектом), притяжательная частица... Казалось бы, нечего и сравнивать! Однако есть и сходство, но оно не может быть достаточно заметным ввиду разных стадий развития, на которых находятся сравниваемые языки. Уже в порядке слов кое-что совпадает: подлежащее перед сказуемым, а не после него, как это обычно в семитских языках, принципиально близких к структуре банту; местоименный объект в языках банту ставится перед основой глагола, например суахили *ni-na-m-penda* «я его люблю» (*ni* «я», *m* «его»), что совпадает с нивхским, но не с фуль. Столь важная часть структуры банту и бантоидных языков, как система именных классов, находит себе подобие и в нивхском языке, именно 24 класса числительных, дифференцированных применительно как к общим, так и к частным, местно-производственным понятиям; например, числительное «три» звучит *t'agr* по классу людей, *t'em* по классу лодок, *t'ar* по классу связок ююлы и т. д. Правда, эти нивхские классы не то, что мы привыкли видеть в африканских языках, но конкретное мышление, связанное с языковой классификацией понятий, сказывается одинаково ярко и там и здесь. Даже в семитских языках сохранились следы прежнего конкретного мышления на исчислении: в североарабском языке имя периода, например *rib'* «четырёхдневный период» при *'arba'* «четыре», в южноарабском наречии мехри^{32*} особые числительные при слове «день», например *šidet yōm* «шесть дней» при *hitt* «шесть», *šiba yōm* «семь дней» при *hōba* «семь».

В языках банту классовые показатели, они же местоимения 3-го лица примыкают в виде префиксов к основе слова так прочно, что граница между обеими морфемами стирается и получается срастание в одно слово. При этом наибольшему уплотнению и стиранию подвержены показатели, содержащие носовой согласный *-m* или *-n*, а из этих показателей в первую

очередь стираются содержащие узкий гласный *-u* или *-i*. Нужно заметить, что имена без классового показателя не употребляются²⁶, например, суахили *mthu* «человек» // *wathu* «люди», *nyuki* «пчела» // *tyuki* «мед», но нет слов **thu* или **yuki*. Такое положение вещей содействует интеграции слов (восприятию их как неделимого целого), и это требует максимальной компактности фонетического оформления вроде того, как по-русски словосложения по мере интеграции упрощают и сжимают свой звуковой состав, например, *двояродный* → *двоюрный*, *пятьдесят* → *пиисят*, *шестьдесят* → *шиисят*.

В языке фуль дело несколько иначе. Как показал А. Klingenheben²⁷, фуль в прошлом находился на той стадии развития, какую можно наблюдать в наше время в группе гурма (Либерия)^{33*}: классовый показатель дается в виде конфикса, т. е. префикса и суффикса вместе, например, гурма *bu-nim-bu* «глаз», *bu-ńo-bo* «рот» (с ассимиляцией из **bu-ńo-bu*), *tu-ye-tu* «тыквы-горлянки», *ŋ-ku-tu* «железо» (уже стянуто из **tu-ku-tu*). Сравните приводившийся выше берберский конфикс женского показателя *t...t*; в семитских языках подобные явления реже и не типичны, например, евр. *tiṣ'ārāḏ* «украшение» (из **ta-p'ar-t*), араб. *taẓribat* «опыт». Чем бы ни объяснялось двукратное применение того же показателя к тому же слову (сейчас нам это не так уж важно), ясно, что в известной момент развития языка один из двух показателей будет осознаваться как ненужный плеоназм и, в результате этого, будет устранен. Так и случилось в языке фуль. Префиксы стали ослабевать и отпадать. Наиболее устойчивыми оказались соединения носовых со звонкими смычными, хотя и здесь пережил лишь остаток бывшего префикса, например, *mbaroga* «лев», мн. ч. *baro'de*; *ndau* «страус», мн. ч. *daud'i*; *ŋgeloba* «верблюд», мн. ч. *ge-lo'di*. Кроме того, устойчиво *n-*, но оно неспособно чередоваться, например, *ńaku* «пчела», мн. ч. *ńaki*. В остальных случаях отпал даже остаток бывшего префикса, но сохраняется пермутация, впитавшая в себя следы отпавшего сонорного согласного, например, *rauandu* «собака», мн. ч. *dawadi*. Что касается суффиксов, они тоже не остались в целостности и сохранности, но все же удержались в виде окончаний, хотя уже упрощенных в своей форме, — носовые согласные в конце слова часто исчезают, а между тем начало слова нередко дает понять, что полная форма показателя содержала конечный носовой согласный; при скоплении согласных на стыке основы с суффиксом часть согласных гибнет, и суффикс может упроститься вплоть до одного гласного, например *lingu* «рыба», мн. ч. *li'di* содержит основу *li-* и суффиксы *-ŋgu* (ед. ч.) и *-'di* (мн. ч.), тогда как *ńaku* «пчела», мн. ч. *ńaki* выбрасывает согласные *ŋg* в первом случае и *'d* в последнем за невозможностью скоплений *kŋg* и *k'd*. Интеграция в языке фуль происходила так же, как в языках банту; отсюда та же потребность в компактности фонетического оформления. Ряд суффиксов кончается на *l* (*-gal*, *-ŋgol*, *-ŋgel*), откуда приписывание звуку *l* тех же пермутирующих способностей, как и у носовых согласных, но об этом

²⁶ Здесь не имеются в виду случаи, утратившие классовый показатель вследствие его фонетического стирания или — будучи заимствованиями — не принявшие показателя по аналогии со стертими случаями. Формальная утрата показателя не снимает согласования данного стертого случая с другими словами в предложении, например, суахили *merikebu imetia nanga* «корабль бросил якорь» (араб. *markab* «корабль»; *i-* в глаголе показывает класс, к которому относится «корабль»); *rangi nzuri* «красная краска» (перс. *rang* «краска»; *n-* в прилагательном показывает класс, куда входит «краска»).

²⁷ См. его итоговую статью по этому вопросу — *Die nominalen Klassensysteme des Ful*, помещенную в сб. «*Donum natalicium Schrijnen*». Chartres, 1929, с. 175—181.

мы уже говорили раньше. Почему именно префиксы исчезли (вплоть до немногих упоминавшихся остатков), а суффиксы в основном сохраняются? С фонетической стороны и те и другие, пожалуй, равносильны, так как ударение в языке фуль падает большей частью на основу и, вероятно, это было так и прежде: *'be-fúl-'be* → *Fulbe*, сравните *Fulfulde* «язык фуль». С морфологической стороны префиксы в этом языке не так важны, как суффиксы: в отличие от языков банту язык фуль не сливает субъектные местоимения с глаголом в одно целое, но допускает и нередко применяет инверсию (по крайней мере для первых двух лиц в обоих числах), что в языках банту невозможно; объектное местоимение ставится позади глагола, а не перед глагольной основой, как в языках банту. С синтаксической стороны суффиксы в языке фуль попадают в особо выигрышное положение благодаря замечательной особенности структуры этого языка — рифмованной местоименной цепи, соединяющей подлежащее и сказуемое именного предложения (например, *leki kin ki towi* «это дерево высоко», букв. «дерево это, оно высоко») или вводящей относительное предложение (например, *xondu ndu ndu ŋgi mi* «палец, который я видел», букв. «палец, тот, тот видел я» или «палец он, его видел я»). Троекратная рифмующая связь «классовый показатель + указательное местоимение + + связка», составленная из того же самого элемента, повторенного три раза подряд, это — сила; префиксы оказывались бескровленными и в конце концов уничтоженными!

Наконец, относительно нивхского языка. Его строй характеризуется определительными и дополнительными комплексами, которые интегрируются наподобие словосложения других языков; недаром исследователи языков народов Севера прибегают к таким показательным переводам на русский язык, как «человеко-олене-убийство», в смысле «человек оленя убил». Ясно, что язык с таким строем должен иметь елико возможно компактные фонетические соединения. Однако далеко не все комплексы нивхского языка равноценны и получают одинаковое фонетическое оформление. Если определительный комплекс содержит глагол и передает смысл наших причастий, такое определение не воздействует на определяемое имя и последнее проявляет мгновенное начало, например, *za-thuyr* «кресало» (букв. «бит-огонь»); *ni let-taf* «мною сделанный дом» (букв. «я-сделал-дом»). В обоих случаях определяемые *thuyr* «огонь» и *taf* «дом», а не *ɕuyr* и *raf*, как после настоящих именных определений с гласным или мгновенным концом. Если первоначальными из чередующихся шумных согласных считать длительные (в силу первенства переходных глаголов и показаний известных заимствований), то у имен и непереходных глаголов можно предположить несохранившиеся префиксы, повлиявшие на первый согласный основы, быть может, даже один и тот же префикс (в смысле «его» ~ «себя; -ся»). Тогда в комплексах определительном и дополнительном префиксы будут лишни (в первых всегда сказано, чей предмет, в последних всегда сказано, кого или что обрабатывают). Какой же звук мог пермутировать начало следующего слова и исчезнуть? Очевидно, *-h*, т. е. шумный целевой, который не встречается иначе, чем перед гласным; значит, мог бы пермутировать и исчезнуть. Зная местоимение *had* «он, этот», можно думать, что какое-нибудь *t'ham(ŋ)* «шаман» возникло из **hə-sam.ŋ* → **h'sam.ŋ* → **ht'hamŋ*, а какое-нибудь *pəkzd'* «потеряться» возникло из **hə-wəkzd'* → **hwəkzd'* → **hp.əkzd'*. Отпадение этого предполагаемого **h-* должно было последовать как в силу плохой его слышимости, так и в силу его функциональной устарелости: первоначально, допустим, нивхи не представляли себе предмета вообще, но

лишь «мой предмет», «твой предмет», «соседа предмет» и т. д., дальнейшей же ступенью развития должно было быть использование какого-нибудь одного местоимения, дававшего обобщение принадлежности или (что то же самое) устранявшего понятие принадлежности за счет понятия указания — «этот предмет», «данный предмет». Типологические аналогии найдутся во многих языках, причем в некоторых языках устарелый обобщитель сохранился, в неотделимом для сознания виде, в составе нескольких единичных слов²⁸, а в некоторых языках подавляющее большинство имен (чуть ли не все) сопровождается единообразным оформлением, уже утратившим свой первоначальный смысл, например, в абхазском и абазинском языках постоянное *a-* в начале имен; в берберских языках *a-* (муж. р. ед. ч.), *i-* (муж. р. мн. ч.), *ta-* (жен. р. ед. ч.), *ti-* (жен. р. мн. ч.)^{34*}, т. е. целая парадигма префиксов, но ... без смысла, так как категории женского рода и множественного числа имеют свои особые суффиксальные показатели *-t* (жен. р.) *-n* (мн. ч.). Что касается непереходных глаголов, они могут быть по сути дела возвратными, хотя в нивхском языке возвратное местоимение есть и звучит *phi* «себя», в сложениях *ph-* (стало быть, не смогло бы служить префиксом, который пермутировал бы и исчезал). Однако непереходные глаголы могут развиваться и другими путями; поэтому не исключается и применимость **hə-*, связанного с современным *had'* «он, этот».

Если основа началась с гласного, можно ожидать, что предполагаемый префикс **h-* образует слог с этим гласным и, по утрате своей смысловой функции, сохраняется как мертвый инвентарь. Действительно, есть случаи, что начальное *h* чередуется с начальным *i*, которое Л. Я. Штернберг^{35*} разъяснил как плеонастическое местоимение *i-* «его», употребляемое нивхами, когда перед переходным глаголом не поставлено другого дополнения, например, *ied'* «варить» // *hed'* «свариться», *iatamud'* «мять» // *hamatm'* «быть мягким», т. е. такие же противоположения, как *vəkdz'* «потерять» // *pəkdz'* «потеряться»; есть и случаи противоположения переходных глаголов именам, как *irkud'* «ловить петлями зверя» // *hirkus* «петля» (сравните *juvd* «пилить» // *phuf* «пила»). Во всех этих случаях звук *h* функционирует словно мгновенный против длительного, хотя сам по себе является длительным. Однако настоящего чередования у звука *h* нет: *t'ho-hed'* «рыбу варить» и *ηəʔr-hamatm'* «шкуру мять», тогда как после гласного требуется не тот же согласный, что после *r*. Очевидно, префикс *i-* еще жив в сознании говорящих и не может оставаться после дополнения, а предполагаемый префикс *h-* уже мертв и механически замещается *i-*, где оно не может быть. Что касается имен и глаголов, начинающихся на гласный в современном нивхском языке, они могли утратить какую-нибудь древнюю согласную фонему, чуждую современной нивхской фонетике и не изменявшуюся под влиянием предыдущих звуков. Такими утраченными фонемами могли быть либо гортанный взрыв ['] (артикуляция, нередкая в языках народов Севера), либо язычковый носовой *ŋ*, как в эскимосском, что гармонировало бы с существующей серией *k, g, η, x, γ*, пополнив серию *q, ġ, x, ʔ*.

Свести запас шумных согласных к одним длительным не удастся ни в африканских, ни в нивхском языке без значительных трудностей. Так, в нивхском языке есть местоимения *t'hi* «ты», *t'həʔ* «вы», *phi* «себя». Можно ли свести их к **ri, *rəʔ, *fi?* Фонетически можно, предположив исчез-

²⁸ См. статью В. И. Абаева. Осетинское *təpnəw* «пшеница» (сб. «Язык и мышление», I, Л., 1933, с. 67—70).

нувший префикс **hə-* → **h-*, но морфологически невероятно, чтобы здесь был какой-то определенный член, когда личные и возвратные местоимения определены уже по содержанию. Может быть, их начало пермутировалось по аналогии с остальными именами, начинающимися с шумного согласного (исключая звук *h*, который не входит в пермутацию)? Во всяком случае *phi* «себя» можно было бы увязать с *if* «он», а *t'hi* «ты» имеет какие-то связи с *si* других языков²⁹.

III. ОСОБЕННОСТИ СООТВЕТСТВИЙ ПЛАВНЫХ СОГЛАСНЫХ В КАРТВЕЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

А. Грузинское *-l-* // мегрело-чанское *-r-*

1. Описание явления и примеры

Грузинскому интервокальному *l* соответствует мегрельское и чанское *r*, например, «душа» — груз. *suli* // мегр.-чан. *šuri*. Однако настоящая интервокальность необязательна для грузинского языка в силу его малогласия, но обязательна для мегрельского и чанского в силу их полногласия, например «собака» — груз. *zayli* // мегр.-чан. *žoyori*; назвать *l* интервокальным в грузинском примере нельзя, так как оно стоит между согласным и гласным, но *r* в мегрело-чанском примере действительно является интервокальным.

Интервокальное *l* отнюдь не чуждо также мегрельскому и чанскому языкам, но оно сводится: 1) к заимствованию из других языков, 2) к диссимиляции при скоплении двух *r* в том же слове, 3) к колебанию между звуками *l* и *r* в поствокальной позиции.

Примерами заимствованных слов, содержащих интервокальное *l*, могут служить мегрельское *proli* «пол» (из русского языка и, очевидно, через ступень **porli*, как об этом говорилось в нашем I этюде) и чанское *meseli* «поговорка» (из араб. *maḍal* через тур. *mesel*). Усвоение заимствованных слов облегчается многоязычностью Кавказа и в частности тех его обитателей, о языках которых идет речь. Гораздо сложнее обстоит дело с мегрело-чанскими заимствованиями из грузинского языка. Говоря с детства и по-грузински и на родном языке, мегрелы и чаны могут заимствовать из грузинского языка самые обыкновенные слова, так как поводом к заимствованию являются зачастую не отсутствие нужного термина, а одинаковая понятность и своего и грузинского слова. В таких случаях, собственно говоря, происходит не заимствование, а смешение языков, сопровождаемое подчас и гибридизацией родственных слов. Вот это последнее явление и приводит к загадкам для сравнительной фонетики картвельских языков, если эта дисциплина разрабатывается без учета гибридизации слов. Приведем примеры: «вода» — груз. *çgali* // мегр.-чан. *çgari*^{55*}; «дочь» — груз. *asuli* // мегр.-чан. *osuri* (с отклонениями в значении: мегр.: «женщина», чан. «девушка»). Если бы в мегрельском и чанском языках эти слова были исконными, они звучали бы **çqori* и **ošuri*; между тем, в форме *çgari* всего 33% мегрелизации, а в форме *osuri* ее 66%. У старого кавказоведа Brosset^{36*} записана мегрельская форма *çgari* (так сказать, 66-процентная), но современные мегрелы ее не знают... Итак,

²⁹ В названной выше «Фонетике нивхского языка», с. 54, это сопоставляется с нанайским, удэйским и эвенкийским *si*, эвенским *hi*, монгольским *çi*. Но последнее выводится из **ii* (ср. монг. *iā* «вы»).

интервокальное мегр.-чан. -*r*- не всегда говорит за истинность даже при груз. -*l*-. Что касается диссимилиации *r...r* → *r...l*, она хорошо известна и в грузинском языке, например, *arabuli* «арабский», *kartuli* «грузинский», *rusuli* «русский при *čanuri* «чанский», *somxuri* «армянский», *xačauri* «китайский». По вопросу о соответствии плавных согласных в картельских языках нас будут интересовать другие случаи. Нам известно слово «ласточка» — груз. *mercxali* // мегр. *marčizoli*. Сравнивая обе формы, замечаем строго закономерное соответствие гласных груз. *e* // мегр. *a*; груз. *a* // мегр. *o*; гласный -*i*- внутри мегрельской формы не имеет соответствия в грузинской форме и относится за счет полногласия, собственного мегрельскому и чанскому языкам; незакономерность в ступени аффриката (должно бы быть или груз. *c* // мегр.-чан. *č* или груз. *ç* // мегр.-чан. *č̣*) можно объяснить тем, что в мегрельской форме *marčzoli*, вариант *mačizzoli*, аффрикат не находится в контакте с -*x*-, тогда как в малогласной грузинской форме получился контакт, который подвергся ассимиляции в порядке картельских гармонических сочетаний, допускающих лишь *cx*, но не **çx*³⁰; наконец интервокальное -*l*- грузинской формы имеет своим соответствием в мегрельской форме тоже *l*, а не *r* (здесь действует диссимилиация *r...r* → *r...l*, обязательная и для мегрельского языка).

Относительно колебания *r* ~ *l* в поствокальной позиции нужно сказать, что это явление наблюдается главным образом в окончании дательных падежей мегрельского склонения, например, от *čili* «жена» образуются падежи *čils* ~ *čirs*, *čilk* ~ *čirk*. Само собой разумеется, что это колебание может служить точкой, откуда по всей парадигме распространится на тот согласный, который был в конце основы прежде, до колебания.

Близко к этому типу случаев, но не в связи с ним, находится другой тип — имя с отпадающим конечным *l*. Такое имя сохраняет *l* только в интервокальной позиции, но, очевидно, не может сменить *l* на *r*, так как конечное *r* не отпадает; например, «брат» — мегр. *žima*, чан. *žima*, образует мн. ч. мегр. *žimaleri*, чан. *žimalepe*. Стало быть, исторической основой является *žimal* // *žimal*. Это переменное окончание -*al* не только держится в указанной форме, но и влечет за собой по аналогии также заимствованные слова: например «священник» — мегр. *rara* образует не только мн. ч. *raperi*, но и мн. ч. *rapaleri*. Таким образом получается дополнительный источник, дающий этим языкам интервокальное *l*.

2. Стадии развития плавных

Интересующее нас соответствие интервокального *l* одного родственного языка интервокальному *r* других родственных языков получит широкое типологическое освещение, если посмотрим, как обстоит дело в других языках мира.

Языки проявляют различные стадии развития плавных согласных. Можно различить: 1) стадию с одним плавным согласным^{37*}, 2) стадию с позиционным раздвоением плавного, 3) стадию с непозиционным различием двух плавных.

К стадии с одним плавным согласным принадлежат, с одной стороны, языки, имеющие только *l*, но не имеющие *r* (китайский³¹, зулу^{45*}, самоан-

³⁰ См. мою статью «Фонетические параллели африканских и яфетических языков» (сб. «Аfricana», т. I, с. 35).

³¹ Следует оговориться, что в европейских транскрипциях китайского языка можно встретить не только *l* (*л*), но и *r* (*р*). Однако последний знак передает не звук, а слог, который воспринимается разными исследователями по-разному: Karlgren^{38*} *r*, Lessing^{39*} *orl*, Hirth^{40*} *ir*, Wade^{41*} *erh*, Couvreur^{42*} *eul*, Vissière^{43*} *eul*, Палладий^{44*} *эpp̄*.

ский ^{46*}), с другой стороны, языки, имеющие только *г*, но не имеющие *л* (из древних — египетский ^{47*}, ведический санскрит ^{48*}, зендский ^{49*}; из современных — японский ^{50*}, готтентотский ^{51*}, маори ^{52*}, таити ^{53*}). Если родственные языки этой стадии расходятся в выборе плавного, то сплошь да рядом, когда в одном *л*, в другом будет *г*, например:

«волос» — самоан. *fulufulu* // маори, таити *huruhuru*

«рука» — самоан. *lima* // маори, таити *rima*.

Этот простейший вид соответствия *л* одного языка *г* другого языка постепенно сходит с лица земли, так как взаимодействие языков приводит рано или поздно к заимствованию недостающей фонемы.

Из стадии с позиционным раздвоением плавного наиболее ярким образцом можно признать корейский язык ^{54*}. В начале слова этот язык имеет лишь *п*; вместо *л* или *г* заимствованных слов в этой позиции тоже получается *п* (все многочисленны китайзмы, начинающиеся в подлиннике на *л*, наполняют корейский словарь в отделе *М*!). Внутри слова происходит чередование: в интервокальной позиции (и перед *h*) корейский язык имеет *г*, а в конце слога и, следовательно, в конце слова *-л*, например, *mari* «лошадь» (именительный падеж) ~ *mal* (винительный неопределенный падеж). На корейском языке видно, что когда язык свободен от семантического различия *л* и *г*, он идет по линии физиологического подбора и выбирает в интервокальной позиции *г* (сначала одноударное), как быстрое, редуцированное *л*. Дело в том, что артикуляция *л* слишком резко отличается от артикуляции других звуков, как гласных, так и согласных; переход от других звуков к *л* и от *л* к другим звукам сопряжен с известной задержкой, потребной для наведения или устранения боковых проходов (или одного такого прохода — при унилатеральном *л*), между тем как одноударное *г* не требует боковых проходов и, кроме того, сверхкратно по длительности исполнения. Стоит языку выработать хотя бы одноударное *г*, вслед за этим легко развивается и многоударное, так как принцип уже усвоен — ведь при ротацизме звуки *г* разных типов вырабатываются из звуков совсем другого типа, чем *г*, именно *д*, *ж*, *з*...

Следующая стадия, известная нам из большинства языков, хотя бы и из русского, нередко содержит весьма яркие пережитки предыдущей стадии. В качестве образца возьмем румынский язык. В основном вульгарно-латинском фонде румынского словаря интервокальное *л* отражается как *г*, например:

	«солнце»	«фиалка»	«скрипка»	«жернов»	«соль»	«яблоко»
вульг.-лат.	<i>sole</i>	<i>viola</i>	<i>viula</i>	<i>mola</i>	<i>sale</i>	<i>malu</i>
румын.	<i>soare</i>	<i>viorea</i>	<i>vioară</i>	<i>moară</i>	<i>sare</i>	<i>măr,</i>

удвоенное *ll*, однако, сохраняется, например, «мягкий» — *molle* → *moale*. Интересно отметить колебание *л* ~ *г* в поствокальной позиции, например, «ива» — *salice* → *salice* → *salce* → *sarce*; это напоминает мегрельское колебание *čils* ~ *čirs*, *čilk* ~ *čirk*, о чем см. выше. Заимствования и, в особенности, книжный греко-латинский вклад сохраняет свои *л* в исправности, например, *filolog*. Так как основной источник румынского языка — вульгарная латынь — принадлежит к языкам, различающим *л* и *г* в любой позиции, перед нами либо проявление субстрата, видоизмененного латыни в румынский язык, либо следы какого-то периода в истории уже сложившегося румынского языка, когда ускорение темпа

речи сочеталось с ее небрежностью в артикуляторном отношении ³².

После наших типологических сравнений становится ясно, что мегрельский и чанский языки пережили какой-то период своей истории, аналогичный тому, что происходило в истории румынского языка. Дальнейшие исследования, производимые специалистами в каждой отдельной области, приведут нас к разгадке причины интересующего нас явления, формальную сторону которого мы пытались осветить.

Б. Грузинское *-r-* // мегрело-чанское *-nʒ-*

1. Описания явления и примеры

Как в предыдущем, так и в этом явлении интервокальная позиция играет господствующую роль; неподходящие случаи вызваны какими-либо переменами в слогоразделе слова. Кроме того, для картвельских языков следует особо учитывать возможность восприятия сочетаний типа *tk*, *kv* и т. п. за одну цельную фонему, как о том говорилось уже в этюде I, § 3, где приведены примеры блуждающего сонорного согласного в мегрельском языке.

Если не во всех, то во многих случаях замечено, что грузинскому интервокальному *-r-* соответствует в мегрельском и чанском языках *-nʒ-* или его замены ^{56*}, как видно из нижеследующих примеров:

груз. <i>beri</i> ~	м.-чан. <i>badi</i> «старик» (по-мегрельски обычно <i>badidi</i>)
<i>ceri</i> ~	<i>čanʒi</i> «большой палец»
<i>cxviri</i> ~	<i>čxvindi</i> «нос»
<i>cxveri</i> ~	<i>cxvanʒi</i> ~ <i>cxvandi</i> «верхушка» (дат. п. <i>cxvans</i> ~ <i>cxvanc</i>)
<i>čuri</i> ~	<i>čkuʒi</i> ~ <i>čkudi</i> «сосуд, кувшин» (дат. п. <i>čkud</i>)
<i>kmari</i> ~	<i>komonʒi</i> ~ <i>kotoʒi</i> «муж» (дат. п. <i>komons</i>)
<i>marčvi</i> ~	<i>mučkvi</i> ~ <i>mučkvi</i> «барсук»
<i>m-čari</i> ~	<i>čanʒi</i> ~ <i>čandi</i> «муха» (арм. <i>čanʒ</i> → <i>čanč</i>)
<i>mxari</i> ~	<i>mxuʒi</i> ~ <i>pxuʒi</i> «плечо»
<i>piri</i> ~	<i>piʒi</i> «рот» (дат. п. <i>pis</i> ~ <i>pic</i>)
<i>xari</i> ~	<i>xoʒi</i> «бык» (дат. п. <i>xos</i> ~ <i>xoč</i>)
<i>zamtari</i> ~	<i>zotonʒi</i> ~ <i>zotoni</i> «зима» (дат. п. <i>zotons</i>)
<i>ʒiri</i> ~	<i>ʒinʒi</i> ~ <i>ʒini</i> «дно, корень» (дат. п. <i>ʒins</i> ~ <i>ʒinc</i>)

В большинстве случаев чанский язык имеет формы уже без *-n-*, хотя кое-где исследователи наталкивались на архаизмы с *-n-* (так, у Ачаряна ^{57*} «нос» *čxvinʒi*). В мегрельском языке чередуются формы и с *-n-* и без него но, конечно, не у каждого слова. Мегрельские варианты с *-n-* без далее следующего согласного получаются в дательном падеже на *-s* вследствие скопления переднеязычных согласных, каковое обычно упрощается так, что конечное *-d* или *-ʒ* основы гибнет; особенно показателен пример «зима», дательный падеж которого *zotons* употребляется в качестве наречия, «зимой», и благодаря этому в сознании говорящих доминирует основа *zoton*. Особенность проявляет и пример «барсук»: здесь грузинскому *-r-* соответствует нестойкое *-n-*, но позиция не интервокальна (даже с оговоркой относительно *čv//čkv!*) и полное соответствие *-n-* (или *-nd*) невозможно.

Приведем еще несколько примеров, подходящих к интересующему нас вопросу лишь с какой-нибудь одной стороны, но дающих возможность

³² Быстрая и вместе с тем небрежная речь очень интенсивно содействует ротацизму, но и здесь, как и в других фонетических процессах, размах явления может быть весьма различен. В латыни ротацизм поражает своей регулярностью, хотя он, конечно, связан с определенным периодом в истории языка, между тем как в сербском языке он охватывает лишь единичные случаи — *боре, море*, вместо *боже, може* (но эти словечки как раз и нестрай в речи).

более широкого освещения. Именно: сочетание *-nd-* или *-nž-* может появиться в мегрельском языке и в тех случаях, когда по-грузински не *-r-*. Так, «зять» — груз. *size* || мегр. *sinža* ~ *sinda* показывает, что чередование *nž* ~ *nd* может происходить и безотносительно к изучаемому нами соответствию, так как грузинская форма содержит не *-r-*, а *-ž-*, каковому по-мегрельски закономерно отвечает *-ž-*. «Перстень, печать» — груз. *be* — *čedi*, мегр. *marçkindi*, чан. *ma-çkindi* показывает сочетание *-nd-*, получившееся в силу блуждающей назализации перед *-d-*, но в таких случаях, вероятно, не бывает *-ž-*. Наряду с формами *žgižgiṭia* ~ *çkiçkiṭia*, употребляющимися по-мегрельски соответственно груз. *žinčveli* || *čiančvela* «муравей», сообщают еще форму мегр. *žgəžgəndu*³³, которая показывает *-nd-* для груз. *-l-*; последнее по-мегрельски должно было бы отобразиться через *r* — согласно предыдущей части этого этюда. Еще более любопытным примером является «лук (орудие)» — груз. *švildi* ~ *mšvildi* || мегр. *škvoli* ~ *škvindi*; здесь мегр. *-l-* удержалось от перехода в *-r-* благодаря сочетанию *ld*, что напоминает приводившееся выше румынское отражение вульгарно-латинского гемината *-ll-* через *-l-*, но вариант *-nd-* мог бы восходить и к *-*r-* и к *-*l-* — судя по предыдущему примеру «муравей», хотя больше вероятия за удержание уже наличного в грузинском конечного *-d-* основы.

2. Объяснение явления

Необычность соответствия *-r-* одного родственного языка *-nž-* других родственных языков представляет трудность для объяснения лишь до тех пор, пока мы не сопоставим два явления: блуждающую назализацию (см. наш I этюд) и пермутацию согласных (см. наш II этюд). Стечение обоих явлений в одном языке дает столь необычное соответствие. Не случайно, что интересующее нас соответствие появилось в языках, изобилующих блуждающей назализацией, но не случайно и то обстоятельство, что предполагаемое стечение согласных **nr*, которого картвельские языки не удерживают, дало пермутацию *nž* ~ *nd*, так как и пермутация в этих языках распространенное явление — вспомним хотя бы постоянное колебание окончания одного из дательных падежей *-s* ~ *-c* после носового или *l* || *r*. Это *-c*, свойственное главным образом самурзакано-зугдидскому говору мегрельского языка, объясняется, конечно, не «подъемом»³⁴, а пермутацией например, *žami* «время» → *žams* → *žans* → *žanc* «когда».

Колебание в звуке переднеязычного сочетания — зубное *nd* или передненебное *nž* — вызвано, очевидно, противоречием обычных точек артикуляции обоих слагаемых: картвельское *n* зубное, а *r* передненебное. Поэтому, при победе зубного начала, получается *nd*, а при победе подъема кончика языка к переднему небу получается *nž*. Возможно, что оба варианта принадлежали когда-то разным говорам, но смешение говоров привело к колебанию вариантов. Что касается блуждания *n*, это явление широкого распространения и объясняется несемантической фонетических «наростов» по крайней мере в известный период развития языка³⁵.

³³ И. И. Мещанинов. Пособие к пользованию яфетидологическими работами. Л., 1931, с. 18.

³⁴ И. Кипшидзе. Грамматика мингрельского (иверского) языка с хрестоматией и словарем. СПб., 1914, с. 024.

³⁵ Характерно, что академическая азбука 1888 г. рассматривала мегрельское произношение сочетания *nž* как один цельный звук — носовой звонкий шипящий аффрикат ζ .

Вдобавок это явление спорадично и поэтому охватывает не все возможные случаи, а только часть их. Почему именно одни случаи подвергаются изменению, а другие нет, это дело специалистов по данным конкретным языкам. Пишущий эти строки не располагает ни нужными для этого материалами, ни нужной для этого подготовкой.

КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

- 1*. Хауса — язык входит в западную группу чадской ветви афразийских (семито-хамитских языков). См.: *Дьяконов И. М.* Семитохамитские языки. М., 1965. С. 9—12; *Смирнова И. А.* Язык хауса. М., 1960; *Diakonoff I. M.* Afrasiatic languages. M., 1988.
- 2*. Нивхский (гиляцкий) — иначе: гилякский, входит в сибирскую группу палеоазиатских языков. Основные работы: *Крейнович Е. А.* Фонетика нивхского языка. М.; Л., 1937; *Крейнович Е. А.* Нивхский (гиляцкий) язык // Языки и письменность народов Севера. Ч. III. М.; Л., 1934; *Панфилов В. З.* Грамматика нивхского языка. Ч. 1: Фонетическое введение и морфология именных частей речи. М.; Л., 1962; Ч. 2: Глагол, наречие, образные слова, междометия, служебные слова М.; Л., 1965; *Jakobson R.* Notes on Gilyak // The Bull. of the Institute of history and philology (of the Academia Sinica). 1958. V. XXIX; *Jakobson R.* Selected writings. V. II: Word and language. The Hague; Paris, 1971.
- 3*. Фуль — язык фула входит в западноатлантическую группу нигеро-конголезской или — конго-кордофанской семьи языков Африки. См. специальную работу: *Коваль А. И., Зубко Т. В.* Язык фула. М., 1986; по фонетике этой группы языков: *Подняков К. И.* Развитие систем консонантных чередований в языках манде и в атлантических языках // Африканское историческое языковедение. М., 1987. С. 397 и сл.
Здесь и далее Н. В. Юшманов приводит материалы и примеры из африканских языков, из источников и работ своего и более раннего времени. В связи с этим следует отметить, что в их передаче и транскрипции возможны неточности, в частности не отмечены долготы гласных и согласных в примерах из языка фула и некоторых других. Однако в целом эти неточности нерелевантны для авторской интерпретации материала и не подрывают концепцию.
- 4*. Суто-чуана — в современном названии «сото-чвана» относится к подгруппе сото юго-восточной группы языков банту (Африканское языковедение. М., 1963. С. 418; далее — Африканское языковедение).
- 5*. Сб. «Africana». Т. I. М.; Л., 1937.
- 6*. Работа Н. В. Юшманова «Семито-хамито-яфетические скатогортанные» вышла в XI томе «Язык и мышление», М.; Л., 1948. С. 395—405 (посмертно).
- 7*. Сб. «Памяти Н. Я. Марра». М.; Л., 1939.
- 8*. *Mischlich A.* Lehrbuch der hausanischen Sprache (Hausa-Sprache). B., 1902; Wörterbuch der Hausa-Sprache. B., 1906.
- 9*. *Bargery G. P.* A Hausa-English dictionary and English-Hausa vocabulary. Oxford, 1934.
- 10*. «Значок Lepsius'a» — Charles-Richard Lepsius (1810—1884) — египтолог немецкого происхождения. Относительно его фонетической системы см.: *Зиндер Л. Р.* Общая фонетика. 1960. С. 323. § 292.
- 11*. *Klingenheben A.* Die Silbenauslautgesetze des Hausa // Z. für Eingeborenen Sprachen. 1928. Bd XVIII. № 4.
- 12*. *Prietze R.* Die Mädchen von Gaia // MSOS. 1926.
- 13*. По вопросу о геминатах в семитских языках и их диссимиляции см. также более поздние работы: *Spitaler A.* Zur Frage der Geminatendissimilation im Semitischen // Z. für Indogermanische Forschungen. 1954. 61; *Cantineau J.* Études de linguistique arabe. P., 1960. P. 189—190, 195—198; *Kurylowicz J.* L'apophonie en sémitique. Wrocław; Warszawa; Krakow, 1961. P. 44—47. § 57—61. *Mc. Carthy J. J.* OCP effects: Geminata and antigeminata // Ling. inquiry. 1986. V. 17. № 2. См. также по хауса: *Carnochan J.* Geminata in Hausa // Studies in linguistic analysis. Special volume of the Philological Society. Oxford, 1957.
- 14*. Новые работы по грузинскому и картвельским см. в комментариях к III разделу.
- 15*. «По терминологии И. А. Бодуэна де Куртене — кинема...» — И. А. Бодуэн де Куртене (1845—1929). Основные работы ученого представлены в: *Бодуэн де Куртене И. А.* Избранные произведения. Т. 1—2. М. 1963; о нем: *Леонтьев А. А.* Общелингвистические взгляды И. А. Бодуэна де Куртене: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1963; *Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В.*

Очерки по истории лингвистики. М., 1975. Гл. 7. I. С. 481 и сл.; *Шараденниде Т. С.* Лингвистическая теория И. А. Бодуэна де Куртенэ и ее место в языковедении XIX—XX вв. М., 1980.

- 16*. О чередовании согласных в языке фула см. исследование, подводящее итог к настоящему времени: *Коваль А. И., Зубко Г. В.* Язык фула. М., 1986. С. 20—26; также указ. соч. К. И. Позднякова, с. 397—425.
- 17*. Анализ явления пермутации согласных в группе атлантических языков в функциональном и диахроническом планах проведен в последние годы отечественными африканистами (см. «Язык фула», с. 22; указ. соч. К. И. Позднякова, с. 357—457) и позволяет дать чередованиям начальных корневых согласных историческое объяснение.
- 18*. В. А. Богородицкий (1857—1941) — о нем см.: *Березин Ф. М.* Некоторые проблемы общего языковедения (относительная хронология и морфологические процессы) в лингвистическом наследии В. А. Богородицкого: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1961; Очерки по истории лингвистики. М., 1975. Гл. 6. IV. С. 455 и сл.; *Андрамонова Н. А., Байрамова Л. К.* В. А. Богородицкий. Казань, 1981.
- 19*. «Относительно аффрикатов...» — экспериментальная характеристика аффрикаты дается в книге: *Зиндер Л. Р.* Общая фонетика. Л., 1960. С. 141—142. § 130.
- 20*. «Где есть пары $f \sim p$, $v \sim b$. можно смело сказать, что исходное произношение f , v было губно-губным...». Ср. результаты исследования К. И. Позднякова по языкам банту — указ. соч., с. 422—425.
- 21*. «...пермутация есть один из путей передачи функции отмирающей морфемы остающимся морфемам» — к аналогичному выводу приходят авторы работы «Язык фула», с. 22.
- 22*. «...в туарегском языке...» — в современном афразийском языковедении классификация берберских (по новой классификации — ливийско-гуанчских) языков выделяет южную, или туарегскую, группу языков, которая распадается на две подгруппы: севернотуарегскую: гхат, аир, ахаггар; южнотуарегскую: тауллемет, танеслемт. Вопросы генетической классификации берберских (ливийско-гуанчских) языков и места в них туарегских рассматриваются в подготовленных к печати работах: «Ливийско-гуанчские языки» (А. Ю. Айхенвальд, А. Ю. Милитарев) и «Туареги на Канарах» (А. Ю. Милитарев). Лексема *abarad* — из языка ахаггар, в языке гхат *abarad* (СИСАЯ. I. № 106. С. 87); лексема *tamašeq* — общеюжнотуарегская; *amɣar/tamɣart* «старик/старуха» — общеберберская; *awaqqas* в форме *wəqqas* отмечен в диалекте аир как «дикий зверь» (см.: *Hobeid Alojaly.* Lexique touareg-français. Copenhagen, 1980).
23. «...Суахели в Восточной Африке» — язык суахили входит в восточную группу языков банту (Африканское языковедение, с. 418); см. также о языке суахили: *Мячина Е. Н.* Язык суахили. М., 1960.
- 24*. О пермутации согласных в фула, связанной с классными показателями, см. также: *Коваль А. И., Зубко Г. В.*, указ. соч., с. 86—87.
- 25*. *Storbeck F.* Metoula-Sprachführer der Ful-Sprache (Dialekt von Adamana). В., 1919—1920.
- 26*. «...основанном на адамовском диалекте...» — диалект адамауа входит в группу восточных диалектов фула, распространен в Северном Камеруне и прилегающих районах Нигерии.
- 27*. О чередовании согласных в языке фула в неначальной позиции см. также: *Коваль А. И., Зубко Г. В.*, указ. соч., с. 23—26.
- 28*. «Язык ваи (западно-суданская группа манде)...» — язык ваи(вай) входит в группу языков манде-тан (Африканское языковедение, с. 419); относительно консонантных чередований в языках манде см. также указ. соч. К. И. Позднякова, с. 358 и сл.
- 29*. Шренк — Леопольд Ив. Шренк (1826—1894), русский этнограф и натуралист, директор Музея антропологии и этнографии в Петербурге (1879—1894). Его публикации в материалах экспедиции на Амур и Сахалин: «Об инородцах Амурского края». Т. 1—3. СПб., 1883—1903;
- 30*. Штернберг — Лев Яковлевич (1861—1927). Советский этнограф, чл.-корр. АН СССР. Публикации: Гиляки, орочи, гольды, нигедалцы, айны. Хабаровск, 1933; Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936. О нем см.: Памяти Л. Я. Штернберга. 1861—1927. Л., 1930.
- 31*. *Д. В. Бубрих.* Звуки и формы эрзянской речи (по говору с. Козловки). М., 1930. С. 17. Сам Д. В. Бубрих интерпретирует эти примеры как результат позиционных чередований. Д. В. Бубрих (1890—1949), о нем: *Керт Г. М.* Дмитрий Владимирович Бубрих. 1890—1949. Очерк жизни и деятельности. Л., 1975. О фонетических корреляциях в мордовском см. также: *Трубецкой Н. С.* Мордовская фонологическая система в сравнении с русской (1932 г.) // Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 63—66. О чередованиях в мордовском как диалектном

- явлении см. также: *Ермушкин Г. И.* Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам (эрзя-мордовский язык). М., 1984. С. 64—65.
- 32*. «...в южноарабском наречии мехри...» — язык мехри (с диалектом харсуси), равно как и языки шахри (шхаури), джиббали сохранились на юге Аравийского полуострова. Вместе с языком сокотри (остров Сокотра) классифицируются в настоящее время не как диалекты южноарабского (эпиграфического) языка, но как самостоятельная южносемитская ветвь языков. См. подробнее: *Милитарев А. Ю.* Современное сравнительно-историческое афразийское языкознание: что оно может дать исторической науке? // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тез. и докл. конференции. Ч. 3. М., 1984. С. 7; Приложение. С. 44.
- 33*. ...гурма... — языки гурма включаются в группу гур центральнобантоидных языков (Африканское языкознание, с. 419).
- 34*. «в берберских языках *a*- (муж. р. ед. ч.), *i*- (муж. р. мн. ч.), *ta*- (жен. р. ед. ч.), *ti*- (жен. р. мн. ч.)». О значении указанных префиксов см. в общих работах по берберским языкам: *Завадовский Ю. Н.* Берберский язык. М., 1967. С. 34—42; *Basset A.* La langue berbère // Handbook of African languages. Pt 1. London; New York; Toronto, 1952; *Picard A.* Les parlers berbères. Initiation à l'Algérie. P., 1957; *Basset A.* Sur la voyelle initiale en berbère // *Basset A.* Articles de dialectologie berbère. P., 1959. P. 86.
- 35*. Л. Я. Штернберг — см. примеч. 30*.
- 36*. «Кавказовед Brosset» — Brosset Marie-Felicité (1802—1880) — Марий Иванович Броссе — ориенталист-лингвист и историк. С 1830 г. — в Академии Наук Петербурга, с 1864 — директор нумизматического кабинета в Эрмитаже. Имеет работы по грузинской и армянской историографии. О нем: *Март Н. Я.* К столетию со дня рождения М. Броссе // ЗВО РАО. Т. 14. Вып. 4. СПб., 1902.
- 37*. «Стадию с одним плавным...» — судя по примерам, имеется в виду фонемный статус плавного, но не его фонетическая реализация.
- 38*. *Karlgren — Bernhard Karlgren* (1889—1979), шведский ориенталист. См. его «Analytic dictionary of Chinese and Sino-Japanese, and Dictionary of Chinese dialects». Göteborg [б. г.].
- 39*. *Lessing — Ferdinand Lessing*, шведский ориенталист-этнограф, участник китайско-шведской научной экспедиции в северо-западные провинции Китая и Центральной Азии. Автор ряда работ по религиям и этнографии этих регионов, в том числе: *Lessing F., Othmer W.* Lehrgang der nordchinesischen Umgangssprache. Tsingtau, 1912; их же: Manual of the Mandarin language. Shanghai, 1914.
- 40*. *Hirth — Friedrich Hirth* (1845—1927), немецкий ориенталист-этнограф, специалист по языкам, искусству и культуре Дальнего Востока и Центральной Азии. См. о нем: Festschrift für Friedrich Hirth zu seinem 75. Geburtstag. B., 1920; *Hirth Anniversary volume. L., 1923.*
- 41*. *Wade — Thomas Francis Wade* (1818—1895) — английский дипломат и китаевед, автор системы романизации китайского языка (Wade-Giles system), из его работ: *Peking Syllabary* (1859).
- 42*. *Couvreux — F. S. Couvreux* (1835—1919), французский ориенталист; см. более позднюю его работу: *Couvreux F. S.* Dictionnaire classique de la langue chinoise. Peiping, 1947.
- 43*. *Vissière — A. Vissière.* Premières leçons de chinois. Langue mandarine de Pekin. 2 éd., rev. et augm. Leide, 1914.
- 44*. Палладий — Архимандрит Палладий — русский ученый-китаевед П. И. Кафаров (1817—1878). Из его работ: *Архимандрит Палладий и Попов П. С.* Китайско-русский словарь. Пекин, 1888. Т. 1—2; *Архимандрит Палладий.* Старинные следы христианства в Китае по китайским источникам // Восточный сборник. Т. 1. СПб., 1877. О нем см.: *Скачков П. Е.* Библиография Китая. М., 1960.
- 45*. Язык зулу — юго-восточная группа языков банту. См.: *Охотина Н. В.* Язык зулу. М., 1961.
- 46*. Самоанский язык — входит в западную подгруппу полинезийских языков. См.: *Аракин В. Д.* Самоанский язык. М., 1973.
- 47*. Египетский, см.: *Коростовцев М. А.* Египетский язык. М., 1961; его же. Введение в египетскую филологию. М., 1963 и соответствующую библиографию, приводимую в указанных работах.
- 48*. Ведийский санскрит, см.: *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* Санскрит. М., 1960; о ведийском санскрите см. указ. соч., с. 23; также: *Елизаренкова Т. Я.* Ведийский язык. М., 1987.
- 49*. Зендский (уст.) — язык перевода «Авесты», называемого «Зенд», который распространялся на название собственно языка «Авесты», называемого в настоящее время авестийским. См.: *Соколов С. Н.* Авестийский язык. М., 1961.

- 50*. О японском языке см.: *Сыромятников Н. А.* Древнеяпонский язык. М., 1972.; *его же*: Классический японский язык. М., 1983.
- 51*. Готтентотский язык — включается в группу палеоафриканских языков.
- 52*. Язык маори входит в восточную группу полинезийской ветви австронезийской языковой семьи. См.: *Крупа В.* Язык маори. М., 1967.
- 53*. Язык таити входит в восточную группу полинезийских языков. См.: *Аракин В. Д.* Таитянский язык. М., 1981.
- 54*. Корейский язык — см.: *Холодович А. А.* Очерк грамматики корейского языка. М., 1954; *Мазур Ю. Н.* Корейский язык. М., 1960.

Белова А. Г.

ПРИМЕЧАНИЯ К РАЗДЕЛУ «ОСОБЕННОСТИ СООТВЕТСТВИЙ ПЛАВНЫХ СОГЛАСНЫХ»

- 5*. Соответствие груз. *sqali* ~ мегр.-чан. *sqari* «вода» — загадочное в картвельской этимологии, так как в нем не выполняется одно из самых надежных звукосоответствий: груз. *-a-* ~ мегр.-чан. *-o-* (пракартвельское **a*), см. об этом: *Климов Г. А.* Этимологический словарь картвельских языков, М., 1964. С. 159—160. Точка зрения Н. Я. Марра, А. С. Чикобава и Н. В. Юшманова о «заимствовании» или «гибридизации» вряд ли приемлема ввиду того, что речь идет о важнейшем элементе исконной лексики. Г. И. Мачавариани попытался опровергнуть это сопоставление, предложив в качестве мегрельской параллели грузинскому слову не *sqari*, а *sqi* «источник, родник» (см.: *Мачавариани Г. И.* Общекартвельская консонантная система. Тбилиси, 1965. С. 91 (на груз. яз.), см. также: *Fähnrich H.* Kartvelischer Wortschatz III // *Georgica*. 1985. Hf. 8. S. 28).
- Здесь и ниже Н. В. Юшманов считает отклонением от регулярных звукосоответствий соотношение груз. свистящие — мегр.-чан. свистящие. Однако в начале 60-х годов была продемонстрирована их полная регулярность, см.: *Мачавариани Г. И.* О трех рядах сибиллянтных спирантов и аффрикат в картвельских языках // XXV Международный конгресс востоковедов: Докл. делегации СССР. М., 1960.
- 56*. О соответствии груз. *r* — мегр.-чан. *-nʒ/-d-* перед *i* см., например: *Рогавя Г. В.* Из области звукосоответствий в картвельских языках: *r-ʒ* // Вопросы структуры картвельских языков. I. Тбилиси, 1959 (на груз. яз.).
- 57*. Ачарян — Г. А. Ачарян (1876—1953). Имеется в виду работа: *Adjarian H.* Étude sur la langue laze // *MSLP*. 1899. T. X. Fasc. 2—3, 5—6.

Тестелец Я. Г.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ГЛК В. Г.

К ТИПОЛОГИИ ФОРМ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ

В последние десятилетия во многих странах мира с новой остротой встали вопросы языкового строительства. Они ныне актуальны не только в странах «третьего мира», которым после освобождения пришлось заняться выбором языков общегосударственного общения, разработкой литературной нормы языков народов, входящих в состав этих государств. Они чрезвычайно обострились и в ряде «старых» стран Европы и Америки. Когда-нибудь историки, социологи, лингвисты, изучающие эти процессы, раскроют факторы, лежащие в их основе, но нельзя не отметить, что, например, в Западной Европе тенденции к экономической и политической интеграции парадоксальным образом сочетаются с тенденциями к культурно-языковой диверсификации. За последние десять лет оформилась фламандско-валлонская федерация внутри Бельгии, утвердилась национальная автономия Галисии, Каталонии и Страны Басков в Испании, вновь ожили казалось бы окончательно «придавленные» языки этнических меньшинств Великобритании, Франции и других стран.

Существенную роль в актуализации языковых проблем во всем мире сыграло расширение демократических и гуманистических воззрений. Становится все более очевидно для всех, что каждый язык представляет собой общественное и общечеловеческое богатство, неповторимое в своей индивидуальности. Люди стали больше заботиться о сохранении этого богатства. Гуманистические взгляды привели к утверждению того, что французы называют *le droit à la différence*, т. е. «право на различие», право быть не такими, как другие, право говорить на своем языке, жить в соответствии с традициями своей культуры.

Вопросы языковой политики и языкового строительства активно разрабатывались в СССР в первые годы Советской власти, когда возникла необходимость создания алфавитов и литературных норм для многих языков нашей страны. Но не все аспекты этой многоплановой проблематики получали у нас равномерное освещение. Между тем становится все более очевидным, что проблематика, связанная с языковым строительством, все больше оформляется в особый раздел языкознания (а именно социолингвистики) со своими универсалиями и фреквенталиями, со своими закономерностями и импликациями.

В последнее время за рубежом вышел в свет целый ряд трудов, посвященных этой проблематике, представляющих несомненный теоретический и информационный интерес. В частности, парижское издательство «Робер» выпускает серию коллективных монографий по различным, но связанным между собой аспектам социолингвистики. В этой серии, подготавливаемой канадским Советом французского языка, уже вышли монографии [1—3].

Мы рассмотрим проблемы языкового строительства (*aménagement linguistique* «обустройство языка») на материале последней книги, составителем и редактором которой является Ж. Морэ. Помимо предисловия, написанного Дж. Фишманом, эта книга содержит 12 статей, сопровождаемых обширной библиографией. Первая и две заключительных статьи посвящены общим проблемам языкового строительства: «Языковое обустройство» (Д. Дауст и Ж. Морэ); «О языковых проблемах» (Б. Эрнудд); «О сравнительном языковом обустройстве» (Ж.-К. Корбей). Глава «Литературный язык и языковая культура: разработка и приложение теорий пражской школы», написанная Ф. Данешем, касается общих вопросов литературной нормы. В остальных восьми статьях рассматривается ситуация в одной из стран, преимущественно с точки зрения языка, нуждающегося в защите или в регулировании: «Нидерландский язык в Бельгии» (К. Депрез); «Языковое обустройство в Каталонии» в XX в.» (А. Бастардас Боада); «Языковое обустройство в Эускади» (К. Ротаэче); «Шведский язык в Финляндии» (К. Лаугрен); «Обустройство современного иврита» (М. Нахир); «Комиссия защиты испанского языка в Мексике» (Л. Лара); «Квебекский опыт языкового обустройства» (Ж. Морэ); «Языковая политика и языковое обустройство в Югославии» (Р. Бугарски).

Языковое строительство имеет два аспекта: формирование норм литературного языка и определение функций языка в обществе. В данном случае нас интересует второй аспект, и мы не будем останавливаться на статьях Лары, Нахира, Данеша, касающихся первой стороны проблемы. Кратко изложив содержание статей и проблематику каждого из рассматриваемых языков, в заключение мы попытаемся обобщить опыт решения каждой проблемы, связанной с обустройством языков. В монографии рассматриваются преимущественно проблемы языковой ситуации в экономически развитых странах (только в статье Эрнудда речь идет о развивающихся странах). Нельзя не заметить, что во всех статьях авторы ничего не говорят об исследуемых языках как об орудиях культуры, литературы и т. п. Это не случайно. Художественная литература является высшей формой использования языка, она показывает его возможности, способствует его обогащению, но не она решает судьбу языка в обществе. В истории было немало примеров, когда на каком-либо языке создавались выдающиеся художественные произведения, но сам этот язык умирал. Выживание и развитие языка обеспечивается его использованием в трех других сферах: в быту, в преподавании и в общественной жизни (прежде всего в сфере администрации и на производстве). Язык отмирает, если он перестает быть средством общения в семье. Он беднеет и не развивается и в конце концов тоже отмирает, если не используется как язык преподавания в школе и в общении людей.

*

В статье Д. Дауста и Ж. Морэ разбирается система терминов и понятий, относящихся к языковой политике. Авторы считают, что невозможно разработать типологию «языковых политик», т. е. положение в каждой стране представляет собой особый случай («un cas d'espèce»).

Основываясь на работах У. Вайнрайха, Э. Хауген ввел в 1959 г. термин «языковое планирование» (*language planning*). Этот термин, вначале несколько расплывчатый, покрывавший и такие понятия, как норма языка, культура языка, языковая эстетика, был далее Хаугеном уточнен. Он предложил опыт типологии языковых проблем, различая: а) выбор нормы, б) кодификацию нормы, в) внедрение нормы в языковое сообщество,

г) приспособление языка к выполнению им новых функций. Добавим от себя, что всякий раз, когда в науке возникает новый перспективный термин-понятие, появляются четыре возможности его разработки: а) он уточняется, получая более дробные подразделения, б) он включается в более широкое понятие, в) он используется в иной, смежной науке, г) у него появляются синонимы, несколько модифицирующие первоначальное понятие. Исторический обзор в статье показывает, что термин «языковое планирование» претерпел все эти четыре типа «обработки».

Анализируя более поздние работы Дж. Рубина и Я. Неуступного, авторы показывают, как формировалось основное противопоставление внутри понятия «языковое планирование», наиболее четко сформулированное Х. Клоссом (1969 г.), который предложил различать «corpus planning» и «status planning». Первое понятие касалось внутренней разработки языка (фиксация нормы, развитие терминологии, упорядочение орфографии и т. п.), второе — положения языка в обществе, в его соотносительности с другими языками в данном обществе. В 1983 г. Хауген предложил более подробную детализацию понятия «языковое планирование» в соответствии с двумя параметрами: форма — функция и общество — язык.

Если Хауген искал внутренние подразделения в понятии «языковое планирование», то Неуступный, напротив, предлагал включить его в более широкое понятие «обработка языка» (language treatment). В последние годы понятие языкового планирования стали связывать с социополитическими проблемами. Оно рассматривается как средство разрешения социальных, экономических и политических проблем через посредство языка, используется в социологии.

И наконец, наряду с этим термином стали употреблять синонимические обозначения. Во Франции был предложен термин «языковое обустройство» (aménagement linguistique), каталонские ученые ввели в обиход термин «языковая нормализация». Авторы статьи полагают, что синонимы эти — неполные, в «языковом планировании» они усматривают отрицательную коннотацию, поскольку оно слишком подчеркивает вмешательство официальных органов.

Во всех этих рассуждениях просвечивает обычный для западных авторов своеобразный англосаксонский «научный империализм»: новизна понятия в науке определяется временем его первого упоминания в американских или английских работах. Между тем сходное понятие «языковое строительство» является традиционным в советском языкознании. (Авторы статьи указывают на использование этого термина Ю. Д. Дешериевым в 1983 г.) Во французской лингвистике применялся также термин «глотно-политика» (Геспен и Марселлези), «языковое регулирование» (Корбей в Канаде). Однако все авторы книги употребляют термин «языковое обустройство», которым мы и будем пользоваться далее.

Проблема языкового обустройства возникает всякий раз, когда на одной территории сосуществуют разные языки или варианты языка. В этом случае имеет место «языковая подвижность» — переход групп населения от одного языка к другому. (В статье излагаются различные методики определения степени языковой подвижности, разработанные канадскими лингвистами.) В условиях многоязычия языковая подвижность — неизбежное явление, и в конечном счете оно может привести к смене языка через одно поколение. Вслед за А. Мартине авторы полагают, что двуязычие вообще представляет собой неустойчивое состояние, рано или поздно оно ведет к «глотнофагии» — поглощению одного языка другим. Они сочувственно цитируют французских лингвистов Р. Балибар и Д. Лапорта, подчерки-

вавших, что вытеснение языков меньшинств соответствует материальной потребности капиталистического класса иметь единообразную языковую практику для организации производства. К этому можно добавить, что в абсолютном языковом единстве заинтересована и любая бюрократия.

В статье излагается также эволюция понятий билингвизма и диглоссии за последние 60 лет. Для обозначения языков в условиях диглоссии предлагались различные термины: «высокий / низкий», «престижный / непристижный», «доминирующий / подчиненный» и др. В дальнейшем изложении мы будем пользоваться парой «мажоритарный / миноритарный язык», понимая эти термины не в количественном, но именно в функциональном аспекте: например, в нынешней Бельгии фламандцы составляют большинство, но их язык является миноритарным по отношению к французскому.

Диглоссия приводит к неполноте функций миноритарного языка, что отражается и на его внутренней структуре, т. к., например, целые слои лексики в нем не образуются или выпадают из употребления. Ее социопсихологическим следствием нередко оказывается языковое отчуждение, подробно исследуемое зарубежными лингвистами. Последнее заключается в том, что человек, не имеющий возможности полноценно пользоваться родным языком и не усвоивший полностью мажоритарный язык, фактически оказывается без средства общения и выпадает из числа активных членов общества. Поэтому у носителей миноритарного языка может возникнуть стремление перейти полностью на мажоритарный язык, у некоторых развивается то, что американские лингвисты называют «self-hatred» («самоненависть»), т. е. презрение и ненависть к родному языку. В условиях двуязычия миноритарный язык всегда может оказаться на пути к исчезновению, и предотвратить этот процесс можно только с помощью целенаправленных действий, составляющих часть языкового обустройства. Выделяются два основных средства такого обустройства: законодательные акты правительственных органов и деятельность общественных или частных организаций. Наиболее важны, естественно, законодательные акты разных уровней, регулирующие употребление языков в данном обществе.

Языковое законодательство существует уже много веков. В Европе одним из первых актов в языковой области было постановление Турского собора 813 г. о чтении проповедей на народных языках вместо латыни. До XIX в. в разных странах принимались законы в пользу мажоритарного языка. Со второй половины XIX в. начинают издаваться законы, ограждавшие миноритарные языки. Канадский исследователь Дж. Тури установил, что 110 из 147 проанализированных им конституций содержат постановления, касающиеся языка. Законы эти различны: одни исходят из принципа территориальности, другие из принципа личности, одни лишь устанавливают общие принципы, другие подкрепляются административно-юридическим аппаратом. Авторы отмечают еще один тип языковой политики — невмешательство правительственных органов в языковые проблемы, своего рода «либерализм». Они считают, что такое невмешательство по сути дела является прикрытием политики, направленной на создание преимуществ для мажоритарного языка или сохранения ситуации, выгодной для правящих кругов. В качестве примера они приводят США, считая, что отсутствие упоминания об официальном языке в конституции — не случайное упущение, а сознательный акт, имевший целью создание привилегированного положения для английского языка. Даже свободный выбор языка обучения в школе расценивается многими лингвистами как средство закрепления языкового и культурного неравноправия и вытеснения миноритарного языка.

В заключение авторы заявляют, что в настоящем его состоянии языковое обустройство — огромная и разносторонняя практика, но еще не наука. Перейдем к изложению проблем, затрагиваемых в разных статьях книги и касающихся отдельных языков.

*

Статья К. Депреза на материале нидерландского языка в Бельгии показывает пути перехода от диглоссии к уравновешенному билингвизму. Этот процесс занял более столетия. Он был связан с бурными событиями, которые подчас ставили страну на край раскола, да и теперь еще не вполне закончились.

В северной части Бельгии — во Фландрии (57% населения) — господствует нидерландский язык, в южной — в Валлонии (32% населения) — французский, 9,7% жителей сосредоточены в двуязычном Брюсселе, небольшую зону на востоке страны населяют немцы.

В течение всей истории страны, даже до образования Бельгии в 1830 г. лингвистическая граница не совпадала с границами провинций или феодальных владений. В течение веков, особенно в XVI—XVIII вв., происходило офранцуживание фламандских земель. Во время голландского правления (1815—1830) шел обратный процесс нидерландизации, который сменился новой волной офранцуживания после создания бельгийского государства. Французский язык стал безраздельно господствовать во всех сферах общественной жизни, но сразу же возникло движение нидерландоязычных бельгийцев (фламандцев), так что дальнейшая лингвистическая история страны связана с их борьбой за равенство их языка с французским. Положение усугублялось функциональным неравенством языков: в то время как французский язык в XIX в. был одним из важнейших мировых языков, нидерландский во Фландрии мог иметь только местное значение, и даже фламандская буржуазия переходила на французский язык. Франкофонам представлялось естественным, что фламандцы усваивали французский язык, тогда как сами они относились к фламандскому пренебрежительно, не видя пользы для себя в его изучении.

Настойчивая борьба фламандцев за языковое равноправие привела к изданию ряда лингвистических законов. Вообще для Бельгии характерно активное языковое законодательство: за сто лет было издано более дюжины языковых законов, благодаря которым фламандцы от обязательного асимметричного двуязычия перешли к равноправному одноязычию.

Первый закон — 1873 г. — разрешил пользоваться нидерландским языком в судах, далее этот язык был допущен при общении между гражданами и учреждениями: во Фландрии все постановления местной администрации должны были публиковаться на двух языках, в то время как в Валлонии — только на французском (здесь фламандский совсем не использовался). В 1883 г. было введено преподавание на нидерландском языке в государственных школах, в 1900 г. — обязательное знание нидерландского для некоторых должностных лиц (судьи, нотариусы и т. п.), так что Фландрия получила статус двуязычия, но несоблюдение этого закона не влекло за собой никаких санкций.

Тем временем продолжалось офранцуживание Брюсселя, который географически находился на фламандской территории, и пограничных с Фландрией городов. Такое положение вызвало изменение в направлении фламандского движения. Если раньше речь шла о языковых правах индивидуума (право его пользоваться родным языком в суде, в школе

и т. п.), то теперь — о праве всего фламандского сообщества сохранять свой язык, оградить свои этнические интересы. А для этого прежде всего было необходимо установить языковую границу.

Перед страной было две возможности решения вопроса: либо введение общего индивидуального двуязычия по всей стране, либо формирование двойного одноязычия (один язык в каждой области). Развитие пошло по второму пути, в значительной мере потому, что франкоязычные валлоны, настаивая на двуязычии во Фландрии, стремились сохранить одноязычие в Валлонии. Согласно закону 1930 г., Фландрия и Валлония стали одноязычными областями. Даже во Фландрии валлоны, составлявшие в городах до 5% населения, были вынуждены примириться с нидерландским одноязычием. Для Брюсселя и пограничных коммун был установлен двуязычный статус. В дальнейшем новая серия законов закрепила и углубила двойное одноязычие страны: было введено обязательное преподавание на языке области, в Брюсселе родной язык при записи ребенка в школу удостоверялся письменным заявлением главы семьи. В 1930 г. Гентский университет стал чисто нидерландским: французская секция была выведена из него. Так фламандский народ получил возможность формировать высшую интеллектуальную элиту на родном языке. Закон 1935 г. установил, что суд ведется на языке места суда, независимо от языковых знаний тяжущихся, в армии подготовка солдата стала проводиться на его родном языке, тогда как офицеры должны были знать оба языка.

Однако и эти решения не обеспечили полного выживания нидерландского языка: французский как более престижный все время теснил его в пограничных коммунах, тем более что лингвистическая граница должна была пересматриваться по закону через каждые 10 лет. Это не устраивало фламандцев, и по их требованию в 1962 г. языковая граница была установлена навсегда, языковая перепись запрещена, а в некоторых пограничных коммунах и вокруг Брюсселя установлены льготы для языкового меньшинства.

Так фламандцы получили языковое равноправие, которого добивались сто лет. Однако лингвистическая граница стала «межобщинным рвом», две части страны стали отделяться друг от друга, создавать свою обособленную жизнь со своими радио и телевидением, профсоюзы и партии стали делиться по языковому признаку. В конце концов это привело к федерализации страны: во Фландрии и в Валлонии имеются региональные парламенты и правительства, занимающиеся вопросами культуры, медобслуживания, экологии и т. п. Но бельгийцев особенно волнует положение Брюсселя, который остается все еще в основном франкоязычным. Чтобы как-нибудь отрегулировать положение, обе общины отказались от апелляции к численному превосходству: валлоны — в Брюсселе, фламандцы — в масштабе страны. Центральное правительство состоит из равного числа членов от обеих общин, законопроект принимается, если он одобрен квалифицированным большинством каждой области.

Опыт Бельгии показывает важность законодательства в сфере языка, хотя все решить путем подобных законов невозможно. Специфика ситуации в стране состоит в том, что более престижный язык связан с этнической группой, имеющей в настоящее время меньший вес в демографии и экономике страны, так что законы призваны охранять интересы — но различные — обеих групп: языковые интересы фламандцев и политические — валлонов.

Повышение социального статуса нидерландского языка в Бельгии ставит вопрос и о его кодификации. Основная проблема заключается в соот-

ношении его с языком Нидерландов, от которого он отличается как диалектной основой, так и большим французским влиянием. Население стоит перед дилеммой: или усвоение нидерландской нормы как более престижной, или разработка своей, фламандской, соответствующей национальному самосознанию.

Бельгийский опыт указывает еще на две стороны языкового регулирования. Прежде всего, демократизм по отношению к миноритарному языку в целом может оборачиваться антидемократизмом, принудительностью или ограничительными мерами в отношении отдельных граждан. Так, ради сохранения нидерландского языка на его территории ограничивается право франкофонов устраивать там французские школы. Чтобы сдержать процесс офранцузивания Брюсселя, одно время было даже запрещено родителям-фламандцам помещать своих детей в школы с французским языком. Второй вывод, который также нельзя игнорировать, — это большие материальные расходы, связанные с проведением языковой политики. В Брюсселе создание дополнительных дошкольных учреждений с фламандским языком и одновременное открытие новых школьных классов с французским обошлось в полмиллиарда бельгийских франков. Языковое регулирование часто создает «неудобства» для отдельных лиц: приходится изучать другой язык, т. е. многие должности требуют двуязычия, приходится преодолевать национальный эгоизм, чувство «превосходства» своей нации и своего языка и т. п. Но в конечном счете это окупается. Хотя языковые проблемы в Бельгии окончательно не решены (в частности, языковая ситуация в Брюсселе), основное достигнуто: создано социально-политическое равновесие между двумя языками, обеспечивающее сохранение единства страны. Более того, социологи отмечают, что, освободившись от комплекса «языковой неполноценности», фламандцы все больше добровольно обращаются к французскому языку, так что, например, во Фландрии книги на французском языке читаются больше, чем в Валлонии. С другой стороны, расширение сферы функционирования фламандского языка привело к повышению его престижа в глазах франкофонов: в Брюсселе франкоязычные родители иногда отдают детей во фламандские школы. Нормальное развитие событий может привести к тому, как полагает автор статьи, что, освободившись от языковых распрей, франкоязычные и нидерландоязычные бельгийцы станут рассматривать себя как единую нацию с двумя языками, а страна в целом от двойного одноязычия перейдет к сплошному индивидуальному билингвизму.

*

Статья А. Бастардаса Боады посвящена проблемам внешнего и внутреннего обустройства каталанского языка. Десятимиллионное каталаноязычное население распределено между Испанией (96,7%), Францией (3,1%) и Андоррой (0,2%). В самой Испании выделяется четыре зоны каталанского языка: автономная область Каталония (так называемая Женеералитат) охватывает более половины всего каталаноязычного населения, область Валенсия, Балеарские острова и небольшая полоса в провинции Арагон. Каталонский язык дает классический пример того, насколько положение языка зависит от историко-политических событий. Один из самых литературно развитых языков средневековья, официальный язык арагоно-каталонского королевства, он, после объединения Арагона с Кастилией, стал утрачивать свой престиж, а в 1716 г. был введен закон об обязательном употреблении в Каталонии испанского языка. В конце XIX в. начинается возрождение каталанского языка, и в 1907—1923 гг. имеет место первый

период его «обустройства» (создание современной нормы, первые опыты преподавания), который был оборван переворотом Примо де Ривера. Установление Республики в 1931 г. открыло новый этап упорядочения языка: он стал официальным языком восстановленного автономного Жeneralитата. После неудачного восстания в Каталонии в 1934 г. язык снова утратил свои функции, а после поражения Республики в 1939 г. оказался вне закона. Каталонский язык был запрещен, тысячи каталонских книг уничтожены, учителя-каталонцы были выселены за пределы провинции и заменены испанцами. Только в 1946 г. стали появляться новые публикации на каталонском языке, в 1953 г. возобновляется, в робкой форме, обсуждение проблем этого языка. После смерти Франко (1975) развертывается движение за восстановление каталонского языка.

Тем временем в демографической ситуации в Каталонии произошли важные изменения. Особенностью Испании является то, что бесправные в языковом отношении иноэтнические регионы — Каталония и Страна Басков — являлись наиболее развитыми в экономическом плане. В 1960—1975 гг. в связи с экономическим подъемом в Каталонии туда стало прибывать испаноязычное население, которое численно сравнялось с коренным, что привело к дальнейшему вытеснению каталонского языка из публичной сферы общения.

С 1978 г. начался третий этап обустройства каталонского языка. Новая испанская конституция 1978 г. признает при единстве испанского государства право национальностей на автономию, а в языковой сфере — подтверждая обязательность испанского языка для всех граждан, — устанавливает, однако, что другие языки Испании признаются в качестве официальных в соответствующих областях, и провозглашает, что этим языкам будет уделяться особое внимание и оказываться покровительство.

В Положении об автономии Каталонии оба языка объявляются официальными и равноправными на всей территории Жeneralитата. «Закон о языковой нормализации» 1983 г. допускает употребление обоих языков в любых условиях, на любых церемониях; местные законы публикуются на двух языках, в администрации и в суде граждане имеют право пользоваться любым из двух языков. В сфере образования закон предусматривает преподавание во всех школах, независимо от родного языка учащегося, обоих языков с тем, чтобы обеспечить реальное двуязычие.

В области было создано особое, подчиненное Департаменту культуры «Общее управление языковой политикой», три секции которого занимаются кодификацией языка и расширением сфер его использования в обществе. Во многих муниципальных советах создана служба содействия распространению каталонского языка, расширяется инфраструктура, необходимая для восстановления языка в публичном общении (служба перевода, культуры речи, видеотеки, библиотеки и т. п.). В Центральной школе общественной администрации Каталонии осуществляется языковая переподготовка местных чиновников. Представители центральной администрации, работающие в Каталонии, обучаются каталонскому языку. Многие некаталонцы по своей инициативе занимаются на курсах каталонского языка.

Проникновение каталонского языка в сферы, откуда он был ранее вытеснен, потребовало разработки юридической и прочей терминологии, в связи с чем создана целая сеть организаций для планирования развития языка.

В школах допущена полная свобода выбора языка при условии обязательного овладения к концу обучения обоими идиомами. Оба языка

являются и средством обучения, и предметом обучения: нередко одна часть дисциплин читается на одном языке, другая — на другом. Тысячи учителей проходят переподготовку, чтобы получить возможность вести занятия на каталанском языке. Уже 55% школ полностью или частично ведут занятия на этом языке.

Создаются смешанные комиссии, изучающие проблемы постепенной «каталанизации» общественных служб: железных дорог, телефона, аэропортов и т. п. Восстанавливается каталанская топонимия. Согласно закону 1983 г., все государственные предприятия должны оказывать услуги на двух языках. Предпринимаются шаги по внедрению каталанского языка и на частные предприятия, а также по использованию этого языка в ЭВМ. Автор статьи отмечает, что пока каталанский язык представлен главным образом вне производства, в сфере обслуживания (реклама, контакты с клиентами), но на сами предприятия он проникает медленно, особенно на те, что находятся в зависимости от фирм, размещающихся вне Каталонии.

Многочисленные общественные организации ведут борьбу за расширение функций каталанского языка. Автор утверждает, что более 98% населения охвачены этой деятельностью. Она дает известные плоды, прежде всего в моральном плане: каталонское население избавляется от комплекса «самоненависти» к родному языку, склонно к изменению ситуации в пользу этого языка. Изменилось отношение к нему и со стороны иммигрантов, которые, хотя сами и не могут объясняться по-каталански, положительно относятся к тому, чтобы их дети учились этому языку. Иммигранты удовлетворительно осваивают язык пассивно: если в 1975 г. только 25% опрошенных заявили, что не понимают каталанский язык, то через десять лет таковых почти не оказалось. В активном плане прогресс менее ощутим, и общение между каталонцами и иммигрантами осуществляется по-испански, поскольку каталонцы, как правило, двуязычны.

Расширение использования каталанского языка сталкивается с рядом трудностей. Первая заключается в самом характере языкового законодательства, которое не предусматривает обязательных принудительных мер (как, например, законодательство в Бельгии), но рассчитано больше на меры убеждения. Достаточно сказать, что в нем нет положений, касающихся использования языков в афишах, рекламе, в средствах массовой информации, на предприятиях. К этому добавляется непоследовательность самой администрации женеералитата, основным языком которого остается все же испанский. Назначение чиновников по конкурсу в рамках всей страны приводит к приезду новых групп служащих, не владеющих каталанским языком.

Другая трудность состоит в том, что сами каталонцы подчас плохо знают нормы своего языка, которые во многом еще недостаточно выработаны. Взрослое население получило образование еще при режиме Франко, когда каталанский не преподавался в школах, они не владеют письменной формой этого языка. В силу давней традиции каталонцев писать по-испански, а также ввиду большого числа иммигрантов (до 50% населения) в межгрупповой коммуникации преобладает испанский язык.

И, наконец, специфический отпечаток накладывает на ситуацию и близкая родственность двух языков, между которыми может быть установлено спонтанное взаимопонимание. Это, с одной стороны, облегчает усвоение каталанского языка иммигрантами (педагоги советуют, например, для овладения каталанским языком развивать двуязычное общение —

когда один собеседник говорит по-испански, а другой — по-каталански), переход с одного языка на другой, двуязычное параллельное обучение в школах, но вместе с тем делает этот переход менее необходимым в практической жизни. Характерное проявление этого — использование каталанцами родного языка в устной речи — и испанского — в письменной.

В целом автор приходит к выводу, что нынешняя языковая ситуация в Каталонии характеризуется диглоссией, и будущее покажет, каков будет итог следующего этапа борьбы каталанского языка за выживание, за приобретение статуса равноправия.

*

В статье К. Ротаэче анализируется нынешнее положение баскского языка в Эускади (автономной области басков) в Испании. Баскский язык представляет собой в истории удивительный пример выживания, а в настоящее время — столь же поразительный пример восстановления языка. Баскам приходится не только бороться за права своего языка, как фламандцам в Бельгии, не только разрабатывать норму языка, как каталонцам, им приходится восстанавливать свой язык как родной язык большей части населения, утратившей его. В течение столетий баскский язык, находящийся на границе Испании и Франции, подвергался «нажиму» своих более сильных соседей, зона его распространения постоянно сужалась, чему способствовала как массовая эмиграция самих басков, так и — особенно с 1940 г. — огромная иммиграция в баскские области. Во французской части Страны Басков (Северное Эускади) баскский язык не имел никаких прав и возможностей развития в силу известного «лингвистического якобинства» французских правительств в отношении всех миноритарных языков страны. Только в 1951 г. он был допущен к преподаванию, но лишь как факультативный предмет в более старших классах школы.

В испанской части Эускади, где сосредоточено подавляющее большинство этого этноса, баскский язык также находится в трудном положении. Баскского одноязычия в стране практически нет, число лиц, владеющих баскским языком, составляет 20—29% населения (по разным данным), а среди молодежи этот процент падает до 16,4. Письменной формой языка владеет на 25% человек меньше, чем устной.

До последнего времени положение баскского языка характеризовалось диглоссией. Этот язык не только был социально принижен, но и в массах оценивался как «примитивный», «бедный», «крестьянский». Единственный «светлый момент» в истории баскского языка — кратковременный период баскской автономии при Второй Республике, особенно в 1936—1939 гг., когда появились «икастолы» — школы с преподаванием на родном языке и даже Баскский университет в Бильбао. При франкизме язык поначалу был вообще запрещен, и только в 1960 г. вновь стали создаваться икастолы. После ликвидации франкизма страна получила режим автономии, и в настоящее время языковая ситуация в Эускади юридически регламентируется такими же тремя актами, что и в Каталонии: новой испанской Конституцией, Статутом автономии и Законом о языковой нормализации. Но даже сами эти документы показывают неравноправие языков: согласно Конституции, всякий гражданин Испании «обязан» знать испанский язык, но согласно Статуту автономии, граждане лишь «имеют право» знать баскский язык. Тем не менее автономное баскское правительство и общественность прилагают достойные внимания усилия для восстановления языка и расширения его функций.

Языковая политика стремится охватить прежде всего три сферы: администрацию, образование, средства массовой информации.

В баскском парламенте используются оба официальных языка, в связи с чем при нем имеется группа переводчиков: все документы публикуются на двух языках. То же касается и «Официального вестника Страны Басков». В провинциальных советах баскский язык допускается, но употребляется мало. Тем не менее отчеты о дебатах публикуются на том языке, на котором они были произнесены, либо сопровождаются резюме на баскском. Для перевода создана специальная «Служба баскского языка». Создан также специальный Институт администрации для подготовки двуязычных чиновников и разработки вопросов, связанных с переводом специальных терминов. В муниципальных советах баскский язык допускается, что предполагает двуязычие секретарей и прочего персонала. Поскольку служащие назначаются по конкурсу, требования которого разрабатываются в Мадриде, они обычно не владеют баскским, и между Мадридом и местными властями началась «война секретарей», т. е. местные власти не желали принимать на работу служащих, не знающих баскского языка. В конце концов была достигнута договоренность об учете при конкурсе знаний баскского языка.

Для введения баскского языка в школы разработаны программа подготовки баскоязычных педагогов и учебный материал. Введены два типа экзаменов на знание языка с выдачей свидетельств, необходимых для преподавания и занятия некоторых должностей. Применяются три формы двуязычного обучения: а) обучение на испанском языке с баскским в качестве обязательной дисциплины; б) распределение дисциплин: по решению руководства школы одни предметы преподаются на баскском языке, другие — на испанском; в) создание икастол — баскских школ с обязательным изучением также и испанского языка. Первая модель считается минимальной; при возможности выбора предпочитают две другие. Одновременно принимаются меры для преподавания баскского языка взрослым, тем более, что многие дети из испаноязычных семей посещают икастолы. Наряду с католическим университетом, открытым еще в 1962 г. по соглашению Франко с Ватиканом, был создан государственный университет в Витории. В 1976 г. королевский декрет узаконил Академию баскского языка, разрабатывающую общелитературную норму языка.

В производственной сфере баскский язык занимает довольно прочные позиции в сельском хозяйстве, на фермах, на небольших предприятиях. Однако достаточно присутствия одного человека, не знающего баскского языка, как все баскофоны переходят на испанский, которым они тоже владеют. Более сложно обстоит дело на крупных предприятиях, особенно частных. На некоторых предприятиях организованы курсы баскского языка, эффективность которых пока невелика. Специальная анкета показала, что баскофоны оставляют родной язык и переходят на испанский либо в первые годы обучения в школе (68%), либо в первые годы работы (22%).

Расширяются теле- и радиопередачи на баскском языке по самой разнообразной тематике. Впервые публикуются книги на баскском по различным отраслям знаний, создаются терминологические системы, но языком науки остается испанский, к которому добавляется английский.

И все же опросы показывают, что в целом баскский язык занимает миноритарное положение, его использование уменьшается по мере перехода от сферы «семья» к сфере «работа». Автор делает вывод, что пока — это язык «примарных» форм общения.

Тем не менее проделанная работа не осталась напрасной. Баскский язык выиграл в социальном престиже. Теперь уже нельзя сказать, что это — «крестьянский» язык, на этом языке теперь по телевидению обсуждаются те же проблемы, что и на испанском. Хотя многочисленные опросы показывают высокий процент лиц, начавших изучать этот язык и бросивших его, процент родителей, желающих, чтобы их дети изучали баскский язык, достигает 83%, и даже среди испанофонов — 63%. 90% опрошенных считают, что у баскского языка есть многообещающее будущее, 80% считают, что он может выражать научное содержание.

Большие трудности имеют место в связи с кодификацией баскского языка. Разрабатываемая норма далека от занимающего периферийное положение бискайского диалекта, и жители Бискайи не стремятся освоить ее. Баскское одноязычие в данный момент нереально, можно рассчитывать только на двуязычие с выученным баскским языком. Ввиду сложности языка проявляется стремление к созданию более живой, гибкой нормы, не осложненной трудными грамматическими правилами. Таким образом, кодификация баскского языка ставит вопрос о «множественной» норме.

В заключение автор подчеркивает, что в Эускади сталкиваются две линии в языковой политике: линия баскского правительства, прилагающего усилия для сокращения диглоссии и расширения билингвизма, и линия мадридского правительства, стремящегося сохранить некоторые сферы только для испанского языка. Это в свою очередь осложняет, уменьшает, а иногда и сводит на нет стимулы изучения баскского языка. Хотя этот язык не представляет угрозы для позиций испанского, некоторые политические партии, включая правящую социалистическую, ведут политику против баскского языка, противопоставляя в Эускади басков и иммигрантов.

Автор считает, что нынешние социополитические условия позволили баскскому языку достичь уровня, который уже невозможно понизить. Но судьба языка зависит от того, будет ли проводиться политика, стимулирующая устное общение на баскском языке. Нынешняя ситуация побуждает многих людей учить баскский язык, но не побуждает пользоваться им, а всякий язык живет лишь постольку, поскольку на нем говорят. И это автор опять же связывает с необходимостью создания более гибкой нормы языка: только она обеспечит свободное пользование им.

Расширение функций баскского языка идет одновременно с его восстановлением в качестве родного, с созданием единой наддиалектной формы языка. И хотя ему суждено пройти еще долгий путь совершенствования, усилия, приложенные общественностью и лингвистами за какой-нибудь десяток лет для того, чтобы поднять этот язык от уровня сельских говоров до языка современной цивилизации, не могут не вызвать уважения.

*

Положение шведского языка в Финляндии, описываемое в статье К. Лаугрена, дает пример тщательно продуманного языкового законодательства, максимально охраняющего права миноритарного языка. Языковое законодательство Финляндии считается одним из самых либеральных в западном мире.

Шведы завоевали Финляндию окончательно в XIII в.; среди шведских переселенцев было немало крестьян, что обеспечило в дальнейшем сохранение этого языка в Финляндии. Шведский язык, безраздельно господствовавший в стране в течение пяти веков, оставался основным

административным языком Великого княжества и после его присоединения к России в 1809 г. Однако в XIX в. в связи с ростом финского национального самосознания народный финский язык приобретал все большее значение. Царское правительство, стремясь ослабить шведское влияние, поддерживало распространение финского языка наряду с русским. Начиная с 1863 г. был издан ряд указов об уравнивании финского языка со шведским в администрации и в суде. Указ 1900 г. определял, что языком высшей администрации княжества и его сношений с Петербургом должен был быть русский язык. Автор статьи отмечает, что русское правительство проводило логичную и последовательную политику в области языка: русский язык на высшем уровне способствовал укреплению связи Финляндии с Россией, тогда как жители могли общаться с администрацией на любом языке. Накануне первой мировой войны шведы составляли 21,6% населения страны.

После получения Финляндией независимости усилился процесс вытеснения финского языка на первое место в стране при охране прав языка шведского меньшинства. В 1919 г. был принят конституционный закон, действующий и до настоящего времени, дополненный в 1922 г. языковым законом. В стране признается два государственных языка — финский и шведский. Шведское население, которое ныне составляет 300 тыс. человек (6% населения страны), сосредоточено в четырех губерниях на западе и юге страны, но нигде, кроме Аландских островов, оно не пользуется административной автономией. Все населенные пункты разбиты на четыре категории: одноязычные финские, одноязычные шведские, двуязычные с преобладанием финского и двуязычные с преобладанием шведского. Чтобы занимать должность чиновника в одноязычном муниципалитете, кандидат должен полностью владеть основным языком и понимать второй официальный язык, для работы в двуязычном муниципалитете он должен в совершенстве владеть основным языком и уметь письменно и устно изъясняться на другом языке.

Языковое законодательство направлено на защиту языкового меньшинства, в данном случае — шведов. Для признания муниципалитета двуязычным было достаточно, чтобы меньшинство составляло 10% населения. Три крупных города со значительным шведским населением (Хельсинки, Турку, Васа) сохраняли двуязычие, если даже меньшинство не достигало 10%. Каждые десять лет имеет место пересмотр, и, согласно данным переписям, двуязычный муниципалитет ранее мог быть объявлен одноязычным, если меньшинство сокращалось до 8%, одноязычный же муниципалитет становился двуязычным, если меньшинство достигало 12%, или, независимо от процента, не менее 5000 человек. В 1962 и 1975 гг. были приняты дополнительные меры по защите меньшинства: муниципалитет сохранял двуязычный статус при 8% меньшинства или при 3000 представителей соответствующего языка.

Специфическое положение сохраняется на Аландских островах, особый статус которых определяется международными соглашениями. Здесь шведы составляют 98% населения, их язык является единственным официальным языком архиепископа, ограничена иммиграция финнов на эти острова, без разрешения муниципалитета финский язык там не может преподаваться. Вообще в Финляндии избегают искусственного смешения населения: 500 000 переселенцев с территорий, отошедших после войны к СССР, были расселены исключительно в финноязычных районах. Законы обеспечивают выживание шведского языка в Финляндии. Для Финляндии шведский язык имеет и важное внешнеполитическое значение:

он выступает как мост, соединяющий ее со скандинавскими странами. Автор отмечает, что межэтнические отношения в стране хорошие, хотя имеются элементы скрытой враждебности к шведскому языку у части финского населения, которая традиционно видит в нем язык высшего слоя населения (доля лиц умственного труда, коммерсантов, инженеров среди шведского населения относительно выше).

Законы и постановления публикуются на двух языках. Обсуждения в парламенте идут на обоих языках (бывали случаи, когда депутат от Аландских островов нуждался в переводчике, поскольку не понимал финского языка). В Совете Министров и в парламентских комитетах используется финский язык. В армии языком командования является финский, но новобранец направляется в соответствующую воинскую часть, где проходит подготовку на родном языке.

В отношении муниципалитетов нет подробного законодательства: языковые вопросы решаются ими самими. Муниципалитеты используют языки согласно упомянутой выше четырехчленной классификации, но для каждой должности они сами принимают правила пользования языками в пределах своей территории. Кандидат на должность обязан сдать экзамен на знание языка в объеме, соответствующем статусу муниципалитета. Муниципалитет определяет, какие документы переводятся на язык меньшинства, но каждый гражданин имеет право запросить перевод документа на свой язык.

Школьная система в стране дву-одноязычная, т. е. школы являются или финскими, или шведскими. Профессиональное обучение дается раздельно двум языковым группам. Одноязычны и детские сады, но работники библиотек должны знать два языка. До 1960 г. второй язык в школе был обязательно вторым государственным. Ныне он обязателен в старших классах начальной школы, тогда как в средней школе разрешен выбор языка. Почти все шведские учащиеся выбирают финский язык, в то время как 90% финских — английский. Высшее образование также дифференцировано по языкам. Университет в Турку (Або) пользуется исключительно шведским языком. В Хельсинкском университете административным языком является финский, но профессора должны понимать и шведский, так что студент имеет право сдавать экзамен и на этом языке. Политехнический институт в Хельсинки работает на двух языках, зато Коммерческая школа — только на шведском.

* Средства массовой информации используют оба языка, причем автор указывает, что число газет и журналов, выходящих на шведском языке, непропорционально велико.

Топонимика определяется согласно статусу муниципалитета, но в международном общении (например, в паспортах) представлен только финский язык. Этикетирование продуктов законодательно не уточняется, но многие товары снабжены шведскими этикетками, поскольку они экспортируются в Швецию.

Более сложное положение шведского языка в экономике, на предприятиях, тем более что точного законодательства на этот счет не имеется. Только законом 1979 г. было установлено, что на предприятии информация, касающаяся зарплаты и правил безопасности, должна даваться и на языке меньшинства, если оно достигает 10% работающих. Банки и страховые компании двуязычны. На предприятиях большинство финнов пользуется финским языком, но лишь четвертая часть шведов использует только шведский язык.

Демография действует не в пользу шведского языка. Процент шведов в больших городах уменьшается. Смешанные браки среди шведского населения достигают 40%, 60% детей от этих браков избирают финские школы. Хотя в шведскоязычных муниципалитетах финны вынуждены пользоваться шведским языком, в целом знание финского языка для шведов становится все более необходимым.

Для шведского языка в Финляндии актуальна и проблема внутренней кодификации. Основная тенденция — сближение с литературной нормой Швеции — сталкивается со все возрастающим влиянием местных шведских диалектов на западе страны. В стране существует Научно-исследовательский институт национальных языков с двумя бюро: финским и шведским. Они дают рекомендации по терминологии, культуре речи и т. д.

Автор статьи считает, что в целом в Финляндии языковое положение, несмотря на численное и функциональное различие между двумя языками, можно рассматривать как билингвизм: язык меньшинства (шведский) применяется во всех сферах, вплоть до высших органов власти, пользуется серией оградительных мер. Автор делает вывод, что люди к проблеме языка относятся без излишних эмоций: в этой сфере теперь (в отличие от 1920—1940-х гг.) не наблюдается какой-либо напряженности. Этому способствует демократическое законодательство, оказывающее особое покровительство миноритарному языку. Можно добавить, что этому способствуют и два других обстоятельства: язык меньшинства пользуется в обществе исторически сложившимся престижем, и, что также важно, языковая ситуация сравнительно несложна — речь идет всего о двух языках примерно одинаковой значимости в международном плане.

*

Квебекский опыт языкового обустройства, описанный в статье Ж. Морэ, интересен в двух отношениях: во-первых, в качестве миноритарного здесь выступает язык с большим культурным и международным престижем (французский), во-вторых, этот опыт ясно показывает, какие сферы являются определяющими для сохранения и продвижения языка.

Как известно, основная проблема Квебека заключается в выживании французского языка в окружении английского. 98% франкоязычных канадцев сосредоточено в провинции Квебек, где процент этого населения достигает 80%. Пакт Конфедерации 1867 г. декларировал англо-французское двуязычие в канадском парламенте, право пользования любым из двух языков в судах, входящих в федеральную компетенцию, а также устанавливал двуязычие в провинции Квебек. Проблемы образования передавались в компетенцию провинциального правительства, так что в Квебеке было две сети школ: католических (французских) и протестантских (английских). Постепенно поборникам французского языка удалось добиться того, что этот язык стал использоваться на почтовых марках, денежных знаках и т. п., но эти символические акты не могли приостановить постоянного сокращения сферы действия французского языка, который не только исчезал фактически в других провинциях, но и в самом Квебеке занимал приниженное положение. Языковая ситуация была параллельна социоэкономической: франкоканадцы находились в менее привилегированном положении по сравнению с англоканадцами; даже в Квебеке они получали зарплату в среднем на 35% меньше, чем англо-

канадцы, они не имели шансов попасть на высшие должности в армии или администрации, основной капитал в провинции принадлежал англо-канадцам. В последние годы, в связи с индустриализацией и урбанизацией Квебека, начинается подъем социально-экономического положения франкоканадцев, вследствие чего обостряется и языковой вопрос. Перед лицом растущего национального движения франкоканадцев, доходившего порой до сепаратистских настроений, канадское правительство создало в 1963 г. «Королевскую комиссию по изучению билингвизма и бикультурализма», которая констатировала, например, что по уровню жизни франкоязычные квебекцы занимали 12-е место в стране, перед итальянскими иммигрантами и индейцами. Целый ряд факторов обострил борьбу франкоканадцев, и в частности квебекцев, за свой язык: засилье английского языка в экономике, уменьшение франкоязычного населения в Квебеке, ассимиляция франкоканадцев, переход иммигрантов с французского языка на английский.

В 1969 г. парламент принял «Закон об официальных языках Канады», который относится только к самому парламенту и зависящим от него органам. В том же году впервые в Квебеке принимается закон по вопросам языка — «Закон о развитии французского языка в Квебеке», за ним последовал «Закон об официальном языке» (1972 г.) и, наконец, «Хартия французского языка», называемая также «Закон 101» (1977 г.). Еще раньше при правительстве провинции был создан совещательный орган «Комитет (office) французского языка»; согласно «Закону 101» было сформировано еще четыре органа: комиссии по топонимике, по наблюдению над французским языком, по введению французского языка на предприятиях и Совет французского языка. В 1983 г. в Хартию были введены изменения, направленные на защиту интересов англоязычного населения Квебека. Это законодательство привело к тому, что языковой вопрос в Квебеке, который нередко приводил к бурным событиям и даже вызвал поражение некоторых партий и правительств в этой провинции, утратил в значительной степени свою остроту.

В некоторых случаях квебекские законодатели заходили слишком далеко. Так, глава третья Хартии объявляла, что только французский текст имеет законную силу в провинции и что юридические лица обязаны пользоваться только французским языком. Эта глава была отменена Верховным Судом Канады как противоречащая конституции страны. Был также восстановлен билингвизм в законодательстве и суде.

Согласно «Хартии французского языка», все административные службы в Квебеке именуются по-французски, в сношениях с правительствами других провинций и с юридическими лицами администрация использует только этот язык. Внутри провинции все административные службы пользуются только французским языком, знание которого обязательно для назначения или продвижения по службе любого чиновника. Договоры, объявления, исходящие от администрации, составляются по-французски.

В сфере медицинского обслуживания и страхования служащий может избирать любой язык при оформлении дела, но провинциальные службы имеют право потребовать употребления только французского языка или наличия фразею на этом языке. Объявления, афиши, вывески составляются по-французски, кроме населенных пунктов со значительным английским населением, где допускается двуязычие. Администрация общается с юридическими лицами на французском языке, но с физическими лицами — и на английском.

Защитники французского языка в Квебеке стремятся обеспечить сохранение этого языка и вынудить каждого пользоваться им. Поэтому особое внимание уделяется его использованию, помимо административных органов, в трех сферах: во внешнем оформлении городов, в преподавании и в экономике, включая производство.

Как отмечалось выше, реклама публикуется на французском языке, английские варианты объявлений и указателей даются, если только это необходимо для безопасности граждан, топонимика меняется на французский лад.

Что касается образования, то в провинции имеются одноязычные французские или английские школы. Первоначально закон 1969 г. допускал свободный выбор языка обучения при условии, что дети получали достаточную подготовку на французском языке. Это положение, одобрительно принятое англофонами, не удовлетворило франкофонов, которые увидели, что многие франкоканадцы стали отправлять своих детей в английскую школу, поскольку английский язык открывал более широкие жизненные перспективы. Поэтому в дальнейшем в это постановление были введены коррективы: франкофоны обязаны отправлять детей во французские школы, в английскую школу имеют право поступать лишь дети тех, кто сам получил начальное образование на английском языке. Иммигранты, поселяющиеся в Квебеке, обязаны отдавать детей во французскую школу. Благодаря этим мерам контингент учащихся в английских школах снизился за семь лет с 16,6% до 11,8%. В частные школы учащиеся поступают по выбору. Как видно, принудительный характер языка обучения в Квебеке сходен с тем, что имело место в Брюсселе. В университетском образовании предоставляется полная свобода выбора языка.

Большая работа по офранцузиванию осуществляется и в сфере профессионально-производственной. В сорока профессиональных ассоциациях (агрономы, адвокаты, дантисты, инженеры и т. д.) требуется определенный уровень знания французского языка, в частности, от иммигрантов. Знания языка удостоверяются аттестатом после сдачи экзаменов по программе, разработанной «Комитетом французского языка». Представители этих профессий обязаны общаться с фирмами на французском языке, с отдельными людьми — могут на любом. Товарные этикетки составляются обязательно на французском языке, но допускается и дублирование на другой.

Особое внимание уделяется использованию французского языка на предприятиях, и это не случайно: законодатели отлично понимают, что именно здесь, так же, как и в школе, решается судьба языка. Как правило, в Квебеке франкофоны занимают менее престижные должности, чем англофоны, имеют меньшие оклады. Еще в начале 1970-х гг. французский язык на производстве рассматривался как язык непрестижный. «Комитет французского языка» вплотную занялся проблемой внедрения французского языка на предприятия. Первые опыты показали, что офранцузивание предприятия может проводиться без всякого ущерба для производства. Однако при этом возникают социопсихологические проблемы, связанные, в частности, с нежеланием менять что-либо. Было также установлено, что процесс офранцузивания следует начинать с более крупных предприятий, которые автоматически «потянут» за собой менее крупные.

Первый этап «офранцузивания» предприятия — составление его «языковой карты». «Хартия французского языка» обязывает все предприятия с числом рабочих более 50 заполнить вопросник об использовании фран-

цузского языка, в котором содержатся такие пункты, как внутреннее общение, собрания, письменная документация, объявления, учебные пособия и т. п. Затем предприятие получает от «Комитета» программу, предусматривающую овладение французским языком руководителями предприятия, увеличение во всех звеньях управления числа лиц, знающих этот язык, использование его в документации, каталогах, в общении с клиентами, поставщиками, публикой, применение французской терминологии, употребление этого языка в рекламе, в политике найма и продвижения по службе. «Офранцузивание» не затрагивает правлений фирм, научно-исследовательских институтов и предприятий федерального подчинения, которые, однако, должны соблюдать закон о двуязычии. Возможно достижение специального соглашения с «Комитетом» об отступлении от правил пользования французским языком. Предприятие получает удостоверение, которое свидетельствует, что его документация переведена на французский язык и что его руководящие работники могут пользоваться этим языком. Однако нередко «офранцузивание» остается только на бумаге, ибо самый трудный его аспект — повседневное использование языка в повседневной работе — с трудом поддается учету. Но все же намечается некоторый прогресс: процент франкофонов, пользующихся на производстве только французским языком, вырос в 1971—1979 гг. с 66 до 70, а в Монреале — с 48 до 55. В Квебеке постоянно проводятся обследования на предприятиях и среди представителей разных специальностей с целью выявления изменений в использовании французского языка. В целом число франкофонов на руководящих должностях возросло в 1964—1979 гг. с 50% до 63%, но этого еще недостаточно: на высших постах в экономике находятся по-прежнему англофоны. Особенно рентабельно знание английского языка на предприятиях, ориентированных на внешние связи. Франкофон, знающий английский язык, зарабатывает больше, чем тот, который им не владеет. В статье приводятся данные о росте употребления французского языка в разных отраслях.

Англоканадцы в Квебеке рассматривают себя как меньшинство. «Хартия французского языка» вызвала у них отрицательную реакцию, за 5 лет (1977—1981) более 130 тыс. англофонов покинуло Квебек, что несколько настораживает и франкофонов, т. к. перевод английских фирм из Квебека приводит к потере рабочих мест. Был создан «Альянс-Квебек», защищающий права англофонов, которые хотят, чтобы было признано их право иметь свои больницы и учреждения социального обеспечения.

В Квебеке существует и проблема языков «третьего яруса». К ним относятся языки иммигрантов и аборигенов. Иммигранты, обязанные учить французский язык, все же получают некоторые привилегии: была учреждена больница с итальянским языком, дом для престарелых с польским. Аборигены — америнды и иннуиты (эскимосы) — имеют право пользоваться своим языком, создавать свои школы, но они обязаны изучать французский язык, который власти Квебека стремятся сделать языком межэтнического общения в провинции, хотя английский составляет ему конкуренцию в этом плане.

«Офранцузивание» в Квебеке требует определенных расходов, которые, например, в 14 фирмах составили 0,1—0,5% годового бюджета фирмы. Однако у франкофонов отмечают рост творческого отношения к работе, производительности труда, удовлетворенности работой, так что следует признать, что «офранцузивание» рентабельно не только в культурно-языковом, но и в чисто экономическом отношении. Расходы по языковому обустройству в Квебеке составили 53 млн. долларов — 10% от бюджета

провинции. В целом наблюдается некоторое улучшение в положении французского языка: ситуация от диглоссии понемногу переходит к билингвизму. Но, как считает автор, положение пока не является необратимым.

Для Квебека актуальна и проблема языкового стандарта. Хотя европейский французский продолжает оцениваться как наиболее престижная форма языка, ему противостоят литературный франкоканадский и разговорный язык франкоканадцев, так называемый «жуаль» (joual).

*

Языковая ситуация в Югославии, обрисованная в статье Р. Бугарского, значительно отличается от тех, что были изложены выше. Если в рассмотренных ранее ситуациях «задействованы» только два языка (нидерландский и французский, каталанский и испанский, баскский и испанский, шведский и финский, французский и английский), причем один из них является миноритарным, а другой — мажоритарным, то в данном случае речь идет о многоязычии, о сосуществовании нескольких языков. Кроме того, если во всех описанных выше ситуациях современное языковое обустройство явилось результатом постепенных изменений, растянувшихся на десятилетия и даже века, то у истоков нынешней языковой ситуации в Югославии лежит единичный акт, меры, намеченные и принятые в момент самого образования СФРЮ, к тому же эти законодательные постановления имели целью обеспечить максимальные свободу и демократизм в языковой сфере.

Югославская конституция различает два понятия: «нация» — автономный этнос, и «национальность» — этнос, основная часть которого находится за пределами страны. К нациям относятся сербы, хорваты, черногорцы, «мусульмане» (жители Боснии и Герцеговины), словенцы, македонцы. Каждая нация образует республику в составе федерации. Первые четыре пользуются вариантами сербскохорватского языка, словенцы и македонцы говорят на языках, близких к сербскохорватскому. К национальностям относятся албанцы, венгры, турки, словаки, румыны, русины, болгары, итальянцы, украинцы, чехи и другие. Первые две наиболее крупные национальности населяют автономные области Косово и Воеводину в составе Сербии.

В стране провозглашено юридическое равноправие языков. Конституция перечисляет языки наций и национальностей, но не называет никаких официальных или государственных языков в масштабе федерации. Она предоставляет решение языкового вопроса на усмотрение республик. Так, в Косово признаются три официальных языка: албанский, сербскохорватский и турецкий, в Воеводине — пять: сербскохорватский, венгерский, словацкий, румынский, русинский. В свою очередь конституции республик передают коммуна́м право объявлять на их территории те или иные языки в качестве официальных. Языковое законодательство в целом весьма сложно; например, в Воеводине действует более 20 языковых законов, нарушение которых влечет за собой санкции. Учреждения и предприятия, расположенные на смешанных территориях, также имеют свои собственные регламенты, касающиеся пользования языками.

Языковые установления в стране весьма демократичны: любой гражданин может пользоваться своим языком, независимо от его численной значимости, в администрации, в суде, на собраниях. Организации и учреждения могут обращаться в федеральные инстанции на любом из языков,

признанных официальными в данной республике, и получать ответ на том же языке.

Однако юридическое равенство не означает, естественно, функционального равенства. Так, сербскохорватский язык, на разных вариантах которого говорит 75% населения, не имея статуса государственного, является фактически межэтническим средством общения по всей стране. Он — официальный язык в четырех республиках, кроме Словении и Македонии. Следовательно, знание сербскохорватского языка практически обязательно на уровне федерации, но не обязательно на уровне республики и тем более коммуны (там, где он не является официальным).

Акты федерального правительства публикуются на семи языках: трех вариантах сербскохорватского, словенском, македонском, албанском и венгерском. Выступления в Скупщине допускаются на всех этих языках, причем обеспечивается перевод. Международные договоры могут заключаться на любом федеральном языке, после чего составляются копии на других языках федерации. Глава делегации может пользоваться языком по своему выбору.

В армии командование и обучение осуществляются на сербскохорватском языке, но в культурно-просветительной работе и в политобучении используются родные языки солдат. Части территориальной армии пользуются местными языками.

На уровне республик и областей также организована служба перевода письменных документов и устных сообщений. Например, в Воеводине вся документация воспроизводится на пяти языках области. Такой же принцип действует и в коммунах, что, разумеется, приводит к дублированию делопроизводства.

Пресса, радио, телевидение используют десять языков. Обучение в школах ведется на 14 языках (включая украинский, немецкий, цыганский). Университетское образование дается на всех федеральных языках; например, в Приштине (Косово) преподавание ведется на албанском языке. Общая цель обучения в сфере языка — обеспечить жизнь многоязычного общества через индивидуальное двуязычие. Поскольку, как пишет автор, югославская языковая модель отвергает идею превосходства языков, двуязычие должно быть обоюдным, и каждого в условиях многоязычия обязывают изучать какой-либо другой язык страны. В частности, сербы, живущие в районах национальных меньшинств, обязаны изучать местный язык. Существуют три формы обучения: на родном языке, на двух языках и на неродном языке. Наиболее распространена вторая модель, когда разноязычные дети учатся в одной школе, но в разных группах. При обучении на языке меньшинства в республике учащиеся изучают один из трех языков страны: сербскохорватский, словенский или македонский. В иных случаях дети учатся на неродном, но более распространенном языке, особенно в старших классах школы или в университете. Автор считает, что в дошкольных учреждениях следует сохранять обучение, раздельное по языкам, но обучение в школе только на родном языке меньшинства может создавать «культурно-социальное гетто», так что на этом этапе не следует делить учащихся по языкам.

На производстве используются все упомянутые в конституции языки. Предприятия имеют право переписываться с другими учреждениями на своем языке, поэтому при них имеются переводчики.

Несмотря на общий демократизм в языковой политике, в стране наблюдаются явления напряженности в межъязыковых отношениях. Например, Словения представляет собой наиболее развитую в культурном и эконо-

мическом отношении область, это привлекает туда большое число мигрантов. Эти мигранты отказываются изучать словенский язык — официальный язык республики, во-первых, потому что языки близки между собой, и, во-вторых, потому что словенцы, как правило, владеют сербско-хорватским. При этом они требуют признания своего языка в качестве одного из официальных языков республики. Словенцы опасаются за судьбу своего языка и настаивают на более широком его использовании в масштабе федерации. В Косово, напротив, в связи с ростом албанского шовинизма нуждается в защите сербский язык.

Автор статьи считает, что в стране в принципе создана подлинно демократическая система двуязычия и многоязычия, которая, однако, на практике ограничивается в силу многих психологических и организационно-технических факторов. Двуязычие асимметрично: оно развито более всего среди малых национальностей и менее всего среди носителей сербскохорватского языка.

Языковое равенство сталкивается и с техническими сложностями: приходится все — от правительственных актов до дорожных знаков и этикеток — дублировать на нескольких языках, что ведет к значительному перерасходу средств. Не хватает переводчиков, техники. Организационные трудности усугубляются тем, что, как полагает автор статьи, центральное правительство в языковом вопросе проводит недостаточно активную политику, передоверив языковое регулирование полностью правительствам республик и областей. Автор выступает за создание при центральном правительстве федерального органа по языковому обустройству страны.

Автор считает, что югославский опыт действительно подтверждает, что языковое равноправие может функционировать ценой больших усилий, но также и при том условии, что одному из языков — пусть даже неофициально и с определенными ограничениями — отводится первое место.

*

В статье Б. Эрнудда затрагиваются некоторые вопросы языкового строительства в развивающихся странах. Он анализирует меры, которыми пользуются в разных странах для внедрения местного языка в общественную жизнь, в администрацию. Например, в индийском штате Андхра-Прадеш обязательным языком в администрации объявлен телугу и составленный по-английски документ должен сопровождаться переводом на этот язык.

Автор считает, что общество должно решать вопрос как о выборе официального языка, так и о сохранении того или иного языка. Вместе с тем языковые барьеры в обществе отнюдь не неизбежны: когда это необходимо, процесс овладения официальным или признанным в данном обществе языком не представляет собой непреодолимого препятствия для рядовых граждан.

Автор касается материальных и психологических аспектов проблемы языкового обустройства. Вопрос стоит так: следует ли заставлять нынешнее поколение приносить себя в жертву и оплачивать реализацию программы по развитию языков, которая может быть полезной лишь для будущих поколений. Однако надо различать интересы индивидуума (который лично может быть не заинтересован в возрождении такого-то языка) и интересы этнолингвистического сообщества, которое несомненно нуждается в целом в упрочении своего языка. Надо взаимоувязывать деятель-

ность государственных органов и общественных организаций. Многие расходы по языковому строительству, представляющие дополнительную нагрузку для государственного бюджета, национальные языковые организации могут взять на себя или осуществлять соответствующие задачи безвозмездно, создавая коллективный интерес нации. Со своей стороны государство может облегчить развитие миноритарного языка, создавая должности с обязательным знанием этого языка в администрации и систем обучения.

*

Заключительная статья монографии — Ж.-К. Корбея — содержит опыт сопоставления политики языкового обустройства в разных странах. Он останавливает свое внимание на трех проблемах: многоязычии, стандартизации (нормализации литературного языка) и понятии языкового обустройства. Наибольший интерес представляет для нас здесь типология первого аспекта проблемы.

Многоязычие, подчеркивает автор, образуется всякий раз тогда, когда на одной территории сосуществует несколько языков. Если сосуществование превращается в конкуренцию, сопровождаемую или стимулируемую межэтническими отношениями, различиями религий и экономическими проблемами, когда люди хотят сохранить и утвердить свой язык, возникают напряжения в языковой сфере, для которых нужно найти реалистическое решение.

Во всех странах, где возникают подобные проблемы, считает автор, ставятся одни и те же вопросы: нужно ли сохранять все языки, какие языки следует выбрать, какой юридический статус следует дать каждому языку, сколько это будет стоить, какие последствия принимаемые решения будут иметь для будущего страны, как контролировать проведение в жизнь принимаемых решений? При выборе языков возникает два вопроса: какой язык избирается в качестве средства общения в масштабе всего государства и каким языкам вообще придается официальный статус в рамках определенной территории?

Выбор общего «привилегированного» языка должен опираться на выраженный или молчаливый консенсус всего общества. Он должен быть закономерен в глазах других этносов, подкрепляться численностью этноса — носителя общего языка, его ролью в историческом развитии, культуре, экономике данной страны, важен также и уровень развития языка, его литературной обработки.

Автор выделяет четыре типа соотношения между официальными языками и территорией:

- а) только один язык на всей территории: французский в Квебеке;
- б) несколько языков имеют одинаковый статус в стране; возможны два варианта:

— признанные официальные языки имеют разные функции, например, английский и французский в Канаде равноправны только в федеральных инстанциях, но не в провинциальных;

— каждый язык употребляется на определенной территории; такой территориальный принцип действует в Бельгии;

в) устанавливается различие между официальными и национальными языками. В Швейцарии первых — три, вторых — четыре. Это различие имеет место во многих странах Африки (государственный или официальный язык — европейский, национальный — местный);

г) нет официально установленного языка; таково положение в США, где английский является общим языком лишь де-факто. Некоторые штаты объявили официальное англо-испанское двуязычие, другие — английское одноязычие.

Официальный статус часто не совпадает с реальным положением дел. В Югославии нет официального общего языка, но такую роль фактически выполняет сербскохорватский язык. Квебек провозгласил французское одноязычие, но на деле он двуязычен: английский язык допускается в различных сферах (школы, муниципальная администрация) для англоязычного меньшинства провинции, он используется также во внешних сношениях Квебека. В других случаях провозглашается двуязычие, но на деле имеет место одноязычие.

Соотношение между юридическим статусом языка и его реальным положением нестабильно, изменчиво, языковое обустройство находится в вечном движении, полно компромиссов. С одной стороны, оно стихийно направлено в пользу социологически привилегированного языка, с другой, представители миноритарного языка все время ревниво относятся к своим правам, что может вызывать раздражение у представителей мажоритарного языка.

Многоязычие — обыденное явление в современном мире, но трудность заключается в организации его таким образом, чтобы принимаемые решения пользовались всеобщей поддержкой и гарантировали бы языковой мир в стране.

В заключение автор еще раз касается определения понятия языкового обустройства, которое, по его мнению, включает два аспекта практического характера (реальное положение языков в стране; сознательное вмешательство государства или отдельных групп в языковую ситуацию) и два — теоретического (изучение и описание фактов многоязычия; теоретическая разработка языкового планирования). Автор считает, что современная социолингвистика не раскрывает в надлежащей мере вопросы, связанные с языковым обустройством, и приходит к выводу о необходимости создания особой науки, касающейся этих проблем и не разделенной между лингвистикой и социологией.

*

Можно согласиться с Ж.-К. Корбеем, что анализируемая книга показывает разрыв между фактами, относящимися к обустройству языка, и социолингвистической теорией. Но вместе с тем она дает богатый материал для теоретического осмысления, в частности для разработки типологии, отражающей разнообразные ситуации многоязычия. Ситуации многоязычия чрезвычайно разнообразны, проводимая языковая политика также сильно различается от одной страны к другой. Но в целом в этой ситуации и в этой политике можно выявить ряд аспектов, носящих универсальный характер. Представляется возможным определить типологию состояний и решений по каждому из этих аспектов. Совокупность этих «типологических аспектов» и определяет конкретную ситуацию многоязычия в каждой отдельной стране. Наиболее существенными из этих аспектов являются: А. Общий тип двуязычия; Б. Язык и территория; В. Тип законодательства; Г. Демографическая ситуация; Д. Оценочный статус языков; Е. Функции языка в обществе; Ж. Кодификация языка.

А. Общий тип многоязычия. Здесь выделяются три основных типа:

— сплошное индивидуальное многоязычие. Такое явление наблюдается в Люксембурге, где при родном немецком диалекте населения формируется на основе школьного обучения знание двух литературных языков: французского и немецкого. Этот тип многоязычия возможен преимущественно в небольшой стране, этнически однородной;

— множественное территориальное одноязычие (при многоязычии центральных органов страны). Классическим примером такого многоязычия является Швейцария, где в каждой из трех зон страны с жестко фиксированными границами официальным является только один язык, родной для данного населения (немецкий, французский, итальянский), тогда как в федеральные органы допускаются все три языка. Такое территориальное одноязычие дополняется широким индивидуальным двуязычием (например, французского и немецкого языков). Подобное решение возможно при небольшом числе языков и их примерном социально-культурном равенстве. К такому типу приближаются в настоящее время и Бельгия, отчасти Канада.

— асимметричное двуязычие: двуязычие в одной части страны (обычно меньшей), где жители владеют как миноритарным, так и мажоритарным языками, и одноязычие в другой части, где население владеет только мажоритарным языком. Такое положение имеет место в Испании, в Финляндии, в Югославии; против такого положения ведут борьбу франкофоны Квебека и фламандцы в Бельгии. Асимметричное двуязычие создает большую угрозу для будущего миноритарного языка, чем два других типа.

Эти три основных типа могут иметь дополнительные модификации:

— «перевернутое» асимметричное двуязычие, возникающее тогда, когда на территории миноритарного языка находятся значительные группы мажоритарного. В этом случае представители языкового большинства оказываются на положении меньшинства в данном регионе. Такая ситуация часто создается вследствие массовой иммиграции носителей мажоритарного языка на территорию языкового меньшинства. Она наблюдается в Каталонии по отношению к испанофонам, в Словении для мигрантов — носителей сербскохорватского языка, в Квебеке для англофонов. При этом может возникать языковая напряженность, т. е. местное население, обычно двуязычное, настаивает на овладении его языком представителями мажоритарного языка, которые уклоняются от этого, ибо их язык является языком межэтнического общения;

— «многоярусное» многоязычие. Оно наблюдается, когда на миноритарной территории находятся группы третьего языка. Например, в Республику Сербия входит албаноязычная автономная область Косово, на территории которой живут также турки. Наличие языков «третьего яруса» весьма осложняет ситуацию в целом, миноритарный язык выступает как мажоритарный по отношению к этим языкам со всеми вытекающими отсюда проблемами. Носителям языка «третьего яруса» приходится овладевать тремя языками: родным, языком области и языком всей страны.

Б. Язык и территория. Основная оппозиция — наличие или отсутствие территориальных границ у миноритарных языков. Во всех рассмотренных случаях такие границы имеются. Не имеют часто территориальных образований языки третьего яруса (например, языки иммигрантов и аборигенов в Квебеке), мажоритарные языки на территории миноритарных (английский в том же Квебеке). В этих условиях двуязычие нередко ограничивается личным двуязычием. Признанная территория распро-

странения миноритарного языка, как показывают факты, организуется одним из трех способов:

— она может представлять собой историческую область либо административную единицу с разной степенью автономии (республики и автономные области в Югославии, Каталония и Эускади в Испании, Квебек в Канаде, Аландские острова в Финляндии);

— она может формироваться как следствие установления языковых границ (языковые области в Бельгии);

— она может представлять собой вкрапления на уровне отдельных населенных пунктов, небольших районов (муниципалитеты в Финляндии, в Югославии).

Федерализация может предшествовать языковому обустройству (Канада), но может и стать его следствием (Бельгия).

Существенным параметром является соответствие административной единицы и территории, реально занимаемой миноритарным языком. Здесь возможны три случая (если отвлечься от мигрантов):

— языковая и административная территория совпадают (в Бельгии, в Югославии); это наиболее благоприятный случай для решения языковых проблем;

— языковая территория шире административной; например, французский язык в Канаде представлен, помимо Квебека, в провинциях Нью-Брансуик, Онтарио и других. В Испании каталанский язык, кроме Жене-ралитата, распространен в области Валенсия, в Арагоне. В этом случае носители миноритарного языка за пределами основной территории вынуждены вести параллельную борьбу за сохранение своего языка, добиваясь двуязычия для данной административной единицы (как франкофоны в Нью-Брансуике, каталонцы в Валенсии); в противном случае, если их численность невелика, они обречены на ассимиляцию (франкофоны в Онтарио);

— языковая территория меньше административной, как, например, в Стране Басков, где баскский язык распространен лишь в части страны. В этом случае языковые проблемы усложняются, т. к. многочисленное мажоритарное население не нуждается в изучении данного миноритарного языка.

Другие стороны территориально-языкового вопроса:

— лингвистические границы либо могут меняться (например, языковой статус населенных пунктов в Финляндии изменяется в соответствии с данными переписи), либо остаются неизменными (как лингвистическая граница в Бельгии);

— территория может быть однородной либо неоднородной в языковом отношении. Во втором случае языковое обустройство сталкивается с дополнительными трудностями, что ясно видно на примере Бельгии: в то время как в одноязычных Фландрии и Валлонии языковая проблема в целом получила разрешение, положение двуязычного Брюсселя остается сложным.

В. Тип законодательства. Основная оппозиция: в стране отсутствует законодательство в языковой сфере либо имеется более или менее разработанное законодательство. Во всех рассмотренных в книге шести случаях существуют языковые законы и постановления. Можно отметить следующие дополнительные аспекты проблемы:

— законодательство может либо разрабатываться постепенно, охватывая целые десятилетия (как в Бельгии), либо быть результатом единичного акта в связи с созданием государства, принятием конституции (Фин-

ляндия, Югославия) при возможности дальнейших предшествующих или последующих законов и уточнений;

— законодательство может устанавливаться на различных уровнях. В Бельгии оно осуществляется на самом высоком общегосударственном уровне; в Югославии, напротив, союзная конституция не содержит положений, касающихся языкового обустройства, вопрос передан на усмотрение республик и местных органов власти; в Испании — языковое законодательство осуществлено на трех уровнях (конституция страны, статуты автономных областей, постановления местных органов власти);

— законодательство может предусматривать различную степень обязательности постановлений: оно является более жестким в Квебеке, в Бельгии, менее императивным в Каталонии.

Г. Демографическая ситуация. Здесь речь идет о лингво-этнической однородности населения. Отмечаются две тенденции:

— усиление однородности населения, которое происходит вследствие перехода части миноритарного этноса на мажоритарный язык, а также в результате выезда из данной области иноязычных групп населения (например, выезд англофонов из Квебека; из Финляндии выехало в Швецию несколько десятков тысяч шведов). Для обеспечения языковой однородности осуществляется перевод учреждений и учебных заведений (например, французской части Гентского и Лувенского университетов в Бельгии, финского отделения из университета в Турку);

— уменьшение однородности населения вследствие притока мигрантов. Последние могут быть двух категорий: представители мажоритарного языка (испанцы в Каталонии, носители сербскохорватского языка в Словении) либо иммигранты из других стран (итальянцы в Квебеке). В обоих случаях возникают дополнительные языковые проблемы.

В некоторых странах с жесткими лингвистическими границами языковая однородность обеспечивается тем, что иммигранты из других стран обязаны изучать данный язык. Интересы лингвистического меньшинства принимаются во внимание либо на всей данной территории, либо только в отдельных населенных пунктах (Бельгия).

Д. Оценочный статус языков. Здесь различаются билингвизм и диглоссия. Равноправный билингвизм достигнут в Швейцарии, близко к нему соотношение финского и шведского в Финляндии, к нему стремится нидерландско-французская ситуация в Бельгии, французский язык в Канаде. Равноправие языков на уровне республик и областей имеет место в Югославии. Состояние диглоссии свойственно миноритарным языкам в Испании, но их статус постепенно повышается.

Приниженное состояние миноритарных языков создавалось двойным образом: ненасильственно, в силу определенных исторических факторов (французский в Квебеке, нидерландский в Бельгии), или, напротив, насильственно, когда принимались законы, исключавшие данный язык из сферы публичного общения или запрещавшие его (каталанский и баскский в Испании).

Е. Функции языка в обществе. А д м и н и с т р а ц и я. Типологически в отношении языка различаются центральная и местная администрации. В центральной администрации может быть меньше языков, чем в местной, и наоборот:

— в центральной администрации — один язык, в местной — два: в Испании центральное правительство использует только один язык — испанский, областные администрации в Каталонии и в Эускади пользуются двумя языками: испанским и местным;

— в центральной администрации — несколько языков, в местной — один; такова ситуация в Бельгии, в Канаде. В Финляндии в парламенте два языка, в местных органах власти — два или один, в зависимости от состава населения. В Югославии центральные органы используют ряд языков, местные органы власти — один или несколько.

Двуязычие административных органов обеспечивается индивидуальным двуязычием должностных лиц либо переводом документов. Перевод может быть реально необходим, но он может оставаться лишь символическим, подчеркивая равноправие языка (например, перевод документов на баскский язык в Эускади).

А р м и я. В рассмотренных случаях представлены следующие варианты:

- используется только мажоритарный язык (испанский в Испании);
- начальная военная подготовка проходит на родном языке новобранцев; офицеры обязаны знать два государственных языка (в Бельгии);
- в командовании используется язык межэтнического общения, но культурно-воспитательная работа в армии организуется на родном языке солдат (в Югославии).

С у д. Язык судопроизводства определяется по территориальному признаку (Бельгия), либо по личному желанию граждан.

Э к о н о м и к а. Наиболее сложен вопрос о языке на предприятии. Различаются следующие ситуации: в производстве на всех уровнях используется только местный язык (Бельгия, Югославия), в производстве (крупном) используется только мажоритарный язык; представители миноритарного языка стремятся продвинуть свой язык на предприятия (Квебек, Эускади).

Использование языков может дифференцироваться и в зависимости от внешних или внутренних связей предприятия: внутреннюю жизнь предприятия стараются перевести на местный язык, тогда как во внешних связях используется мажоритарный (Испания, Квебек), либо местный административный язык с последующим переводом (Югославия).

Большое значение придается использованию языков в торговле. Вывески, реклама, этикетки могут быть одноязычными (только на мажоритарном или только на миноритарном языке) либо двуязычными (это может зависеть от торговых связей предприятия).

О б р а з о в а н и е. Это — важнейший аспект, ибо обучение на языке обеспечивает его выживание и развитие. Основные стороны проблемы: количество языков, представленных в обучении, язык преподавания, совместное или раздельное обучение.

Преподавание может вестись на родном языке учащихся либо на неродном языке (обычно это мажоритарный язык в данной области; в такой ситуации оказываются нередко дети иммигрантов из других стран). Родной язык может не изучаться вовсе либо изучаться в качестве обязательной или факультативной дисциплины. То же касается и другого языка в данной ситуации (ср., например, шведский в финских школах).

Образование и обучение на всех уровнях может вестись раздельно или совместно. Раздельное обучение обеспечивает лучшее сохранение миноритарного языка, совместное обучение благоприятнее для развития двуязычия, но может привести к ослаблению позиций миноритарного языка в пользу мажоритарного. Возможны два варианта совместного обучения: 1) в одной школе имеются отделения или классы с разными языками, преподавание ведется на родном языке учащихся, другой язык изучается как

учебная дисциплина; 2) в одном и том же классе разные дисциплины ведутся на разных языках.

Выбор языка обучения может быть свободным (Испания, Финляндия, Югославия) либо определяться принудительно (Квебек, Бельгия).

Общественные организации. В некоторых странах имеется тенденция к созданию общественных организаций по языкам. Например, в Бельгии профсоюзы и некоторые партии разделены по языковому признаку, в некоторых партиях имеются национально-языковые секции. В Финляндии существует Шведская народная партия, в Квебеке — франкоязычные организации.

Ж. Кодификация языка. Хотя выше нас интересовало прежде всего «внешнее» обустройство языков, вопросы «внутреннего» обустройства нельзя от них полностью отделить. Оба этих аспекта взаимозависимы. Чтобы язык мог выполнять разнообразные общественные функции, он должен иметь определенный уровень обработки; напротив, если функции языка сокращаются, то обедняется и даже разрушается его внутренняя структура, нередко вследствие смешения данного миноритарного языка с мажоритарным. Могут быть отмечены следующие оппозиции, касающиеся миноритарного языка:

— сформировавшийся язык, имеющий разработанную литературную норму;

— становящийся язык, норма которого формируется в процессе обустройства (каталанский, баскский, македонский). Во втором случае, естественно, обустройство связано с дополнительными трудностями. Кодификация языка может пользоваться поддержкой центральных государственных органов (македонский в Югославии) или же быть делом исключительно местной администрации и общественных организаций (баскский, каталанский).

В некоторых случаях речь идет о восстановлении частично или полностью утраченного языка, так что возникает проблема привития языка в качестве родного (таково положение баскского в ряде районов Эускади).

Важным фактором кодификации миноритарного языка является наличие или отсутствие у него языкового «хинтерланда» («тылового массива»). В первом случае (французский в Квебеке, нидерландский в Бельгии, албанский и венгерский в Югославии, шведский в Финляндии) миноритарный язык может опираться и в своей борьбе за выживание, и в формировании нормы на поддержку основной части носителей данного языка, живущей в другом, нередко соседнем, государстве. Во втором случае (баскский, каталанский, македонский, словенский) основная часть данного этноса проживает в данной стране и именно здесь решается будущее этого языка.

Таким образом, при формировании нормы миноритарного языка возможны три случая:

— миноритарный язык следует за нормой основной массы языка, представленной в хинтерланде (например, норма шведского языка в Финляндии следует общей норме этого языка в Швеции; албанский язык в Югославии пользовался вначале нормой, основанной на северном — гегском — диалекте, в 1969 г. под влиянием образованной элиты была принята норма Албании, основанная на южном — тоскском — диалекте);

— местная норма, следуя официально норме хинтерланда, проявляет тенденцию к обособлению от нее, интегрирует местные элементы, пришедшие из местных диалектов или из окружающих языков (нидерландский язык в Бельгии, французский в Канаде);

— формируется множественная норма, которая несколько различается в разных ареалах данного языка. Такая ситуация складывается для баскского языка. Также каталаноязычные жители Валенсии не приемлют полностью норму Барселоны.

В заключение остановимся на роли статистики в языковом обустройстве и на плюсах и минусах всего этого процесса.

Статистика играет огромную роль в процессе языкового обустройства, и статьи рассматриваемого сборника наглядно демонстрируют это. Цели статистики: определить языковой статус населенного пункта, проследить процесс смены языка: вытеснение миноритарного языка мажоритарным или, наоборот, степень внедрения миноритарного языка в разных сферах общения (администрация, экономика и др.), выявить уровень восстановления родного или миноритарного языка (число лиц, изучающих его, оставляющих занятия и т. п.).

Как показывают изложенные факты, политика языкового обустройства связана с определенными издержками и трудностями и политического, морального и материального порядка.

Политические аспекты проблемы проявляются в том, что расширение функций миноритарного языка, рост его престижа могут сопровождаться ростом стремления к национальной обособленности, к формированию автономной или федеральной административной единицы и даже к сепаратизму. Напомним, что борьба за права нидерландского языка в Бельгии завершилась созданием федерального государства.

Разнообразны и моральные проблемы. Прежде всего это, как мы видели, антиномия демократизма и антидемократизма в языковых вопросах. Защита языка этнического сообщества в целом может оказаться неразрывно связанной с ограничением прав отдельных граждан в выборе школы обучения их детей, в выборе места жительства и даже в пользовании языками. Это мы видели на примере Бельгии и Квебека.

Другим вопросом морального плана является необходимость принорить нередко живущее поколение, не знающее данного языка, в жертву тому, чтобы будущие поколения могли широко пользоваться этим языком.

Наконец, меры по языковому обустройству могут столкнуться с «языковым» эгоизмом, как с эгоизмом миноритарного населения, стремящегося иногда как можно больше отделиться от другой части страны и навязывающего свой язык всем, живущим на его территории, так и с эгоизмом носителей мажоритарного языка, которые, проживая в области миноритарного языка, часто не желают изучать этот язык, поскольку их собственный является средством межэтнического общения. С подобными явлениями мы встречались во многих рассмотренных ситуациях.

Материальные издержки языкового обустройства связаны с необходимостью расходовать значительные средства на подготовку учителей, переводчиков, на дублирование материалов, переводы, дублирование вывесок и т. п., а также с большими организационными усилиями. Нельзя игнорировать и возможный чисто экономический ущерб, вызываемый передислокацией предприятий, рабочей силы и пр. Например, вследствие перемещения из Квебека ряда англоязычных фирм провинция потеряла немало рабочих мест.

С другой стороны, как показывает материал книги, языковое обустройство дает и несомненные преимущества.

В моральном плане оно позволяет иноязычным группам населения свободно и на разных уровнях пользоваться родным языком, а это является одним из важных проявлений демократии и гуманизма. В плане полити-

ческим разумно осуществляемое языковое обустройство укрепляет правовой характер государства и способствует общественному спокойствию, оно погашает, как это видно на примере Канады, Бельгии, Страны Басков, сепаратистские стремления и выбивает почву из-под ног у экстремистов.

Языковое обустройство, проводимое в интересах малых языков, имеет огромное историко-культурное значение: оно позволяет сохранить для человечества языки и связанные с ними культурные ценности.

В психологическом отношении положительный эффект языкового обустройства проявляется в том, что языковое меньшинство освобождается от комплекса «неполноценности», приобретает чувство собственного достоинства, язык и культура становятся более престижными; благодаря этому растет его положительное отношение и уважение к мажоритарному языку и связанной с ним культуре.

Материалы статей книги показывают, что целесообразное и справедливое решение языкового вопроса устраняет языковое отчуждение, способствует росту полезной активности граждан и даже росту производительности их труда.

Сколь бы ни были сложны проблемы языкового строительства, сколь бы ни беспокоили они представителей мажоритарного языка, их разумное решение, с учетом двуязычия, в конечном счете идет на пользу всему обществу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. La norme linguistique. P., 1983.
2. La crise des langues. P., 1985.
3. Politique et aménagement linguistiques. P., 1987.

РЕЦЕНЗИИ

Алисова Т. Б., Репина Т. А., Таривердиева М. А. Введение в романскую филологию. Учебник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 1987. 344 с.; Практикум. М.: Высшая школа, 1987. 144 с.

Рецензируемая книга состоит из двух частей: первая представляет собой переиздание, исправленное и дополненное, учебника того же названия, вышедшего в 1982 г.; вторая является практическим дополнением к первой и содержит отрывки из текстов на латинском и романских языках. Тексты подобраны таким образом, чтобы помочь студентам, которым адресованы учебник и практикум, усвоить материал курса введения в романскую филологию и теоретически и практически. Студенты могут сравнить формы классического латинского языка с народнолатинскими, а затем и с формами раннесредневековой латыни. Сравнительный анализ раннероманских текстов может сопровождаться анализом современных романских языков. В практикуме представлены старофранцузский, старопровансальский, староитальянский, старороманский, старокаталанский, галисийско-португальский языки и румынский язык XVI—XVIII вв., а также современные «малые» романские языки: окситанский (провансальский), галисийский, сардинский, ретороманский, балкано-романские (южно-дунайские) языки / диалекты, арумынский язык / диалект, мегленитский язык / диалект, исторорумынский язык / диалект, далматинский язык и франкокреольские языки. Следует отметить, что такое объединение в одном комплексе сведений по романскому языкознанию и конкретного языкового материала, иллюстрирующего эти сведения не в виде отдельных примеров, а в виде связанных текстов, является замечательным нововведением, вполне отвечающим духу времени. До этого в нашем научно-педагогическом обиходе были известны комментированные переводы на ряд романских и германских языков текста П. Пасси «Солнце говорит: „Меня зовут солнцем“» [1], несколько отрывков на современных романских языках приведено в одном из недавно вышедших пособий по романскому языкознанию [2]; отрывки текстов на старых романских языках,

классической и народной латыни содержатся в различных хрестоматиях, однако все это для работы надо разыскивать. В рецензируемом пособии содержится комментированный, свособразный компендиум романских текстов, являющийся итогом многолетних творческих разысканий авторов.

По своему замыслу и его воплощению, по охвату материала и постановке проблем рецензируемый труд отвечает самым высоким требованиям. В нем широко представлено состояние теоретических разработок в области романского языкознания, выделены и проведены сквозь все содержание учебника и практикума ключевые проблемы романистики, последовательно раскрывается метод типологического анализа близкородственных языков, используется методика сравнительно-исторического изучения материала, доминирует филологический подход в интерпретации языковых фактов.

Существенной характеристикой рецензируемого труда является его современность, т. е. связь с теми направлениями в языкознании, которые получили развитие в последние десятилетия. Авторы используют положения семантического синтаксиса, теории референции, лингвистики текста, теории разговорной речи. Вместе с этим нельзя не отметить и подчеркнутую традиционности работы: она не порывает со знакомой схемой расположения материала и не отгазывается от известных разделов. В учебнике мы находим и раздел, посвященный истории и истокам романских языков (ч. II — «Истоки романских языков», автор — М. А. Таривердиева), и раздел, содержащий анализ языковых структур романских языков (ч. III — «Историческое развитие и структурная общность романских языковых систем», автор — Т. Б. Алисова), и раздел, посвященный общей характеристике Романии и романских языков (ч. I — «Романский языковой ареал и исторические условия его образования», автор — Т. А. Репина), и раздел, содер-

жащий историю изучения романских языков (ч. IV — «Романские языки как объект научного изучения», автор — Т. А. Репина). Таким образом, рассматриваются традиционно знакомые темы, и хотя толкование их получает часто новое освещение, наличие сохранения преемственности в романском языкознании, что совершенно необходимо для успешного развития науки.

Важнейшими проблемами романского языкознания остаются проблемы классификации романских языков, их происхождения и структурного описания. В книге эти проблемы решаются как взаимосвязанные. Генезологическая классификация языков подкрепляется типологической, от описания истоков романских языков протягиваются нити к описанию социально-исторической и структурно-функциональной их характеристики. Среди всех критериев анализа преимущество отдается социолингвистическим, что определяет предлагаемые в книге решения указанных трех проблем как наиболее общих. С этим же связаны решения и более частных проблем.

Дискуссионность проблемы классификации романских языков легко показать путем сопоставления классификации, которая дается в рецензируемой работе, с классификацией, которую находим в недавно вышедшей книге О. С. Широкова [3]. Авторы рецензируемого труда находят неудовлетворительными такие критерии выделения самостоятельных романских языков, как наличие или отсутствие литературного употребления, своеобразие фонетических черт, взаимное понимание или непонимание (с. 8); романские языки определяются на основании критериев социолингвистического статуса языковой единицы и своеобразия ее исторического развития. При этом подчеркивается, что «...социолингвистический статус языка относится к числу наиболее подвижных, поскольку он непосредственно связан с событиями политической жизни государств и народов» (с. 9). О. С. Широков утверждает, что генезологические классификации языков основываются на фонетических закономерностях [3, с. 91, 250].

В соответствии с тем, каким критериям отводится основная, а каким — второстепенная роль, строятся классификации романских языков. В рецензируемой книге она дается в соответствии с правовым положением языка (язык государства, автономной области и т. д.) и с учетом литературной или исторической традиции. Вслед за В. Г. Гаком [4] отношения между языком и языковым коллективом (лингвосоциумом) рассматриваются в функциональном плане, который позволяет также решать вопросы вариантности

внутри отдельно взятых языков [5—7]. Отодвигая на второй план эту исторически подвижную характеристику языков и диалектов, А. В. Широкова сосредоточивается главным образом на той лингво-географической карте Романии, которая отражает диалектное дробление вульгарной латыни [8—10].

Второй дискуссионной проблемой, рассматриваемой в рецензируемой книге, является проблема происхождения романских языков. Как это ни покажется странным, не все усматривают истоки романских языков в народной латыни, хотя сторонники этой точки зрения среди романистов большинство. Об этом пишет польский ученый В. Маньчак, который придерживается противоположных взглядов [11]. Идея происхождения романских языков от вульгарной латыни является, по его мнению, несмотря на ее большую популярность, наиболее уязвимой [она же является и самой старой, восходя к Дицу и далее к Бонами (XVIII в.) и гуманистам (XV в.)]. Источком романских языков Маньчак считает классическую латынь: что же касается вульгарной, или народной, латыни, то это — промежуточный этап между классической латынью как общероманским языком и романскими языками [11, с. 114]. Взгляды Маньчака подкрепляются анализом материала, засвидетельствованного в письменных памятниках (восстановленные формы он не использует в своем анализе), и заслуживают аргументированного рассмотрения, чего, к сожалению, нет в рецензируемой книге. Между тем рациональное зерно в тезисе и разработках польского ученого есть [12; 13]. Оно заключается в том, что существовал общелатинский лексический и грамматический фонд, который лежал в основе классической (письменно-литературной) и народной (разговорной) форм речи. Маньчак усматривает этот фонд в классической латыни, прослеживая затем его судьбу в романских языках.

Этот общелатинский языковой фонд учитывается авторами рецензируемой работы, но пафос их рассуждений в другом. «Введение в романскую филологию» строится как введение в изучение романских языков, развивающихся на основе народнолатинской разговорной речи. Народная латынь определяется как «общеразговорный латинский язык во все периоды его существования, с особым учетом всех тех инноваций, которые появились в поздний период его развития, непосредственно предшествовавший периоду формирования романских языков» (с. 86). Особый учет инноваций заключается в том, что именно они составляют предмет изучения при сравнении строя романских языков. Не «поиски единого прародителя

романских языков», а «отыскание признаков единой направленности развития от народной латыни к романским языкам», — вот что является сегодня актуальным для лингвистов (с. 189). Эта идея служит стержнем второй и третьей частей книги, поэтому мы не найдем там систематического описания фонетики, грамматики и лексики народной латыни в духе известных разделов в трудах М. В. Сергиенского [14], Э. Бурсье [15], К. Тальявини [16] или в книге М. С. Гурычевой [17]. Признается необходимым «обнаружить рассеянные в литературных источниках элементы разговорной речи, выделить их и, систематизировав, восстановить, пусть вынужденно неполную, картину развития латинского языка в разных частях Римского государства» (с. 76). Эта картина воссоздается на широком фоне истории латинского языка, с описанием источников и средств изучения народной латыни, факторов и путей ее дифференциации.

Включаясь в дискуссию по поводу происхождения романских языков, их истоков в виде праязыка, хотелось бы сказать, что версия о народнолатинской основе романских языков нуждается в уточнениях. Необходимо не только изучать историю латинского языка и форм его существования, но и дать этим формам соответствующие названия. Здесь имеется в виду то, что называть народной латынью общеразговорный латинский язык во все периоды его существования значит создать много неудобств при изучении этой формы речи. Начать с того, что даже краткое перечисление структурных черт народной латыни (с. 89—91) дает представление о новой и во многом отличной от классической латыни системе. Если эта система сосуществовала с системой классической латыни, то можно заключить, что Цицерон или Цезарь в одних условиях общения пользовались, скажем, системой вокализма, основанной на количественных противопоставлениях гласных, а в других — системой, основанной на качественных противопоставлениях. Конечно, данное предположение абсурдно. Однако и разговорную форму речи времен Цицерона (106—43 гг. до н. э.), и разговорную форму речи в III—V вв. называют народной латынью. Поэтому при употреблении термина каждый раз требуется хронологическое добавление. Было бы значительно удобнее, не вводя новых терминов, говорить о письменной и устной разговорной форме латинского языка во все периоды ее существования и закрепить термины «классическая латынь», «народная латынь» и «вульгарная латынь» за хронологически определенными отрезка-

ми времени (с I в. до н. э. до VIII в. н. э.) [18]. При этих условиях достигается не только более четкое наименование объектов, но и непротиворечивая трактовка материальной основы романских языков (латинский язык) и формы преобразования этой основы (народноразговорная форма речи).

Следующей проблемой, которая поставлена и успешно разрешается в рецензируемой работе, является проблема типологического сопоставления романских языков. До недавнего времени в работах по романскому языкознанию [14—17] каждый из романских языков описывался отдельно. Сама идея типологического изучения близкородственных языков вызвала споры. Сравнительно-исторический метод изучения близкородственных языков противопоставлялся структурно-типологическому на том основании, что диахронное исследование есть исследование асистемного состояния языка, а синхронное — системного. Потребовалось время для того, чтобы в языкознании укрепилось представление о том, что и в диахронии можно изучать структурно-функциональные характеристики языка [19—21]. В романском языкознании синхронное изучение романских языков носило сравнительно-сопоставительный и типологический характер [22], была выявлена логическая зависимость между сравнительно-историческим и структурно-типологическим методами, которые должны рассматриваться, по словам Г. В. Степанова, в качестве одной из основных логических операций научного мышления — сравнения [23, с. 6].

Структурная общность романских языков раскрывается через «типологические романизмы» (с. 189) и дифференциальные признаки, свойственные и несвойственные романским языкам (с. 181—186, 289—290). Эти характеристики прослеживаются в народнолатинской речи и далее в истории складывавшихся романских языков вплоть до их современного состояния. Наличие «типологических романизмов» во всех романских языках определяется тем, что они были присущи разговорной речи. Приводятся параллели с другими языками, в частности, с русским. Например, при описании фонетических изменений сравниваются сходные явления в русской разговорной речи (выпадение интервокального взрывного, носовых согласных и др., с. 140), при обсуждении функций местоименных слов приводятся примеры на референцию имен не только романских языков, но и русского (с. 213—214). Подобные параллели, рассеянные по всей третьей части книги, подчеркивают типологический характер фактов и явлений, имеющих своим источником разговорную речь. Типология роман-

ских структур прослеживается также с помощью филологического метода анализа на материале ранних памятников письменности. Привлекается, и довольно регулярно, корпус примеров из классической латыни, в ряде случаев сопровождаемый пометой «кл. лат.», чаще — «лат.» Например, когда речь идет об ирреальных наклонениях в латинском и романских языках, сравниваются классическая, народная латынь и романские языки (с. 267—276). Когда идет речь о возрастании в поздней латыни перифразы *habeo* (*habebam*) + р. п., это связывается с общей ориентацией нормы языка на разговорную речь (с. 259). С этим же связаны экспансия глагола *habeo* за счет *esse* как в самой латыни, так и в романских языках (с. 242), а также расширение сферы употребления активной перифразы типа *consilium captam habeo* за счет пассивной *mihī consilium captam est* и в целом общероманская тенденция к распространению «номинативного» строя предложения с семантическим субъектом в форме именительного падежа (с. 259). Все эти количественные характеристики подразумевают существование той формы речи, с которой проводится имплицитное сравнение употребительности данных структур, т. е. классической латыни. Именно в этой форме речи имели место те структуры, которым позднее была уготована роль романских инноваций, «типологических романтизмов».

Здесь возникает некоторый парадокс. С одной стороны, мысль эта заранее отвергается: «Все протороманские инновации возникли не в письменной латыни — будь то классической или поздней, а в устной латинской речи любого стилистического регистра, естественным продолжением которой явились бесчисленные романские диалекты — *rustica romana lingua*, сохранявшие свой чисто разговорный статус на протяжении нескольких веков» (с. 189). С другой стороны, однако, мысль эта получила свое выражение: «... следует помнить, что основой романских языков является лексический и грамматический фонд латинского языка, общий и для всех его ступеней» (с. 86) и далее: «Таким образом, при изучении генезиса романских языков необходимо учитывать все разновидности латыни — как хронологические, так и социальные, — и все аспекты языкового материала, ибо только взятый в полном объеме, он может дать более или менее реальную картину языкового развития» (там же). Надо полагать, что парадокс снимается сам собой, если вспомнить слова Г. В. Степанова о том, что латынь как язык-эталон в типологических исследованиях романских языков, не являясь искомым объектом, является постоянным

компонентом сравнения, а вульгарная латынь по отношению к латыни классической «может рассматриваться как вариант (временной, пространственный и социальный) общелатинской диасистемы» [23, с. 12].

При постановке проблемы структурной общности романских языков были сформулированы некоторые критерии, по которым можно объединять или противопоставлять романские языки (с. 35—38). Сюда относятся и более частные и более общие особенности в способах выражения значений, например, флективное или нефлективное оформление именной группы: исп. *el amigo del vecino*, франц. *l'ami du voisin*, рум. *prietenul vecinului*. Используются понятия синтеза / анализа и вторичного синтеза, например, при рассмотрении румынского склонения или французского будущего времени; предлагается также учитывать степень архаичности языка, которая определяется по функциональным характеристикам элементов в системе языка, а не по наличию этих элементов в латыни. Например, сохранившийся только в восточнороманских языках суффикс не является архаизмом — это живая продуктивная форма, выступающая в виде вторичного инфинитива. В дальнейшем, при описании фонетики, грамматики и лексики романских языков, анализ усложняется. Это связано с созданием принципов наблюдения, описания и объяснения языковых фактов в рамках нового историко-типологического подхода к изучению романских языков.

Выделяется прежде всего принцип системного рассмотрения языковых фактов. Этот принцип распространяется на все уровни языковой системы, какой бы ракурсом анализа ни был взят. При изучении внутрисистемных преобразований раскрываются тенденции развития, как общероманские, так и частные. Например, последовательно показана общероманская тенденция к аналитическому строю. Речь идет и об изменениях синтактико-аналитической конструкции сложного романского перфекта в морфолого-аналитическую (с. 190, 259—261), и о формировании аналитических каузативов (с. 243) и др. Разные тенденции развития имеют, например, автономные и неавтономные местоимения: в большинстве романских языков автономные местоимения лишались падежных форм, тогда как неавтономные сохранили от двух (португальский, испанский) до шести (французский, итальянский) форм (с. 220). Таким образом создается картина телеологического (целенаправленного) характера преобразований, в результате которых сформировались романские языки. Сближение понятий телеологии и тенденции находим у Н. С. Трубецкого,

который писал о том, что «осмысленность эволюции языка прямо вытекает из того, что „язык есть система“» [24].

Непрерывным условием исследования является также учет внешних факторов языковых изменений, изучение истории языкового коллектива. Мотив социальной обусловленности функционирования и развития языка может звучать имплицитно, когда идет речь, например, об особенностях употребления глагольных времен в различных функциональных и региональных вариантах романских языков (с. 261, 264), или эксплицитно, когда речь идет о заимствованиях и контактах языков (с. 152—156). Сюда же можно отнести принципиальное разделение в анализе устной и письменной форм речи: «...разговорный язык и письменная норма кодифицированного литературного языка имеют разные „константы развития“» (с. 195). Эта хорошо известная идея получает сегодня интересные разработки в рамках теории скрипты [25—26], которая дает иную картину вариантности окситанских форм, цитируемых в связи с тезисом о полиморфии фонетических слов (с. 156). Речь идет о графических вариантах в текстах старопровансальского языка XII—XIII вв. (*noit, nueit, nuoit, nuech; canso, chançon, chanzò*), которые в рецензируемом труде рассматриваются как фонетические варианты, отражающие фонетические законы разных областей Окситании. По поводу тех же самых примеров Р. Лафон замечает, что если в наши дни трактовка группы *cs* делит окситанский на западную зону (*fait*) и восточную (*fach*), то локализовать язык трубадуров на основе фантазии скрибов невозможно [27]. Иными словами, скриптологи не склонны видеть в графических вариантах форм отражение диалектных, т. е. устных, произносительных вариантов этих форм.

Наконец, одним из замечательных принципов исследования процессов развития романских языковых систем и их структурно-функциональных схождений и расхождений является привлечение поистине огромного фактического материала, который представлен в диалектике своего функционирования в планах системы, узуса и нормы. Для типологии сходств и различий это имеет особенно важное значение [28].

В целом рецензируемая книга настолько богата по содержанию, по затрагиваемым и решаемым проблемам, по методу подачи материала, что в короткой рецензии можно было всего лишь коснуться некоторых ее примечательных свойств. Остается надеяться на то, что внимательный читатель найдет в книге ответ на многие вопросы, возникающие при изучении курса введения в романскую фило-

логию, в том числе и на те, которых не удалось коснуться в рецензии. Книга Т. Б. Алисовой, Т. А. Репиной, М. А. Таривердиевой, вышедшая вторым изданием, по праву может быть названа одним из выдающихся трудов по романскому языкознанию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богородицкий В. А. Введение в изучение современных романских и германских языков. М., 1959.
2. Зубова Т. Е., Кистанова Л. Ф., Чанля А. И. Введение в романскую филологию. Минск, 1983.
3. Широков О. С. Введение в языкознание. М., 1985.
4. Гак В. Г. Проблема соотношения между родственными языками в функциональном аспекте // Типология сходств и различий близкородственных языков. Кишинев, 1976.
5. Пиотровский Р. Г. Близкородственные языки или национальные варианты? // Типология сходств и различий близкородственных языков. Кишинев, 1976.
6. Бородина М. А., Николаева С. П. К вопросу о равнозначности и подчиненности вариантов языков // Типология сходств и различий близкородственных языков. Кишинев, 1976.
7. Реферовская Е. А. Канадский вариант французского языка // Типология сходств и различий близкородственных языков. Кишинев, 1976.
8. Широкова А. В. Территориальная дифференциация языка. М., 1979.
9. Широкова А. В. Сравнительно-историческая фонетика романских языков Пиренейского полуострова. М., 1982.
10. Широкова А. В. Сравнительно-историческая фонетика романских языков (ареалы Галлии и Балкан). М., 1981.
11. Mańczak W. Le latin classique — langue romane commune. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1977.
12. Mańczak W. Le développement phonétique des langues romanes et la fréquence. Krakow, 1969.
13. Mańczak W. Phonétique et morphologie historique du français. 2 ed. Warszawa, 1973.
14. Сергиевский М. В. Введение в романское языкознание. 2-е изд. М., 1954.
15. Бурсье Э. Основы романского языкознания. М., 1952.
16. Tagliavini C. Le origini delle lingue neolatine. Introduzione alla filologia romana. Bologna, 1972.
17. Гурьчева М. С. Народная латынь. М., 1959.
18. Скрелина Л. М. Хрестоматия по истории французского языка. М., 1981. С. 179.

19. Тезисы Пражского лингвистического кружка // *Звегинцев В. А.* История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. Ч. II. М., 1960.
20. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970. С. 266—270.
21. *Skreliņa L.* De l'économie de certains changements grammaticaux en ancien français // *La linguistique*. 1968. № 1.
22. *Катагощина Н. А., Вольф Е. М., Лухт Л. И., Гурычева М. С.* Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков. Проблема структурной общности. М., 1972.
23. *Степанов Г. В.* Введение // *Степанов Г. В., Вольф Е. М., Лухт Л. И., Супрун А. В.* Грамматика и семантика романских языков (К проблеме универсалий). М., 1978.
24. *Трубецкой Н. С.* Избранные труды по филологии. М., 1987. С. 510.
25. *Катагощина Н. А.* Понятие scripta и проблема языковой интерпретации старофранцузских текстов // Исследования по романской филологии. Л., 1978.
26. *Становая Л. А.* Оформление старофранцузского подлежащего в свете теории скрипты // Компонентный состав предложения. Л., 1986.
27. *Lafont R.* Trobar. XII—XIII-e siècles. Montpellier, 1972. P. 12.
28. *Бородина М. А., Скрелина Л. М.* Категории субъекта и объекта в романских языках // Категория субъекта и объекта в языках различных типов. Л., 1982. С. 21.

Скрелина Л. М.

Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. Проблемы семантики. Новосибирск: Наука, 1986. 230 с.

Рецензируемая книга посвящена специальному исследованию семантической специфики экспрессивной лексики литературно-разговорного и диалектного употребления. В работе представлены результаты парадигматического и синтагматического анализа экспрессивных слов — лексем и лексико-семантических вариантов, выявлены типы лексических экспрессивных значений и коннотативных сем, формирующих эти значения. Автором предложена новая концепция экспрессивной семантики на материале экспрессивной лексики разговорного употребления (далее сокращенно — ЭЛРУ).

Монография состоит из Введения, двух разделов и Заключения. В конце ее прилагается словарь экспрессивных лексем и лексико-семантических вариантов, использованных в качестве иллюстративного материала. Завершает книгу обширная литература по избранной проблеме (более 300 наименований).

Во Введении автор объясняет объект своего исследования, его материал, вскрывает состояние разработки проблем экспрессивной лексической семантики русского языка и выдвигает постулаты, которые верифицируются в последующих разделах и главах книги (с. 3—14). К числу нерешенных вопросов теоретического, методологического и лексикографического характера, имеющих непосредственное отношение к исследуемой проблематике, Н. А. Лукьянова справедливо относит следующие: содержание тер-

минов «экспрессивность», «образность» «коннотация», «экспрессивная функция» и др; границы экспрессивной лексики и ее взаимодействие с номинативной лексикой русского языка; состав экспрессивной микросистемы как специального фонда языка; семантическая структура коннотации; особенности проблем экспрессивности в лексикологии, семасиологии и стилистике; лексикографическое отражение экспрессивной семантики и ряд других проблем (с. 3—14). Перечисленные вопросы, как и многие другие, ни в отечественном, ни в зарубежном языкознании не имеют адекватного решения, и потому обращение к ним автора данной монографии заслуживает внимания.

Первый раздел книги «Семантическая основа экспрессивности и границы экспрессивной лексики» состоит из двух глав. В гл. 1 Н. А. Лукьянова связывает семантическую категорию экспрессивности с экспрессивной функцией языка, которая имеет систему средств выражения на всех языковых уровнях. В монографии рассматривается преимущественно лексический уровень литературного и диалектного языка, формирующий фонд ЭЛРУ. Этот фонд, по мнению автора книги, частично пересекается с номинативным фондом языка. Тем самым автор противопоставляет ЭЛРУ номинативному фонду языка и выделяет ее в относительно самостоятельную подсистему, единицей которой является экспрессив (с. 27—34). Необходимо, однако, отме-

тить, что сама номинация может быть изначально экспрессивно-эмоционально-оценочной [1—3].

Н. А. Лукьянова формулирует следующие положения: экспрессивность — семантическая категория, и потому это область семасиологии и лексикологии, а не стилистики, хотя автор и допускает, что экспрессивность имеет также и стилистический аспект; единица этой категории — экспрессив-лексема или лексико-семантический вариант, основным содержанием которых является экспрессивное значение; главная функция последнего — выразить представление о предмете и эмоциональное отношение к нему; семантическим основанием экспрессивности является эмоциональная оценка, интенсивность и — факультативно — образность (с. 45—75); данные семы порождают экспрессивную семантику лексемы и, по утверждению автора, присутствуют «в семантике любого экспрессива в совокупности» (с. 81); коннотация есть экспрессивность. Таким образом, лексическое значение экспрессива состоит из двух макрокомпонентов: номинативного и коннотативного (т. е. экспрессивного), каждый из которых имеет свою структуру (с. 45—55, 56—63).

Попутно Н. А. Лукьянова дает оценку различным методикам исследования экспрессивности и отмечает, что наиболее информативным источником представления об экспрессивности того или иного слова является языковая компетенция носителей литературного языка, диалекта.

Среди множества новых знаний об экспрессивности, полученных в исследовании Н. А. Лукьяновой, особый интерес представляет установление ею границ экспрессивной лексики (хотя и условных, но все же границ), введение понятия экспрессивного фонда разговорного употребления, установление факта возможного совмещения в семантической структуре экспрессива собственно номинативного и экспрессивного значений. К числу заслуживающих внимания относится и предложенное автором понимание образности: образ — это эталон, он имеет «пьедестал» и надстройку (с. 69); образность считается компонентом лексического значения экспрессива (с. 75). Характерно, что к такому же выводу приходят и другие авторы, специально исследовавшие категорию образности с семасиологических позиций [4—5].

Однако едва ли правомерно, на наш взгляд, утверждать, что все экспрессивы соотносятся не с денотатом, а только с референтом (с. 42). Нам представляется, что когда называют кого-либо «шалопаем», «балаболкой», «врачем», то имеют в виду обобщенный образ соответствующе-

шего типа людей, представление о нем. Вызывает возражение и отождествление, проводимое автором между экспрессивностью и коннотацией, и употребление этих терминов как синонимов (с. 76). Специальное исследование показало, что коннотативна фактически только эмотивность (см. аргументацию в [6]).

Второй раздел рецензируемой книги «Семантика экспрессивов» содержит три главы. В гл. 1 рассматриваются формальные признаки и неформальные показатели экспрессивности. Здесь аргументируется следующее положение: экспрессивность как семантическое свойство ЭЛРУ мотивирована либо словообразовательно, либо семантически посредством внутренней формы или метафоры (с. 85). Большинство экспрессивов, по данным Н. А. Лукьяновой, являются мотивированными (с. 104). Экспрессивная семантика представлена в языке тремя типами значений и соответственно тремя типами ЭЛРУ (с. 105). Как между данными значениями (эмоционально-оценочным, интенсивно-эмоционально-оценочным и экспрессивно-интенсивным), так и между соответствующими группами экспрессивной лексики отсутствует четкая граница: это объясняется размытостью границ между коннотативными семами экспрессивности, а также различным «поведением» одного и того же экспрессива в различных контекстах (с. 106). Новым в рассматриваемом исследовании является и то, что не получает подтверждения широко распространенное в русистике мнение о диффузности как обязательном компоненте экспрессивного слова (с. 160).

Последняя глава второго раздела посвящена экспрессивному слову в высказывании (с. 164—195). При рассмотрении «поведения» экспрессивов в речи Н. А. Лукьянова убедились в том, что экспрессив не создает экспрессивного контекста, а сам тяготеет к эмоционально насыщенным высказываниям (с. 185). Экспрессивный контекст автор удачно называет «контекстом-мнением» в противоположность неэкспрессивному, который она именует «контекстом-сообщением». Чрезвычайно оригинальной и потому интересной является «находка» автора, касающаяся аналогии экспрессивного текста с лексической единицей, имеющей и план содержания (экспрессивная семантика), и план выражения (особые синтаксические конструкции и их лексическое наполнение) (с. 186—188).

Заключительная глава книги представляет значительный интерес для русистики еще потому, что диалектный материал привлекается к исследованию в аспекте лингвистики текста. Весьма интересно в связи с этим выдвигаемое Н. А. Лукьяновой положение относительно

участия диалектной лексики в формировании различных типов экспрессивных контекстов — информативного, слабо информативного и неинформативного (с. 172—174); обращает на себя внимание также тезис автора об участии диалектной лексики в актуализации и экспликации экспрессивности.

Разумеется, в краткой рецензии невозможно рассмотреть подробно все новые положения предлагаемой Н. А. Лукьяновой концепции экспрессивности языка, неизбежно лишь перечисление наиболее оригинальных и значительных. Кроме уже названных выше, хочется указать и на то положение автора, что новизна, вопреки широко распространенному в современном языкознании мнению, не является признаком экспрессивности. Новизна — признак неологизма, который не обязательно является экспрессивом.

Для коммуникативной грамматики интересен вывод Н. А. Лукьяновой о том, что типы экспрессивных значений не закрепляются за ЭЛРУ определенных частей речи. Автором установлено, что экспрессивная лексика и все типы экспрессивных значений представлены во всех частях речи (с. 108—109). Другое дело, что, например, глаголам в большей степени свойственны интенсивно-эмоционально-оценочный и экспрессивно-интенсивный типы экспрессивных значений. Это, как объясняет автор, обуславливается спецификой глагольной семантики.

Необходимо подробнее остановиться на представленной в книге концепции образности. Н. А. Лукьянова считает, что образность — не средство создания экспрессивности, а ее цель (с. 119). Прежде всего, хочется возразить против известной «заданности» в определении образности (с. 123), в которой отражена ее функциональная направленность на выражение эмоциональной оценки (с. 119—120). Согласно мнению автора, слово, выражающее посредством образа внеязыковое содержание, но не содержащее эмоциональной оценки, — не образное, а содержащее эмоциональную оценку — образное. Почему? Почему автор признает оценочность эмоциональную и рациональную, интенсивность экспрессивную и денотативную и не допускает возможности существования образности экспрессивной (эмоциональной) и денотативной (номинативной)? Изложенное автором понимание образности, как представляется, является суженным. Думается, что образность (а точнее, возможно было бы говорить о внутренней форме, образно мотивирующей экспрессивное значение) — это все же один из механизмов создания экспрессивности: практически все экспрессивы — это номинации

либо производные, либо с «экзотической» звуковой формой. А это значит, что стадия образности обязательна, значима же не образность сама по себе, а эмоционально-оценочная семантика, производящая экспрессивный эффект.

Представляется, что позиция Н. А. Лукьяновой относительно образности как компонента семантической структуры слова (с. 120) нуждается либо в дополнительной аргументации, либо в коррекции.

Свою задачу Н. А. Лукьянова видела в том, чтобы изложить теоретическую концепцию экспрессивности и одновременно осмыслить ее основные понятия, предложить ряд новых терминов. Данная задача, несомненно, полностью выполнена. Поисквая проблема получила решение, проливающее свет на многие вопросы экспрессивной семантики языка. Выводы Н. А. Лукьяновой послужат теоретической и методологической базой для дальнейших изысканий в этой пока еще мало разработанной области семаспологии языка.

Разумеется, в рецензируемой монографии, посвященной столь сложным вопросам, не может не быть спорных положений, но концепция экспрессивности, которая в ней разработана, представляется достаточно обоснованной и внутренне непротиворечивой. Она, несомненно, будет стимулировать дальнейшие изыскания лингвистов в этом направлении.

В заключение отметим, что книга Н. А. Лукьяновой написана простым, доступным языком, прекрасно издана и богато иллюстрирована примерами, в том числе — из диалектов сел Сибири.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций // Языковая номинация (Общие вопросы). М., 1977.
2. Телия В. Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация (Виды наименований). М., 1977.
3. Шаховский В. И. О способах эмотивной номинации // Семантико-системные отношения в лексике германских и романских языков. Волгоград, 1981.
4. Лебедева М. С. Образные аспекты семантики имени существительного в современном английском языке: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1981.
5. Блинова О. И. Явление мотивации слов (лексикологический аспект). Томск, 1984.
6. Шаховский В. И. Эмотивный компонент значения и методы его описания. Волгоград, 1983.

Блинова О. И., Телия В. Н.,
Шаховский В. И.

На первый взгляд, монография Н. А. Кожевниковой не выходит за рамки очерченной автором задачи — описание принципов словоупотребления в русской поэзии начала XX века. Но само по себе обозрение и систематизация материала приводит к более важному результату, и результат этот — совмещение методов и задач поэтики с фактами истории языка.

Пожалуй, впервые в столь явной и четкой форме лингвопоэтический анализ не исчерпывается самой по себе весьма важной задачей описания языковой организации и системы языковых средств текста или идиолекта. В результате наблюдений Н. А. Кожевниковой возникает весьма отчетливая картина некоторого временного среза русского поэтического языка, а точнее — некоторая языковая система, которая оказалась актуализованной в языке русской поэзии начала XX в. (в первую очередь — в языке символистов).

Отсутствие подобного исследования ощущалось довольно остро. Пожалуй, после образцового, но ныне явно устаревшего исследования В. Гофмана [1] впервые характерная для символистов «поэтика слова» рассматривается как единая и целостная система, ключ к пониманию и построению которой автор ищет в принципах словоупотребления. При этом в исследовании Н. А. Кожевниковой в полной мере отразились намечающиеся в современной общей и поэтической лексикологии изменения в подходе к слову. «Герой» ее книги — это слово в тексте и контексте, т. е.: 1) слово как элемент определенного семантического поля; 2) слово как объект того или иного смыслового преобразования; 3) слово как компонент семантической структуры текста; 4) слово как отголосок предшествующих контекстов его употребления. Такой исследовательский стиль оперирования лексикой, столь отличный от более привычного лексикографического подхода, рискован, за неимением термина, назвать структурно-тезаурусным. Этот стиль может смутить читателя, который ожидал бы встретить в книге списки метафор и метонимий, славянизмов и варваризмов, и т. д. Конечно, подобные лексикографические пометы имеются, причем они играют немаловажную роль в рубрикации материала, но автора интересует функциональная значимость лексических средств, а не просто их классификация.

Н. А. Кожевниковой удалось в значительной мере поколебать расхожее представление об ограниченности словаря

символистов, сформулированное еще их современниками (ср.: «Вон истину русские символисты были столпниками стиля: на всех не больше пятисот слов» [2]). В самом деле, наиболее бросающееся в глаза свойство языка символистов — это ограниченность лексики и сосредоточенность на круге традиционных образов. Согласно автору, дело не в скудости лексических средств, а в функциях и отношениях, которые приобретают лексические единицы в системе языка символистов. В соответствии с эстетикой символизма мир должен быть описан посредством ограниченного набора универсальных образов-смыслов, «вечных символов». Отсюда тяготение к традиционной поэтической лексике, но без предшествующего разграничения сфер ее употребления: одни и те же символы описывают как внешний, так и внутренний мир, те же свойства приписываются различным объектам и т. д. Все это служит выражению характерного для символистского мироощущения «принципа соответствий». Лингвистической базой такого процесса является разработанная символистами особая «поэтическая грамматика», система приемов, средств сочетания смыслов: «Своеобразие словоупотребления в поэзии символистов во многом определено тем, что в центр выдвигаются приемы, которые в поэзии XIX в. были на периферии... В результате этого в поэзии символистов на первый план выходит непрямое слово, меняется соотношение конкретного и отвлеченного... Ограниченность словаря символистов, о которой, впрочем, можно говорить только условно, компенсируется расширением сочетаемости слов, изменением их семантического объема» (с. 250).

Расширение сочетаемостных возможностей слова при четком структурировании словаря и выделении в нем основного ядра — вот что в наибольшей мере характеризует язык символистов. (Именно структурированность, выделяемость основного ядра и создает внешнее впечатление скудости словаря.) Автора интересует не столько словарь сам по себе, а лексическая система, определяющая принципы и отношения сочетаемости между смыслами.

В основе этой лексической системы — закрепленные поэтической традицией и вошедшие в языковую обиход общезначимые смысловые связи, отношения. Дальнейшие индивидуальные вариации опираются на исходные тематические отношения, но эти вариации могут, не нарушая общей системы, приводить и к новым лексиче-

ским связям. Например, на основе исходного традиционного отношения «слово — жемчуг» возникают и такие сочетаемостные связи, как: «слово — алмаз, сапфир, колчедан, кристалл» и т. д. Во всех этих случаях одно и то же общезначимое отношение между тематическими классами (поэзия — драгоценный камень) может реализовываться в различных образах. Н. А. Кожевникова вначале выделяет общезначимые тематические отношения, закрепленные в опорных символах (типа: «жизнь — храм», «мир — книга», «жизнь — путь» и т. п.), затем — их индивидуальные лексические вариации. Приводимый автором материал убедительно доказывает наличие единой для всей поэзии символизма (и в определенной мере унаследованной и последующими литературными направлениями) системы относительно устойчивых связей между определенными лексико-семантическими полями, т. е. наличие характерной для русских символистов единой языковой картины мира.

Именно потому, что автора интересуют в первую очередь не сами слова и даже не отношения между словами, а отношения между смыслами, предлагаемая им систематизация значительно отличается от обычно принятых. Например, глава «Тропы в поэзии начала XX в.» посвящена не столько описанию тропов и их типологии, сколько образующим эти тропы отношениям между семантическими полями. Н. А. Кожевникова выделяет группы опорных слов, каждое из которых является ядром определенного лексико-семантического поля, и прослеживает, как «вокруг определенных опорных слов группируются чучки разнотипных сочетаний» (с. 78). Действительно, если одно и то же смысловое отношение может быть выражено посредством различных конструкций, то надо сначала выделить это отношение, а лишь затем — средства его выражения. Не столь существенным предстает и направление метафоризации — поскольку в ее основе лежит симметричное отношение между семантическими полями. Раздельное же описание типов тропов (отдельно сравнений, отдельно метафор и т. д.) скрадывает единство семантической системы, а в ряде случаев и создает неразрешимые теоретические проблемы (например, проблему четкого разграничения различных типов тропов). И, в частности, впервые в столь полной форме описанное Н. А. Кожевниковой явление обратимости тропов (преобразование одних тропов в другие, но выражающие те же смысловые отношения), внешне, казалось бы, незаметное явление опровергает любую теорию, абсолютизирующую семантические отличия между типами тропов.

Поскольку внимание исследовательницы сосредоточено на вопросах системных отношений и смысловой сочетаемости лексических единиц, то вполне закономерно, что анализ принципов поэтического словоупотребления вплотную приводит автора к проблеме «слово в тексте». Ведь слово в лексической системе поэзии символизма есть в то же время слово в системе текстов, — причем не только оригинальных текстов символизма, но и тех, на которые была ориентирована их поэзия. Отношения между семантическими группировками внутри лексической системы — это суть системные связи между текстами (откуда и столь характерное для символизма явление, как циклизация лирических стихотворений и высокая степень их межтекстовой связанности). Автор показывает, как те же связи, которые характерны для лексической системы в целом, организуют и отдельные тексты: слово определяется в системе текстов, а лексическая система оказывается репрезентированной в нем. В качестве средств развертывания слова («словоупотребления») в текстовую структуру рассматриваются такие приемы, как повтор, параллелизм, опора на реалию, обратимость тропов и т. д. Правда, мне кажется, что в данном случае имеется в виду не столько «лексикологическое» слово, а скорее некоторый семантический комплекс, задающий тематическую структуру текста. Формально этот комплекс может быть отождествлен со словом, но не со словом-лексемой, а со словом — лексической микросистемой, словом — пучком торчащих в разные стороны смыслов [3].

Н. А. Кожевникова весьма убедительно выявила тесную зависимость между словом в лексической системе и словом в тексте. Более того — она показала и соотнесенность между лексической системой и системой текстов, а также между словом в системе текстов символизма и текстом как образом лексической системы языка символистов. Демонстрации и конкретизации этих положений служит вторая часть книги — «Сквозные мотивы и образы лирики А. Блока». Анализируя принципы блоковского словоупотребления, Н. А. Кожевникова рассматривает лексические средства, создающие единство лирики Блока и организующие ее как связный единый текст. Основными интегрирующими средствами являются межтекстовая связанность и циклизация текстов, а на следующем уровне рассмотрения — циклизация и лирических циклов. Как известно, сам Блок именно так рассматривал свое творчество, называя его «романом в стихах». Такое рассмотрение творчества Блока — пожалуй, ведущее в современном блоковедении (см. работы Д. Е. Максимова, З. Г. Минц

и др.), но впервые оно осуществлено в столь полном объеме. Правда, на мой взгляд, во второй части Н. А. Кожевникова несколько отходит от присущего ей принципа системного рассмотрения материала: следуя от текста к тексту, она рассматривает лирику первого тома, затем второго и третьего (каждому посвящена отдельная глава). Но в результате стремления охватить буквально каждое словоупотребление поэта иногда возникает нечто вроде обстоятельного лексического комментария к стихам поэта, самого по себе весьма полезного, но несколько затемняющего системный характер языкового мышления Блока. Кроме того, создается впечатление, что обилие посвященных поэтике Блока исследований (а они большей частью затрагивают лексику) несколько сковывает автора: Н. А. Кожевникова почему-то отказывается от лингвистического инструментария и следует в целом в русле литературоведческой традиции.

Впрочем, вспомнив, что исследование Н. А. Кожевниковой — это «не одно из...» в ряду подобных, а по сути открывает этот ряд. Отсюда — вполне понятная осмотрительность автора, подчас нарочитая описательность работы. Ведь выход лингвистической поэтики в сферу истории языка, будучи убедительным свидетельством возросшего исследовательского потенциала этой общелингвисти-

ческой дисциплины, вместе с тем сразу же приводит к осознанию определенной недостаточности ее концептуального аппарата. В частности, некоторый «лексикоцентризм» автора (когда все, что выше уровня слова, относится к уровню текста) дает остро почувствовать, что в теоретической поэтике само ключевое понятие поэтического языка как многоуровневой системы остается весьма неопределенным: по крайней мере, не столь определенным, чтобы быть теоретически безболезненно использованным в ориентированном на историю конкретном исследовании. Так что монография Н. А. Кожевниковой, выполнив свою основную задачу — представив определенной синхронный срез истории русского поэтического языка — является еще и стимулом для разработки теоретического аппарата подобных штудий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гофман В. Язык символистов // Литературное наследство. Т. 37—38. М., 1937.
2. Мандельштам О. О поэзии. Л., 1928. С. 48.
3. Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 119.

Зояна С. Т.

Черемисина М. И., Колосова Т. А. Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск: Наука, 1987. 196 с.

Сложное предложение (далее СП) — традиционный объект синтаксиса, в советском языкознании к нему проявляется устойчивый интерес. При этом характер изысканий в этой области в разное время был разным.

В 50—60-х годах на основе обобщения многих частных исследований (главным образом на материале русского кодифицированного литературного языка) в основном сложилось то понимание существа СП и принципов его анализа, которое представлено в большинстве современных описаний СП (в работах В. В. Виноградова, Н. С. Поспелова, Е. В. Гулыги, С. Г. Ильенко, С. Е. Крючкова, Л. Ю. Максимова, В. А. Белошапковой и др.). Позднее преимущественное внимание было перенесено с обсуждения общетеоретических вопросов на расширение той эмпирической базы, на которую опирались установившиеся к 70-м годам положения теории СП. В 70—80-х годах СП изучалось достаточно активно

на материале разных языков и разных речевых сфер русского языка, но пафос большинства из них состоял в фиксации отдельных не замеченных ранее факторов в организации отдельных классов СП и вытекающих из этого поправок к установившейся классификации СП.

Теория СП в этот период развивалась мало. Даже теоретически наиболее интересные исследования, отличавшиеся новизной тематики, не были направлены на обсуждение основ установившейся теории СП, а лишь вносили некоторые (правда, весьма существенные) дополнения к ней. Из числа работ, написанных на материале русского языка, к ним в первую очередь надо отнести те, которые направлены на изучение сторон СП, ранее не выделявшихся как особые объекты анализа, в частности работы о коммуникативной [1—3] и смысловой [4—5] организации СП, а также о системе СП в разговорной речи [6].

Поэтому появление «Очерков...»

М. И. Черемисиной и Т. А. Колосовой — книги, обращенной именно к современной теории СП и критически анализирующей ее, — должно быть расценено как заметное и значительное событие. Возможно, эта книга открывает новый виток в развитии отечественной синтаксической науки, который будет характеризоваться углубленным анализом теоретических основ учения о СП и разработкой новой системы понятий и терминов.

Критическая позиция авторов рецензируемой книги по отношению к современной теории СП в значительной степени объясняется тем, что они привлекают к анализу не только факты русского языка, но и факты языков другого, агглютинативного строя: тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, которые составляют так называемую алтайскую типологическую общность. Рассмотрение всего обширного корпуса разнообразных фактов, представленных в этих языках, сопоставление их друг с другом и с фактами русского языка (которые при этом стали видны иначе, чем их видели предшественники-русисты) позволило выявить нечеткость, неопределенность многих понятий и терминов синтаксиса СП, недостаточную согласованность, а порой и противоречие между отдельными принципиальными положениями.

К тому же при этом выяснилось, что созданная на материале русского СП система понятий и терминов, используемая в современном отечественном языкознании, не работает или работает плохо применительно к алтайским языкам. Авторы считают, что современная лингвистика должна ставить задачей построение единой теории, приложимой ко всем языкам, к человеческому языку вообще. «Имеют ли право самостоятельно существовать „теории“ и классификации русского, немецкого, английского, якутского, японского, арабского сложного предложения — столько „теорий“, сколько есть на Земле языков, а ведь их несколько тысяч... Пора начинать строить единую теорию, единую классификацию, ориентированную на все языки» (с. 182).

Композиция книги своеобразна: она состоит из трех разделов, каждый из которых объединяет несколько «очерков» (всего их девять, пять из них имеют внутреннее деление); «черки» нумеруются сами по себе, не как части разделов — очевидно, это имеет целью подчеркнуть их относительную самостоятельность; напротив, с целью объединения содержания каждого раздела входящим в него «очеркам» предпосылается Введение. Открывающее книгу предисловие («От авторов», с. 3—4) и закрывающее ее Заключение (с. 181—183), переключаясь между собой,

говорят о том, как понимают свою задачу авторы: в книге «...обсуждаются некоторые итоги... раздумий над теоретическими проблемами синтаксиса» (с. 3); «она посвящена критическому анализу некоторых... понятий современного синтаксиса сложного предложения» (с. 183).

Круг обсуждаемых теоретических проблем и понятий синтаксиса обширен, и, естественно, не все они рассматриваются одинаково основательно.

В первом разделе («Представления об означаемом и означаемом в синтаксисе» — с. 5—58) обсуждаются наиболее общие, основополагающие понятия современной синтаксической науки.

Чтобы установить систему таких понятий, авторы выбирают необычный путь: они последовательно учитывают и классифицируют синтаксические термины, представленные в академических грамматиках русского языка и в вузовских учебниках по современному русскому языку. Это дает суммарное представление о метаязыке синтаксической науки, а через него о той системе понятий, которую выражает этот метаязык и с опорой на которую ведутся синтаксические исследования.

Все понятия, выражаемые синтаксическими терминами, авторы распределяют между четырьмя типологическими классами: 1) понятия о синтаксических субстанциях, т. е. всех тех синтаксических сущностях, «...которые в речи бывают представлены большими или меньшими „отрезками звучания“, а в тексте — графическими отрезками» (с. 7); 2) семантические понятия, т. е. понятия об означаемых синтаксических субстанциях; 3) понятия о синтаксических связях; 4) понятия о синтаксических отношениях, т. е. о внутренней, содержательной стороне синтаксических связей. Эти классы поочередно подвергаются критическому анализу; основное внимание при этом уделяется тем из них, которые существенны для достаточно обширного круга объектов, находящихся в центре внимания авторов, — полипредикативных и полипропозитивных конструкций разного рода.

Самым значительным достижением критической мысли авторов является положение о том, что у многих синтаксических терминов полнотное содержание «...остается нераскрытым или раскрывается слабо...» (с. 9), и возможность их функционирования основывается на том, что ясна их денотативная отнесенность (там же), «...связь с определенными множествами фактов...» (с. 10). Это очень точное наблюдение; оно фиксирует одну из характерных черт традиционного синтаксиса с его незабоченностью «буквой определения» и современной синтакси-

ческой науки, в которой «новое» (в частности и стремление к точным дефинициям всех понятий, используемых в синтаксическом описании, и к четкой их соотношенности) тесно переплетено со «старым», а потому «и сейчас многие понятия — представленные в большей мере опираются на „раскрывающий“ их иллюстративный материал, нежели на вербальные определения через „общие и существенные признаки“» (с. 10).

Несомненную ценность имеют соображения о том, какие лакуны обнаружил проведенный авторами анализ понятий о синтаксических субстанциях, и их конструктивные предложения по усовершенствованию этой части понятийно-терминологического аппарата синтаксиса (с. 22—24).

Интересны попытки систематизации расширения круга терминов, связанных с содержательной стороной предложения — пропозициональными смыслами (с. 24—42); рассуждения об отношениях *сочинения и подчинения* (с. 45—48), о предикативной связи в ее противопоставлении непредикативным связям (с. 48—58); о типах синтаксических отношений в полипредикативных и полипропозитивных предложениях (с. 58—76).

Вместе с тем именно первый раздел вызывает наибольшее количество недоумений, несогласий и возражений.

В известной степени (может быть, даже в большей степени) это объясняется тем, что обсуждение фундаментальных понятий синтаксиса развернуто здесь недостаточно. Если бы авторы более основательно и аргументированно изложили свои критические соображения и особенно свои конструктивные предложения, многие недоумения и возражения, может быть, и не возникли бы. По тематической и проблемной насыщенности содержание этого раздела находится в противоречии с его объемом; оно так значительно, что его хватило бы на целую книгу. Здесь же это лишь часть книги, и притом вводная часть (хотя и важная, необходимая), а потому она, в соответствии с общим замыслом, не может быть такого объема, каково заслуживает ее содержание.

Наиболее существенные критические замечания к этому разделу следующие.

1. В системе понятий и терминов, на которые опираются в своих рассуждениях авторы, едва ли не центральными являются понятия предикативности и полипредикативности. Между тем ни их содержание, ни даже границы языковых фактов, которые за ними стоят, в книге не эксплицированы. В частности, остается неясным, как соотносится полипредикативность со «вторичной», «дополнительной» предикативностью, полупредикативностью. Это мешает вполне осмыслить

одно из главных конструктивных положений книги — о границах полипредикативных конструкций и СП.

2. Справедливо полагая, что понятийно-терминологический аппарат анализа семантики предложения разработан недостаточно, авторы пытаются его расширить, введя несколько понятий, которые группируются вокруг центрального понятия предлагаемой микросистемы терминов — понятия пропозиции: «событие», «редуцированное событие», «номинализованное событие», «явление» (с. 28—34). Авторская трактовка существа языковых фактов, к которым прилагаются термины, остается не вполне ясной. Очевидно, что их природа не чисто семантическая; это не виды пропозиций, а виды соотношения пропозиции с тем или иным формальным построением: элементарным предложением, редуцицией элементарного предложения, номинализацией его (предикативной или непридикативной). Некоторые места позволяют сделать заключение, что авторы понимают двойственную формально-семантическую природу вводимых ими понятийно-терминологических новшеств. Так, определяя содержание термина «явление», они пишут: «Пропозиции, представленные не предикативными номинализациями и в составе простого предложения (разрядка наша. — *В. В.*), мы будем называть явлениями (например, твоя радость, наше путешествие)» (с. 34). Вместе с тем сам тот факт, что эти термины вводятся в очередь («Понятия о семантике синтаксических единиц», и некоторые места книги наводят на мысль о том, что соответствующие понятия толкуются как чисто «семантические объекты».

3. Хотелось бы пожелать большей основательности и систематичности в классификации семантических отношений. Данная в книге классификация логически организована нестрого: не выдвинуто четких критериев выделения классов внутри обстоятельственных, определительных и модусно-диктуемых отношений. Вполне достигнута только цель показать неоднородность семантических отношений внутри традиционно выделяемых типов и самих этих типов.

Второй и третий разделы целиком посвящены проблемам теории СП; они рассматриваются более основательно, чем общие понятия синтаксиса в первом разделе.

Второй раздел «О границах и принципах типологии сложного предложения», несмотря на небольшой объем (с. 77—107), представляется мне центральным в книге: именно здесь раскрываются положения, выдвигание и аргументация которых составляют высшее достижение

творческой мысли авторов, главное из того, что они хотят сказать настоящим и будущим коллегам по занятиям синтаксисом СП.

Опираясь на широкое (и, как уже говорилось, несколько размытое) понимание полипредикативности, авторы очерчивают круг конструкций, которые они считают полипредикативными, и убедительно показывает их неоднородность. Среди полипредикативных конструкций выделяются прежде всего СП; их отличительным признаком является «...наличие в каждой части формально полноценного предикативного узла с позициями обоих главных членов» (с. 95). От СП предлагается отличать три круга явлений: 1) «моносубъективные» полипредикативные конструкции, отличительный признак которых в том, что сказуемые частей имеют одно общее подлежащее (*Я шел и споткнулся / Я шел, пока не споткнулся*); 2) «инфинитивные» полипредикативные конструкции, т. е. предложения с причастными, деепричастными и инфинитивными оборотами; 3) предложения со вставными и вводными предикативными единицами.

При этом, характеризуя соотношение разных типов полипредикативных конструкций, авторы сознательно отказываются от идеи «переходности» и «совмещения признаков простого и сложного предложения». О положении «несложных» полипредикативных предложений в системе языка авторы пишут: «Конструкции, о которых идет речь, как раз не обладают признаками ни сложного, ни простого предложения, будучи, однако, несомненными предложениями» (с. 81). Такая позиция реалистична и прогрессивна, так как расширяет перспективу научных задач в области синтаксиса СП, выделяя новые объекты для исследования (в частности, моносубъектные полипредикативные конструкции).

В этом же разделе обсуждается вопрос о принципах классификации СП. Выделяются и критически оцениваются три традиционно используемых в классификации СП критерия: 1) союзность/бессоюзность; 2) сочинение/подчинение частей; 3) отнесенность придаточной части ко всей главной или к одному из ее членов.

Наиболее интересно рассуждение о соотношении союзности и бессоюзности, в котором выявляются освященные традицией нелогичности в понимании границ бессоюзия (с. 97—100). Устанавливаемые авторами границы бессоюзия гораздо более обоснованы, чем традиционные: в этих границах бессоюзие предстает как досаточно однородное явление.

Привлекает внимание возвращение ав-

торов к незаслуженно забытому понятию «взаимного подчинения» и попытка, по своему его истолковав, найти ему место в системе понятий, используемых в классификации СП (с. 101—102).

Вызывает сочувствие утверждение о внутренней неоднородности подчинения (с. 104—107); авторы высказывают некоторые новые соображения относительно различий между нерасчлененными и расчлененными сложноподчиненными предложениями, показывают недостаточную теоретическую осмысленность некоторых известных фактов (расчленение составных союзов, разные виды употребления соотносительных слов и др.).

Главная задача самого обширного третьего раздела («О средствах связи частей сложного предложения» — с. 108—177) — «...постановка вопроса о природе показателей связи частей сложного предложения как особой... научной проблемы...» (с. 108).

Авторы различают два вида средств связи частей СП: «синтетические показатели связи» (это понятие раскрывается на материале привлеченных к анализу языков агглютинативного строя) и «аналитические показатели связи», или «скрепы» (это понятие раскрывается на материале русского языка).

Содержание этого раздела интересно и ценно в двух планах: и рассуждениями о природе средств связи, критериях их выделения и классификации, и самим своим материалом, в частности перечнями структурных классов скреп современного русского языка.

Можно с уверенностью утверждать, что в рецензируемой книге приводится самый обширный список «скреп» современного русского языка. Авторы вдумчиво и бережно использовали достижения своих предшественников, в частности богатейший материал «Русской грамматики», и существенно дополнили наши знания о «скрепах» русского СП.

Вместе с тем авторы самокритично оценивают свой список как заведомо неполный. Продиктованная глубоким знанием материи русского сложного предложения и высокими требованиями к синтаксическому описанию такая оценка справедлива. Список можно и нужно дополнять. Укажем на один просчет: не учтено существование специфической односторонней скрепы, для современного языкового сознания неместоименной, — так называемой заключительной частицы *так*: *Жила тут неподалеку старушка; так она сказок знала без числа* (об условиях употребления заключительных частиц и их функциях см. [7]).

Заслуживает пристального внимания классификация русских «скреп», в которой последовательно проведен прин-

цип учета их структурных свойств. Эта классификация «подсказывает» и новые подходы к классификации СП на формальных основаниях. Но особенно ценно то, что характеристика выделяемых «скреп» сопровождается указаниями на теоретические вопросы, осмысление которых составляет необходимое условие описания того или иного класса «скреп», и перечнями тем эмпирических разысканий (см., например, с 91, 108, 135—137, 146). Здесь наиболее полно и ярко проявляется позиция авторов, характеризующая книгу в целом: авторы видят в читателях потенциальных продолжателей своих исследовательских усилий и спешат поделиться с ними всем, что им удалось наблюдать, в том числе и тем, что пока осмыслено только как задача, вопрос, на который еще нет ответа. Симптоматичны рассыпанные на страницах книги прямые обращения к «молодым лингвистам», студентам и аспирантам.

Жаль, что книга, адресованная такому широкому читателю, издана малым тиражом (1900 экз.). В интересах науки (и, может быть, прежде всего вузовской) было бы переиздание книги существенно большим тиражом.

При переиздании целесообразно устранить неоригинально включенные в текст сведения из истории русского СП и необходимые констатации мнений разных лингвистов по тем или иным вопросам, не обсуждаемых в книге, таких, которые не оспровергаются и не поддерживаются

авторами, а лишь приводятся как иллюстрация авторской объективности и осведомленности. В такой живо и энергично написанной книге они совершенно неуместны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Распопов И. П.* Очерки по теории синтаксиса. Воронеж, 1973. С. 162—187.
2. *Шешукова Л. В.* О порядке частей сложноподчиненных предложений. Одноточленные конструкции (На материале современного русского литературного языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1974.
3. *Елфимова Т. В.* О порядке частей причинных и условных сложноподчиненных предложений: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1976.
4. *Колосова Т. А.* Русские сложные предложения асимметричной структуры. Воронеж, 1980.
5. *Крамских С. В.* Смысловая организация местоименно-соотносительных (отожествительных) предложений в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1982.
6. *Ширяев Е. Н.* Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М., 1986.
7. *Чернышева А. Ю.* Союзные частицы *то, так и тогда* в сложном предложении: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 1986.

Белюшанкова В. А.

Ширяев Е. Н. Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М.: Наука, 1986. 223 с.

Успехи синтаксической науки последних десятилетий, общее развитие лингвистической теории позволяют по-новому взглянуть на объекты, которые, казалось бы, получили в языкознании уже достаточно полное освещение. К таким объектам относятся и бессоюзное сложное предложение. Теоретическое осмысление трудов предшественников и многолетний опыт исследователя-синтаксиста позволили Е. Н. Ширяеву решить проблему бессоюзного сложного предложения в новом ракурсе. Новизна состоит не только в интересной и непротиворечивой концепции бессоюзного сложного предложения, но и в том, что объектом исследования стал материал живой разговорной речи.

Книга состоит из Введения, пяти глав и Заключения. Важным для понимания

авторской концепции бессоюзного сложного предложения является Введение (с. 3—29), где излагаются исходные теоретические посылки исследования. Обосновав свое понимание сложного предложения как такой синтаксической единицы, в основе которой «...лежит синтаксическая форма связи предикативных конструкций, соединенная с коммуникативно-синтаксической формой, дающей отдельное высказывание — предложение» (с. 14), автор строит свою оригинальную концепцию бессоюзного сложного предложения. Она базируется на ряде кардинальных положений: определении синтаксической формы бессоюзного сложного предложения, определении места синтаксической формы бессоюзного предложения в системе других синтаксических форм, определении того, на каком

лексико-семантическом материале «работает» синтаксическая форма бессоюзного сложного предложения.

Под грамматической формой Е. Н. Ширяев понимает грамматическую семантику (план содержания) в единстве с грамматическими средствами выражения (план выражения). При этом анализ грамматической формы бессоюзного сложного предложения предполагает установление ее парадигматических и синтагматических связей, обобщение грамматических форм, в частности уяснение того, какие синтаксические значения могут быть обобщены в те или иные категории. Автор настаивает на последовательном разграничении семантики двух принципиально разных свойств — синтаксической, представляющей собой план содержания синтаксических форм, и несинтаксической, опирающейся на лексико-семантическое содержание частей, и в результате приходит к выводу, что «лексико-семантическая структура предложения регулируется синтаксической формой предложения» (с. 7).

Бесспорным представляется и мнение автора, что для понимания синтаксической структуры любого сложного предложения (а бессоюзного в особенности) важное значение имеет разграничение модуса и диктума (отождествляемого автором с пропозицией), эксплицитного и имплицитного смыслов в семантике предложения. Характеристика семантической структуры бессоюзного сложного предложения ставится в зависимость и от того, какой логико-грамматический тип в данном предложении представлен (предложения номинации, тождества, бытийные, характеризации).

Для разъяснения своей концепции бессоюзного сложного предложения Е. Н. Ширяев счел необходимым обсудить вопрос о сочинении/подчинении в сложном предложении. Проанализировав пути решения этой проблемы в трудах предшественников, автор приходит к выводу, что до сих пор «...теоретически безупречных основ дифференциации сочинительных/подчинительных союзов и, соответственно, сочинительных/подчинительных связей нет» (с. 17—18), и предлагает свою методику их разграничения.

Особое внимание обращено в связи с этим на усложненные (многопредикативные) предложения с однородным соподчинением придаточных, где встречаются одновременно и сочинительные, и подчинительные союзы, т. е. на конструкции типа *Ей показалось, что что-то открывается в ней и что она умирает*. Сопоставив позицию сочинительного союза (*и*) и позицию союза подчинительного (*у*), Е. Н. Ширяев приходит к выводу, что в рассматриваемых построениях позиции *и* и *у* противопоставлены в том смысле,

что все союзы, употребляющиеся в позиции *и*, не могут быть употреблены в позиции *у*, и наоборот. При этом учитывается не только реальное соподчинение придаточных, но и потенциальная способность предложения к разворачиванию. Скажем, союз *но* в конструкции *Светит солнце, но все-таки холодно* признается сочинительным прежде всего потому, что на ее основе можно построить такую, например, как *Он сказал, что светит солнце, но что все-таки холодно*. Различение позиций сочинительных/подчинительных союзов привело исследователя к выводу, что «сочинительные союзы связывают словоформы, соответственно предикативные конструкции, находящиеся в одинаковых отношениях к другим словоформам, соответственно предикативным конструкциям, а подчинительные союзы связывают такие синтаксические компоненты, которые по отношению друг к другу и, следовательно, по отношению к другим компонентам данной конструкции находятся не в одинаковых отношениях» (с. 19—20). Не останавливаясь на более подробном анализе методики разграничения сочинительных/подчинительных союзов, отмечу, что методика эта отнюдь не универсальна и, как отмечает сам автор монографии, применима лишь «...в области простых (*а, если* и *под.*) и сложных (*потому что* и *под.*) союзов, составляющих ядро этой служебной части речи» (с. 18). Так, представляется спорным исключение из корпуса противительных союзов связующих средств *однако* и *зато* по той причине, что они не могут занимать позицию *и*, т. е. не имеют *и*-функции. В результате предложения со словами *однако*, *зато* и подобными признаются в монографии «бессоюзными сложными предложениями особой группы — такими, в которых смысловые отношения между предикативными конструкциями эксплицируются специальными словами» (с. 22). Однако природа и объем этих «специальных слов» в монографии не обсуждаются. На наш взгляд, автором слишком узко трактуется понятие «союз», в результате чего в разряд бессоюзных сложных предложений включается большое число построений с так называемыми аналогами союзов. Понимая, что лексемы типа *потому, следовательно, однако* и многие другие «специальные слова» играют определяющую роль в выражении отношений между событиями, названными в объединяемых предикативных единицах сложного предложения, Е. Н. Ширяев, однако, не включает эти лексемы в состав союзных средств, а все построение трактует как бессоюзное сложное предложение особого типа. В таком случае неясно, почему в монографии эти бессоюзные сложные предложения не

стали объектом описания и автор не определял их место в системе сложного предложения современного русского языка. Не совсем логичным представляется рассмотрение предложения *Сдам экзамены/ все равно не поеду отдыхать* (с. 56) как «обычного» бессоюзного предложения с уступительными отношениями между частями, т. к. здесь имеется служебный компонент *все равно*, явно выступающий как сигнал уступительности. Думается, что увлекшись идеей найти четкие критерии разграничения сочинительных и подчинительных союзов, Е. Н. Ширяев игнорирует тот, как нам кажется, бесспорный факт, что в современном русском языке, особенно в разговорной речи, имеется значительный пласт связующих средств (аналитических показателей связи), которые по линии сочинение/подчинение не противопоставляются.

Вторая глава монографии посвящена ответу на вопрос, существует ли бессоюзное сложное предложение как особая синтаксическая форма. В ней убедительно доказывается, что интонационные средства выражать и дифференцировать смысловые отношения между предикативными конструкциями не могут. Смысловые отношения базируются не на интонации, а на лексико-семантическом содержании составляющих предикативных единиц с опорой в некоторых случаях на повседневный опыт говорящих. Что же касается интонации, то она служит лишь сигналом, требующим извлечь смысловые отношения из лексико-семантического содержания предикативных компонентов.

К несомненным достоинствам рецензируемого труда, отличающим его от предшествующих исследований бессоюзного сложного предложения, следует отнести обращение к системе семи типов интонационных конструкций (ИК), выделенных Е. А. Брызгуновой [1], и вывод, что основную роль в оформлении бессоюзного сложного предложения выполняют ИК-3 и ИК-4. Принципиально важным является и вывод, что бессоюзное сложное предложение имеет свою синтаксическую форму и что в этой форме осуществляется активизация смысловых отношений, заложенных в лексико-семантическом содержании предикативных конструкций. Синтаксическим средством этой активизации является, по мнению автора, сигнал семантико-синтаксической незавершенности.

Особенно ценно для теории бессоюзного предложения выявление интонационно одноконструктивных единиц, т. е. таких построений, в которых две предикативные конструкции оформлены как одна ИК. Причем отсутствие интонационного членения в них значимо и рассматривается автором как показатель смысловых отно-

шений. Широко представлены бессоюзные предложения с интонационно одноконструктивной связью в разговорной речи. Интонационная незавершенность последней предикативной конструкции бессоюзного сложного предложения не является единственным сигналом активизации смысловых отношений между предикативными конструкциями. Автором названы и неформальные способы такой активизации. К ним отнесены, в частности, связи, базирующиеся на семантической валентности глагола, наличие в первой предикативной единице синсемантических слов. Отмечено также, что обе предикативные конструкции могут иметь интонацию завершенности, если просто по смыслу связь между ними в данном контексте может быть только активизированной (*Не хочу говорить с вами: вы грубы*). В результате Е. Н. Ширяев приходит к важному теоретическому выводу, что интонационная незавершенность последней предикативной конструкции как сигнал активизации смысловых отношений между предикативными конструкциями в определенных семантических условиях перестает быть обязательной. В главе имеются тонкие наблюдения и интерпретации роли интонации, фразового ударения, знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях, позволяющие автору не согласиться с пессимистическим выводом И. Н. Крुчинной [2] о невозможности провести границу между текстом и бессоюзным сложным предложением.

Бесспорный интерес представляют и наблюдения автора, приведшие его к выводу, что синтаксические формы союзного и бессоюзного типов сложного предложения во многом определяются действием двух общеязыковых антиномий: говорящий/слушающий и код/текст.

Третья глава монографии посвящена анализу семантической структуры бессоюзных сложных предложений. Принципиально важным для понимания смысловых отношений в бессоюзном сложном предложении признается различие отношений дифференцированных и недифференцированных. Дифференцированными названы такие смысловые отношения между предикативными конструкциями, которым в принятом автором метаязыке соответствует одна единица, один термин (например, отношения причины, уступки, разделительные и т. д., всего 24 типа), недифференцированными — характеристика которых требует двух и более компонентов метаязыка. Так, например, в предложении *Подул ветер — стало холодно* автор видит имплицитно заложенные причинно-следственно-временные отношения. Недифференцированное значение определя-

ется как сплав из нескольких компонентов, хотя роли их не всегда равноправны. Экспериментальным путем (в результате опроса психомантов) устанавливается, например, что когда в недифференцированное значение входит условный компонент, он всегда осознается как ведущий.

Предложения с дифференцированными отношениями объединены в три основных логико-семантических класса. Первый составляют бессоюзные сложные предложения с пропозиционными отношениями. Второй класс объединяет бессоюзные сложные предложения с раздельным выражением модуса и пропозиции, ядро которых составляют построения с изъяснительными отношениями типа *Я чувствую/она придет*. Наконец, третий класс — это предложения со свернутыми отношениями тождества, т. е. такие, из которых «...можно извлечь предложения тождества» (с. 82). К ним отнесены бессоюзные сложные предложения с определительными, объяснительными отношениями, а также отношениями времени и места. Правда, остается неясным, почему «развертывание» демонстрируется на примере союзного, а не бессоюзного предложения: *Он пришел, когда все ушли* → *То время, когда он пришел, было тем временем, когда все ушли*. Возникает вопрос: а можно ли отнести бессоюзную конструкцию *Он пришел* → *все ушли* к такой, где наблюдаются дифференцированные отношения? Если пользоваться терминологией Е. Н. Ширяева, здесь имплицитно заложены и противительные отношения, и отношения времени, и отношения причины, а может быть (в определенном контексте), и уступительные.

Бесспорный интерес представляет мысль автора о необходимости различать в бессоюзном сложном предложении непосредственные (прямые) отношения и отношения, опосредованные неким невербализованным смыслом. Для описания способов и характера опосредования Е. Н. Ширяев обращается к понятию апперцепционной базы (термин Л. П. Якубинского [3]), трактуемому как «...фонд общих знаний партнеров коммуникации» (с. 98), а также к анализу слов с общим компонентом значения, а именно слов с лексико-семантическим согласованием и слов с категориально-семантическим согласованием. В результате Е. Н. Ширяев намечает несколько типов опосредования в бессоюзном сложном предложении. При этом имплицитный смысл характеризуется не только с точки зрения принципов его обнаружения, но и в плане его принадлежности к модусу и пропозиции. Автор показывает, что чем сложнее и глубже опосредование, тем менее возможен в сложном предложении союз, и приходит к выводу, что опосредование

смысловых отношений в бессоюзных предложениях встречается гораздо чаще, чем в союзном типе.

Обсудив вопросы синтаксической формы и семантической структуры содержания, автор вновь обращается к проблеме сочинения и подчинения в их отношении к бессоюзной связи и подтверждает ранее высказанное предположение, что различие сочинения и подчинения в бессоюзном сложном предложении снято. Однако для выявления системных отношений союзного и бессоюзного сложных предложений автор определяет способность каждого из отношений, наблюдаемых в бессоюзном сложном предложении, к выражению в форме сочинения/подчинения. В результате делается вывод, что дифференцированные смысловые отношения делятся на такие, которые в союзном сложном предложении могут быть выражены (а) только с помощью сочинительных союзов; (б) только с помощью подчинительных союзов; (в) с помощью и сочинительных, и подчинительных союзов. В качестве примеров приводятся следующие фразы и их соответствия: (а) *Я работаю/он рядом играет* — *Я работаю, а он рядом играет*; (б) *Я утверждаю: это неверно в принципе* — *Я утверждаю, что это неверно в принципе*; (в) *Взошло солнце и можно отправляться в путь; ... так что можно отправляться в путь*. Думается, однако, что пример (а) противоречит выводу автора, что передача отношений между предикативными единицами здесь возможна лишь с помощью сочинительного союза. Ср. преобразование в сложноподчиненное предложение: *Когда я работаю, он рядом играет*. Очевидно, отношения в исходном бессоюзном предложении нельзя отнести к дифференцированным.

Четвертая глава монографии посвящена функционированию бессоюзного сложного предложения в разных языковых сферах: разговорной речи, языке художественной литературы и функциональных стилях (научном, деловом и публицистическом). Показано, что именно в РР система бессоюзного сложного предложения развита наиболее широко и последовательно, что сами условия осуществления коммуникативного акта благоприятствуют употреблению в нем бессоюзных сложных предложений.

Существенным и принципиально новым представляется вывод, что в интонационно одноконструктивных бессоюзных сложных предложениях в РР речи может выражаться широкий круг смысловых отношений: изъяснительные (*Он обещал на конференции придет*), определительные (*Совсем у нас разваливается бочка под краном стоит*), причинные [*Плох совсем сегодня тает (о лыжах)*] и т. п.

При сопоставлении РР и КЛЯ Е. Н. Ширяев отмечает, что именно в РР широко представлены бессоюзные сложные предложения с недифференцированными значениями, что в ней особенно регулярны опосредованные смысловые отношения. Исключительно принадлежность РР считает автор особую связь свободного соединения, т. е. такую безынтонационную связь, при которой одна из предикативных конструкций (свободная) может занимать по отношению к основной предикативной конструкции разные позиции: *В магазин песку надо сходить пожаруиста*. Но несмотря на то, что «родна бессоюзного предложения — это РР» (с. 131), автор обнаруживает и такие типы бессоюзного сложного предложения, которые в КЛЯ оказываются развиты даже больше, чем в РР. К ним принадлежат бессоюзные сложные предложения с объяснительными отношениями, например: *Советское руководство настаивало на следующем: никаких сепаратных переговоров с Германией быть не должно*.

При анализе бессоюзных сложных предложений в языке художественной литературы Е. Н. Ширяев считает необходимым дифференцировать речь персонажей, авторское повествование и поэтические тексты. На материале художественных произведений описаны разнообразные способы имитации разговорной речи персонажей и показано, что «...речь персонажей — это та сфера КЛЯ, которая наиболее пронизаема для РР вообще и в области бессоюзного предложения в частности» (с. 151). Лексическая наполняемость бессоюзных сложных предложений в авторском повествовании много шире, чем в речи персонажей. Имеются отличия и в соотношении разных смысловых типов бессоюзных сложных предложений, что подтверждается в книге богатым фактическим материалом. Особый раздел посвящен проблеме функционирования бессоюзных сложных предложений в поэтическом стихотворном языке, где «...интонация как синтаксическое средство формы бессоюзного предложения обладает более широкими, чем в РР, возможностями...» (с. 159). Интересен вывод автора, что поэтический язык, по природе своей исключая спонтанность, тем не менее сближается с РР и опирается на нее.

В результате анализа употребления бессоюзных предложений в РР и КЛЯ Е. Н. Ширяев делает заключение, что система бессоюзного сложного предложения РР широко и разнообразно представлена в языке художественной литературы, менее широкое отражение на-

ходит она в публицистике и только отдельные типы бессоюзного сложного предложения характерны для научного и делового стилей.

В пятой главе «Опыт описания некоторых типов бессоюзного сложного предложения» автор предлагает читателю заглянуть в свою последовательскую лабораторию и показывает, как «работает» его концепция на эмпирическом материале.

В небольшом по объему, но очень емком по содержанию Заклчению сформулирован ряд проблем, перспективных для дальнейшего развития синтаксической теории.

Таким образом, теоретическую значимость рецензируемой книги трудно переоценить, но она выиграла бы, если бы автором были более четко определены границы между союзными и бессоюзными сложными предложениями. К сказанному можно добавить следующее. Фразу из Русской грамматики-80 *Загуляли соседи — загуляем и мы* Е. Н. Ширяев интерпретирует как бессоюзное сложное предложение, игнорируя наличие служебного слова *и*, которое явно выполняет здесь функцию союза, синонимичного слову *тоже*. Очевидно, верность традиции считать союзом лишь инициальное *и* не позволяет автору причислить конструкцию к союзным. Но можно ли рассматривать как бессоюзное построение с другой локализацией *и*: *Загуляли соседи — и мы загуляли?* Проблема отграничения корпуса союзов от других языковых средств, участвующих в выражении отношений между частями сложного предложения, тесно связана с дифференциацией союзных и бессоюзных предложений и заслуживает более глубокого обсуждения.

В целом книга стимулирует дальнейшее развитие синтаксической теории. Проблемы, поднятые в ней, бесспорно, вызовут интерес у широкого круга лингвистов. Выход монографии в свет — важное событие в развитии теоретического синтаксиса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брызгунова Е. А. Интонация // Русская грамматика. Т. 1. М., 1980. С. 96—122.
2. Кручинина И. Н. Бессоюзные соединения предложений // Русская грамматика Т. 2. М., 1980. С. 634—656.
3. Якубинский Л. П. О диалогической речи // Русская речь. I. Пг., 1923.

Колосова Т. А.

Греческое языкознание обогатилось новым важным трудом — предметно-понятийным словарем древнейшего письменного языка Греции, каковым является на сегодняшний день язык крито-микенских надписей. Рецензируемый словарь — работа многоплановая. Это прежде всего вклад в теорию и практику лексикографии вообще и идеографической лексикографии в частности; это не только работа по древнегреческой лексикографии, но и глубокое исследование по микенологии — младшей из отраслей классической филологии.

Словарь открывается вступительным разделом «Древнегреческая лексика как объект идеографического описания» (с. 3—41), который подготовлен А. К. Гавриловым. Автор раздела подчеркивает, что «значение (древне)греческого понятийного тезауруса... отнюдь не исчерпывается ролью инструмента в изучении самого древнегреческого языка и культуры... ГПТ может стать важным источником для любых сравнительно-исторических и сопоставительных лексикологических исследований. Он будет служить и удобным пособием при выработке научной терминологии, а также неординарным орудием для всех исследований по истории культуры» (с. 7).

В дальнейшем автор представляет понятийную систему Халлига-Вартбурга, которая легла в основу рецензируемого словаря. Заключительная часть вступительного раздела (с. 24—25), посвященная структуре понятийного тезауруса и процедуре его составления, несомненно, представляет интерес не только для эллинистов, но и для специалистов по идеографии других языков.

В следующем разделе — «Крито-микенский диалект» (с. 42—46), написанном Н. Н. Казанским, кратко излагаются сведения об эгейской цивилизации, о письменностях бассейна Эгейского моря II тысячелетия до н. э. и истории их изучения, в первую очередь о микенской культуре и линейном письме Б. Несмотря на предельную ограниченность объема, этот раздел содержит немало интересных данных. Автор, в частности, раскрывает картину широких связей микенской культуры с культурой Италии, Малой Азии, Финикии и Египта, касается вопросов политического и экономического устройства микенских государств. Упомянется даже имевшее место в конце XIX в. влияние только что открытой микенской культуры на европейское искусство. Впрочем, этот факт, пожалуй, более важен для новой истории, чем для микенологии.

Большой интерес для микенологов и филологов-классиков представляет «Краткая грамматика крито-микенского диалекта» (с. 47—61), также составленная Н. Н. Казанским. Напомним, что до выхода в свет рецензируемого труда единственным описанием микенского диалекта в советской науке была первая часть известной монографии С. Я. Лурье [1]. Несмотря на то, что этот труд был написан на заре микенологии, он и сейчас представляет значительный научный интерес для подготовленного специалиста. Однако начинать с него изучение основ микенологии затруднительно. Как пособие для начинающих указанная часть монографии С. Я. Лурье, к сожалению, устарела по причине публикации новых надписей, изменений в системе транслитерации микенских текстов и их нумерации, а также в связи с общим прогрессом микенологии. Поэтому нельзя не приветствовать включение в рецензируемую работу грамматического очерка. Хотя автор указывает, что основой его послужила пробная грамматика Э. Вилборга [2], очерк содержит новые данные и положения, учитывающие современное состояние микенологии.

В разделе, посвященном графической системе, приводятся, несомненно, интересные и важные сведения о письменностях Эгеиды и Восточного Средиземноморья, генетически родственных линейному письму В. Нам представляется, однако, что этот раздел следовало бы целиком посвятить графической системе линейного письма В как таковой, а по всем остальным вопросам ограничиться ссылками на литературу. Это дало бы возможность осветить, в частности, вопрос о классификации знаков линейного письма В, которые распределяются, по мнению большинства микенологов, на четыре группы: слоговые знаки (силлабограммы), идеограммы, обозначения мер и весов и числовые обозначения. Здесь же можно было бы представить основные концепции микенской графической системы, сложившиеся в микенологии. Было бы уместно также подчеркнуть высказанную в свое время И. М. Тронским мысль о том, что уступая во многих отношениях алфавитному греческому и даже генетически родственному кипрскому слоговому письму I тысячелетия до н. э., микенская графика превосходила их в точности передачи слоговой структуры греческого языка [3].

Фонетический раздел дает достаточно полное представление об особенностях фонетики и фонологии микенского диа-

лекта. Правда, ввиду очевидности бесспорно правильного положения об оппозиции микенских гласных по долготе при ограниченном объеме раздела его вполне можно было бы опустить.

Этот раздел завершается возражением автора против теории различного фонологического статуса дифтонгов на *-i* и на *-u*. При этом надо было бы изложить непосвященным читателям теорию бифонематического статуса дифтонгов на *-u*, выдвинутой А. Бартонеком [4]. На наш взгляд, эта теория подтверждается судьбой древнегреческих дифтонгов в новогреческом: все рефлексы древних дифтонгов на *-i* представляют собой сейчас монофонемные единицы, а дифтонги на *-u* (кроме *ou*) в новогреческом отражены бифонемными сочетаниями. Н. Н. Казанский, напротив, считает, что отсутствие специального обозначения *-i* как второго элемента дифтонга является особенностью микенской графики, а не обусловлено монофонематическим статусом таких дифтонгов. Полагаем, что такое предположение могло бы послужить началом интересной научной дискуссии.

Раздел, посвященный морфологии, представил для автора наибольшие трудности ввиду исключительной сложности и спорности многих ее проблем. Несомненно, что совершенно невозможно дать такое описание микенской морфологии, которое не вызвало бы возражений ни у кого из микенологов. Тем не менее со своей задачей Н. Н. Казанский справился: его очерк соответствует последним научным данным и дает достаточно полное представление о микенском словоизменении. В кратком изложении раскрываются важные вопросы морфологии существительных (с. 52—54), прилагательных (с. 54—55), местоимений (с. 55), глагола и причастий (с. 56—57), описываются неизменяемые части речи (с. 57—58).

Автор довольно подробно останавливается на синкретизме падежей, семантике образований на *-pi* = *-phi*, окончания *-e* = *-ei* в дат.-местн. падеже ед. ч. атематических основ, образовании степеней прилагательных. К сожалению, досадные неточности допущены в таблицах микенского именного словоизменения: пропущен знак долготы гласных в ряде падежных форм тематических основ и основ на *-ā*. Окончанием им.-вин. падежа дв. ч. должно быть *-ō*, а не *-oi*, а правильной фонологической транскрипцией окончания генитива мн. ч. основ на *-ā* должно быть *-āhōn* [впрочем, передача этого окончания как *-āon* (ср. гомеровское $\pi\upsilon\lambda\acute{\alpha}\omega\upsilon$) не представляет собой, на наш взгляд, серьезной погрешности]. Явная опечатка допущена в окончании дат. падежа ед. ч. атематических основ (*-is* вм. *-i*).

Своеобразно подходят составители к спорному вопросу о числе падежей микенского диалекта. Они в принципе признают микенский инструменталис, слившийся в языке классической эпохи с дательным—местным. Но, как видно из таблицы и из грамматических помет в самом словаре, инструментальным падежом считают только те формы, которые имеют на письме особые окончания, отличные от окончаний дательного падежа, т. е. только инструментальный падеж мн. ч. При этом, к примеру, форма *Po-ni-ke* помечена как дательный ед. ч., а употребленная в идентичном контексте форма *po-ni-ki-pi* — как инструментальный падеж мн. ч. (с. 68). Словоформа *e-ka-ma-te* интерпретируется как дательный падеж ед. ч., а *e-ka-ma-pi* — как инструменталис мн. ч. (²)pl. (с. 110), хотя здесь же форма *po-pi* помечена как инструменталис мн. ч. В ед. числе, по мнению составителей, вместо инструменталиса употреблялся датив. С таким подходом нельзя согласиться. Если уже признавать инструментальный падеж как особую грамему категории падежа (а для этого, по нашему мнению, есть все основания), то надо выделять особые формы этого падежа и в единственном числе, причем даже в том случае, если бы инструментальный в этом числе совпадал по форме с дательным—местным. Однако скорее всего инструментальный имел в этом числе свои собственные формы, которые можно интерпретировать на основе рудиментарных форм инструменталиса на *-ō*, *-ā*, *-ŋ* в языке классического периода и данных других и.е. языков [5, 6]. Кстати, нарушая свой же принцип, составители (совершенно правильно, на наш взгляд) определяют форму *ka-ru-we* как инструменталис ед. ч.

Раздел о глаголе составлен очень удачно. Можно было бы только еще подчеркнуть особую архаичность микенских медиальных окончаний *-toi u -ntoi* (классич. $-\tau\alpha$ и $-\nu\tau\alpha$).

Что касается предлогов, то автор следует распространенной среди микенологов точке зрения о преимущественном употреблении микенских предлогов с дательным (точнее с дательным—местным) падежом. Действительно, наиболее распространенный в надписях предлог *pa-ro* = *para* (атт. $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$) в подавляющем большинстве случаев употребляется именно с этим падежом. Однако этот факт объясняется тем, что в контекстах хозяйственно-административных записей, каковыми являются крыто-микенские надписи, предлог *para* выступает в possessивном значении, а в этом случае при *para* датив нормально употреблялся и в классическом языке.

В разделе, посвященном синтаксису, отрядным является привлечение новых

индоевропейских данных для объяснения особенностей порядка слов (с. 58). Никаких возражений этот раздел не вызывает. В чисто дискуссионном плане хотелось бы только предложить свое толкование примера из пилосской надписи Ae 134, который Н. Н. Казанский вслед за Э. Вилборгом считает случаем тмесиаса. По нашему же мнению, *o-pi* = *opi*, *epi* в данном случае представляет собой предлог, сочетающийся с локативной по значению формой на *-pi* (ϕ): *o-pi qe-to-ro-po-pi o-ro-me-no* = *opi q^uetro-papphi horomenos* «наблюдающий над четвероногими», т. е. «пасущий стада». В пользу нашего понимания говорит тот факт, что глагол *οράω* требует после себя винительного падежа. Идентичную синтаксическую конструкцию представляет собой гомеровский пример *ποταίνων δ' ἐπ' οἴσσιν* «пасущий овец» (Ил. VI, 25), где выступают причастие и предлог *ἐπί* с дательным падежом.

Составленный совместно В. П. Казанскене и Н. Н. Казанским Микенский понятийный лексикон (с. 62—159) — основная часть данной работы — задуман первоначально как Проект понятийного словаря древнегреческого языка. В разработке его концепции привлекли также участие известные филологи-классики и лингвисты — А. В. Грошева, А. И. Зайцев, В. П. Нерознак, А. К. Гаврилов. Понятийный лексикон охватывает всю бесспорно или гипотетически интерпретированную на сегодняшний день лексику греческого языка микенской эпохи (ср. основные разделы словаря: *Вселенная*: небо и атмосферные явления, земля, растения, животные; *Человек*: физический тип, душа и интеллект, человек в обществе, социальная организация; *Человек и вселенная*: существование, качество и состояние, размеры, познаваемое на вкус, значимость, ценность и др.). Он полностью соответствует концепции, изложенной во вступительном разделе, и нынешнему этапу развития микенологии. Сохранив схему Халлинга — Вартбурга, составители применили свою гораздо более удобную систему индексации понятийных рубрик, применив пятизначные индексы. Для понятий, не отраженных в дошедших до нас надписях, были оставлены пустые номера. Как указывается в правилах пользования словарем (с. 62), пятизначный индекс раздела в дальнейшем с появлением понятийных словарей других языков даст возможность, используя ЭВМ, установить семантические переходы, универсальные для языка вообще.

Слова в каждой рубрике приводятся в тех форме и значении, в каких они выступают в известных нам текстах, каждое

слово дается в текстовом окружении. Всюду, где это возможно, дается интерпретация реалий микенской культуры, например, в словарных статьях *pa-ra-ku* «вид металла, возможно, железо» (с. 66), *ka-na-ko e-ru-ta-ra* «красящий шафран» (с. 69), *ku-mi-no* «тмин» (с. 81), *di-ple-ra-po-ro* «одежье в шкуры» (с. 82), *ku-ru-su* «сосуд на трех ножках» (с. 121) и мн. др. В интерпретации микенских слов были использованы результаты работы целого поколения микенологов. К понятийному словарю прилагается алфавитный индекс крито-микенских слов, что дает возможность пользоваться им и как обычным словарем.

Составители максимально использовали все возможности для заполнения рубрик. В частности, многие абстрактные понятия оказалось возможным представить на основе изучения личных имен. Скажем, понятие «страх, ужас» отражено в личных именах *tu-ka-na* и *tu-ke-ne-u*, которые, вероятно, представляют собой производные от глагола *στύγέω* «чувствовать ужас или отвращение»: *Stugnā*, *Stugneus*.

Давая общую оценку рецензируемому труду, следует отметить, что он представляет собой большой теоретический и практический интерес для широкого круга специалистов по лексикографии, общему языкознанию и индоевропеистике, для филологов-классиков. Высказанные выше критические замечания носят в основном дискуссионный характер и никоим образом не меняют нашей высокой оценки рецензируемой книги. Остается только пожелать, чтобы работа над Проектом понятийного словаря древнегреческого словаря, столь успешно начатая Микенским понятийным лексиконом, была продолжена и привела в конечном результате к созданию древнегреческого понятийного словаря-тезауруса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лурье С. Я. Язык и культура микенской Греции. М.— Л., 1957.
2. *Vilborg E.* A tentative grammar of Mycenaean Greek. Göteborg, 1960.
3. Тронский И. М. Слоговая структура древнегреческого языка и греческое слоговое письмо // Древний мир. Академику В. В. Струве. М., 1962.
4. *Bartonek A.* Monophonemic diphthongs in Mycenaean // *Minos*. 1963. V. 8.
5. *Lejeune M.* Notes de la morphologie mycénienne // BSLP. 1965. V. 60.
6. Тронский И. М. К вопросу об окончаниях инструменталиса в греческом языке // *Иноземна филология*. 1972. 28.

Шарыкин С. Я.

«Словарь иностранных слов» выдержал уже полтора десятка изданий¹, и одно это — несомненное свидетельство его популярности среди самых разных слоев населения, более того — его необходимости и полезности в качестве справочника по иноязычной лексике.

Однако обращает на себя внимание тот факт, что тип этого словаря, характер содержащейся в нем информации, его структура и т. п. не обсуждались сколько-нибудь обстоятельно ни в специальной литературе, ни в общедоступной печати. Между тем сделать это нужно, так как по ряду свойств издаваемый словарь отличается от большинства филологических словарей. В предлагаемой рецензии как раз и ставится такая цель: в связи с выходом очередного издания «Словаря иностранных слов» поговорить о типе этого справочника, его достоинствах и недостатках и высказать некоторые соображения относительно возможных изменений в словаре при дальнейшей работе над ним.

При создании практически любого словаря составители сталкиваются с двумя основными проблемами: проблемой словника (какая лексика должна быть представлена в словаре в соответствии с его профилем и целями) и проблемой состава и строения словарной статьи. Иначе говоря, составители должны решить целый комплекс вопросов, связанных с тем, какого рода лингвистическая (и, возможно, какая-либо другая) информация должна сообщаться о слове.

Каждое специализированное лексикографическое издание (если иметь в виду, что филологические словари подразделяются на два основных типа — специализированные и универсальные), как правило, отличается от всех других как по составу словника, так и по характеру сведений, содержащихся в его словарных статьях. Это диктуется целями и задачами подобных изданий, их адресатом и т. п.

Несомненной спецификой обладает и словник словарей иностранных слов. Это явствует из самого их названия: в них описывается не вся лексика данного языка, а только слова иноязычные. А, как известно, иноязычная лексика по ряду своих характеристик занимает особое место в словаре языка. При этом имеются в виду не только и даже не столько формальные признаки иноязычности, которые фигурируют, например, при описании заимствованных слов, вошедших в русский язык (вроде начального «а», наличия в сло-

ве буквы и фонемы «ф», зигания гласных — *аорта*, *радио* и под., неизменяемости имен существительных и прилагательных: *кофе*, *депо*, *хаки*, *бежи* и т. п.), — сколько восприятия иноязычных слов говорящими.

По-видимому, можно говорить о некоей отмеченности, выделенности иноязычного слова в языковом сознании людей. Это выделенность по нескольким признакам. Во-первых, иноязычное слово связано с книжностью — книжной культурой, книжной стилистической окраской, книжным стилем языка. Во-вторых, вследствие иноязычности формы смысла слова для многих говорящих оказывается как бы зашифрованной, непонятным (или, во всяком случае, менее понятным, чем смысл своего, исконного). В то же время эта зашифрованность может служить символом недоступности учености, почему и речь, содержащая иноязычные слова, нередко расценивается как социальная и престижная. Это, однако, не мешает существованию в обществе оценок пристрастия к иноязычным словам как признака псевдоучености, нелюбви к родному языку и т. п., а в крайних случаях увлечение иноязычной лексикой и терминологией рассматривается (в определенной социальной среде) как проявление чуждой идеологии.

Словом, и по своим формальным свойствам, и по соотношению с исконными словами, и по статусу в языке-реципиенте иноязычная лексика нуждается в специальном описании, в частности словарном. Естественно, что вследствие особых свойств иноязычного слова словарная статья, описывающая эти свойства, должна быть своеобразной: в отличие, скажем, от словарной статьи в обычном толковом словаре, здесь необходимо сообщить сведения об этимологии слова, о путях его заимствования, а также, в ряде случаев, дать информацию о самом явлении или понятии, обозначаемом данным словом.

Посмотрим, как решены указанные выше проблемы — словника и состава словарной статьи — в рецензируемом словаре.

Надо сразу же сказать, что, являясь продолжением давней лексикографической традиции, еще в дореволюционные годы давней потребителю ряд неплохих словарей иностранных слов (см., например [1—4]), данное издание в основном выполняет свою функцию — служит справочником в области иноязычной лексики, как терминологической, так и общеупотребительной.

Возникает, однако, вопрос: насколько достаточна информация об иноязычных словах, содержащаяся в этом справочнике, и всегда ли она дает возможность поль-

¹ К настоящему времени вышло 17-е издание этого словаря.

вователю разрешить собственные сомнения и трудности, связанные с пониманием и употреблением иностранных слов?

С л о в н и к рецензируемого издания весьма обширен — около 19 тысяч слов [впрочем, для сравнения отмечу, что современный немецкий словарь иностранных слов (см. [5]) содержит 48 тысяч слов]. Он представляет собой «пересечение» словарей современных толковых словарей (естественно, в той их части, которая содержит иностранные слова) и словариков словарей терминологических. Широко включение научных и технических терминов в большинстве случаев представляется вполне оправданным: ведь очень многие из терминов, которые совсем недавно были узкоспециальными, стремительно входят в общее употребление. Они составляют как бы общий терминологический фонд современного культурного человека: не будучи биологом, он обязан иметь хотя бы общее представление о содержании таких понятий, как *ген*, *мутация*, *хромосома* и под., не будучи физиком — уметь понимать термины *электрон*, *дифракция*, *лазер* и т. п. Многие специальные термины проникают в обиход, и сейчас мало кто не слышал таких слов, как *нейлон*, *полиэтилен*, *координаты* и под.

И все же иногда авторы обсуждаемого словаря вряд ли правы, включая в словник редкие да к тому же устаревшие (или обозначающие реалии прошлого) слова: например, *кьекенмедици*, *кутум*, *плангерд*, *сорорат* и некот. др.

В ряде случаев вызывает сомнение, является ли включенное в словарь слово действительно иноязычным (а не образованным на русской почве от соответствующей иноязычной основы): ср., например, *аббатство*, *альфа-частица* (и все другие сложные слова со вторым компонентом *-частица*), *анкетирование*, *антители*, *антиконституционный*, *антимарксистский*, *басмачество*, *берклианство*, *бланковый*, *валентность*, *вассальный*, *векторный*, *виброштампование*, *гербовый*, *гофрирование*, *гуманность*, *дельта-железо*, *диктаторский*, *диффузный*, *капиллярность*, *квалифицированный*, *корпускулярно-волновой*, *люминесцентный*, *магнетанство*, *параллельность*, *программирование* и мн. др. (иное дело, когда то или иное иноязычное слово оформляется в русском языке какими-либо аффиксами и в «свободном виде» не существует: ср. слова типа *вирировать*, *глобальный*, *коклетный* и под.).

С другой стороны, некоторые новые и при этом достаточно широко употребляющиеся заимствования не включены в словник рецензируемого издания: например, *анорак*, *брифинг*, *видсерфинг*, *дезодорант*, *дестабилизация*, *кетчуп*, *компьютеризация*, *конкорданс*, *конкур*, *жерсок*, *мафиози*, *прайд*, *препринт*, *пицца*, *пиццерия*, *пресс-релиз*, *принтер*, *программист*, *рейтинг*,

сакура, *сериал*, *скотч*, *телекс*, *терминал*, *фристайл*, *экстрасенс* и некот. др.

Отсутствуют в словнике также некоторые слова, заимствованные русским языком из языков народов СССР и употребляющиеся либо как стилистически нейтральные, либо как контекстно обусловленные наименования: *арба*, *беибармак*, *дувал*, *калым*, *кунак*, *мираб*, *панаха*, *сажля*, *той*, *яранга* и некот. др.

С л о в а р н а я статья рецензируемого словаря в типовом случае содержит следующие сведения:

1) исходная форма слова указывает на правильное написание и ударение этого слова; в необходимых случаях даются орфографические варианты: ср., например, *воляюк* — *волялюк*, *долихоцефалы* — *долихоцефалы* и т. п.;

2) в этимологической части словарной статьи указывается язык-источник и слово, послужившее прототипом данного заимствования. Замечу, что нередко в качестве прототипа фигурирует древнегреческое или латинское слово, тогда как соображения, основанные на фонетическом и семантическом сходстве заимствования и его вероятных прототипов, заставляют предполагать, что непосредственным источником заимствования послужил какой-либо из живых европейских языков: французский, немецкий, итальянский и др.; ср., например, многие медицинские и биологические термины, пришедшие к нам, по-видимому, из французского или немецкого, а не непосредственно из древнегреческого или латинского: *амнезия*, *анабиоз*, *вестибулярный*, *вирус* и мн. др., технические и научные термины типа *вектор*, *вентилятор*, *мембрана*, *мультипликация*, *монополия*, *пеницициларий*, *плурализм*, *продукт*, *проект*, *радиатор*, *редуктор* и под.

У ряда слов, помещенных в словаре, присутствует лишь указание на язык-источник², но нет самого слова-прототипа. Это касается в основном лексем, заимствованных из редких или малознакомых языков (индейских, полинезийских, африканских, некоторых языков народов СССР), а также, в некоторых случаях, из арабского, персидского, санскрита, китайского, монгольского, японского и тюркских: ср., например, словарные статьи слов *абаз*, *ага*, *аил*, *алгебра*, *алголь*, *амок*, *бронза*, *бурнус*, *бурхан*, *вигвам*, *визирь*,

² Во вводной заметке «О построении словаря» это, правда, специально оговаривается: «В некоторых случаях в этимологической справке дается только указание на язык-источник» (с. 4), однако эта оговорка мало проясняет существо дела: неясно, какие именно случаи имеются в виду и почему они исключают возможность указания конкретной формы слова-этимона.

газават, гаолян, дехканин, джейран, джигит, джиу-джитсу, дзюдо, кальян, каолин, каракурт, каратэ, караван, катеху, каноз, каюк, кета, кимоно, коран, крокодил, кумыс, кунжут, кураре, магараджа, марал, минарет, раввин, рахат-лукум, саксаул, самум, сажит, сафьян, сераль и др. В отдельных случаях этимологические справки в словарных статьях отсутствуют: см. словарные статьи слов *акын, анкетер, арил, арабизм, вапити, канчили, кубатура, нок, рамбуль, расизм, резус* и некот. др.;

3) помета, указывающая сферу употребления данного термина: астр., биол., мат., хим. и под.; в рецензируемом словаре эти пометы даются непоследовательно: при одних специальных терминах они есть, а при других, аналогичных первым с точки зрения сферы преимущественного использования, — отсутствуют. Ср., например, отсутствие пометы «хим.» при словах *абсорбент, абсорбция, гидролиз, гопкалит, кетоны, липиды, реагент, резорбция*, и под., пометы «мед.» — при терминах *вирулентный, гастроптоз, гинекомастия, гликемия, кератит, ксероз, летальный, мастит, миастения, микседема, пеллагра, пилелит, плегия* и мн. др. Некоторые серии достаточно специальных наименований не снабжены никакими пометами: ср., например, палеонтологические термины *архозавры, анкилозавры, зауроподы, карнозавры, орнитоподы, стегозавры, целурозавры* и др., а также термины типа *авифауна, автотрофный, аддитивный, варрант, вивипария, вирулизм, вирион, галобионты, гомоаллелизм, гидрокструкция, каптаж, компаунд, консонантизм, контражур, лепидофиты, мезодерма, миксбордер, палиостоз, плазмолит, плацента, реверберация, ревертаза, рекуперация* и т. п.;

4) толкование носит по преимуществу энциклопедический характер, т. е. описывает, во многих случаях достаточно подробно, соответствующее понятие или явление, с указанием подробностей, нередко понятных лишь специалисту³. Толкование включает сведения историко-

культурного характера, описание родовидовых отношений между теми или иными наименованиями (ср. толкования ряда минералогических, химических, астрономических терминов) и отсылки к соответствующим родовым и видовым понятиям; в некоторых случаях дается описание терминологических сочетаний с данным словом — типа *абсолютная высота, начертательная геометрия, карантин растений* и т. п.

Достаточно ли перечисленные типы сведений об иноязычном слове для полного представления обо всех его лексических, семантических, грамматических, стилистических, узусальных и т. п. свойствах? Для ответа на этот вопрос надо задать другим вопросом: каково назначение современного словаря иностранных слов?

Очевидно, что пользующийся таким словарем ожидает найти в нем ответы по крайней мере на три основных вопроса: каково значение данного слова? откуда оно к нам пришло? как надо его употреблять? Кроме того, читателя могут интересовать сведения о самом явлении или понятии (эти сведения могут быть технического, научного, культурно-исторического и т. п. порядка), информация о сфере употребления слова, о его словообразовательных дериватах, об устойчивых выражениях, включающих данное слово, об особенностях написания и произношения слова, об иноязычных словах, близких или аналогичных данному по звуковому облику, смыслу и употреблению (последние сведения полезны с точки зрения разграничения слов-омонимов и паронимов, слов, образующих своего рода терминологические или тематические микрополя, и т. д.: ср., например, *агава* и *агама*, *ажитоаж* и *ажитация*, *сульфат*, *сульфид* и *сульфит* и т. п.).

Если учитывать все перечисленные виды лингвистической и энциклопедической информации (что кажется вполне естественным и необходимым⁴), то надо признать, что сведения, содержащиеся в словарных статьях рецензируемого словаря, в общем случае оказываются неполными.

Так, в отличие от толковых словарей, «Словарь иностранных слов» не содержит никаких грамматических характеристик

³ Хорошо известно, что словари иностранных слов как жанр лексикографической литературы появились из необходимости объяснить русскому читателю те или иные иноязычные слова, сохранявшиеся в переводах научных и художественных произведений. Сначала (XVIII в.) это были приквильные словарики, а затем стали появляться (в конце XIX — начале XX в. в изобилии) отдельные словарные издания, объяснявшие непонятные иностранные слова. Ориентация в этих объяснительных словарях была именно на энциклопедическое описание предмета. Парадоксально, что хотя за последние десятилетия теоретическая и практическая лексикография шагнула

далеко вперед (в частности, были разработаны и в значительной своей части воплощены на практике принципы л и н г в и с т и ч е с к о г о толкования слова), словари иностранных слов сохраняют как своеобразное «наследие прошлого» толкования, являющиеся по существу фрагментами описаний соответствующих понятий, явлений, механизмов и т. п. в энциклопедиях и энциклопедических словарях.

слова — например, указания на часть речи, род и возможность склонения, основные падежные и числовые формы (для имен), указания вида глагола и способов глагольного управления. Нет сведений об особенностях произношения слова. Между тем в области грамматики и фонетики иноязычные слова как раз отличаются рядом специфических черт (несклоняемость, отсутствие морфологически выраженных форм числа, несмягчение согласных перед <е> и т. п.); при употреблении такие слова могут вызывать (и вызывают) у говорящих затруднения, разрешить которые данный словарь не помогает.

В самом деле, пользуясь словарем, мы не сможем определить, например, род слова *шимпанзе* и узнать, как же надо произносить это слово: *шимпан* [ʒ'э] или *шимпан* {ʒэ}; не узнаем, как надо говорить: *ар* [т'э] *рия* или *ар* {тэ} *рия*, *пар* [т'э] *р* или *пар* {тэ} *р*; словарь не предупреждает распространенных ошибок в произношении иностранных слов типа *а* [ф'о] *ра*, *ма* [н'э] *вр* (вместо правильных *а* [ф'э] *ра*, *ма* [н'о] *вр*) и т. п.

Как известно, среди иноязычных слов много несклоняемых существительных, принадлежащих к разным грамматическим родам; с другими членами предложения они могут согласовываться и по мужскому, и по женскому, и по среднему роду. Однако словарь не сообщает читателю, как надо говорить и писать: *росло раскидистое авокадо* или *рос раскидистый авокадо*; *горький алоэ* или *горькое алоэ*; *взрослый альпака*, *взрослая альпака* или *взрослое альпака*; *выцветшее альсекко* или *выцветшая* (а может быть, *выцветшие*?) и т. д. Да и в тех случаях, когда существительное принадлежит к склоняемому, по исходной форме трудно определить тип его склонения и род, в особенности если слово редкое: *аксолотль*, *гель*, *гриль*, *монополь*, *органоль*, *роль*² (в значении «цилиндр») и под. — это слова какого рода и склонения?

При существительных, даваемых в форме множественного числа, не указывается возможная, хотя и менее употребительная форма числа единственного, по которой можно было бы судить о типе склонения существительного и (отчасти) о роде: ср., например, словарные статьи

¹ Подобное «комплексное» описание иноязычного слова находится в русле современных теоретических разработок в области лексикографии (см., например [6]); кроме того, оно удобно для читателя: в одном словаре он может найти освещение практически любого аспекта слова — его произношения, этимологии, смысла, употребления, связей с другими словами и т. п.

слов *акрилаты*, *альвеолы*, *амилазы*, *аптерии*, *каперсы*, *люстрации*, *пьяксы*, *спириллы* и под. Кроме того, без указания формы единственного числа эти существительные неотличимы от имен *pluralia tantum*, что явно нежелательно: читатель теряется в догадках, имеют ли, скажем, слова *нотабли* или *шлицы* форму единственного числа (и если имеют, то какую?) или же их надо отнести к тому же разряду, что и слова *пассатижи*, *шасси* и под.? Кстати говоря, в ряде случаев в качестве заголовочной должна, на мой взгляд, фигурировать форма единственного, а не множественного числа существительного (как это и дается в большинстве толковых словарей): *абориген* (а не *аборигены*, как в рецензируемом словаре), *адвентист*, *антифриз*, *антропoid*, *витамин*, *гранула*, *омоним*, *пассат*, *пилон*, *пластмасса*, *саванна*, *силикат*, *синоним*, *сутра* и под., — поскольку различительная сила формы единственного числа выше, чем различительная сила формы множественного числа (во втором случае могут, например, исчезать родовые различия существительных).

Для слов неизменяемых важно указание, к какой части речи они принадлежат. Например, музыкальный термин *ажитато* — это наречие или существительное? Или то и другое — как *анданте* или *аллегро* (кстати, в словарных статьях последних двух слов только по характеру толкований можно догадаться, какое из значений — наречное, а какое — именное)? *Вибрато* и *кантабиле* — это существительные или наречия? Ответа на эти вопросы в словаре нет.

Как видим, отсутствие грамматической и орфоэпической информации о слове (кстати сказать, характерное и для всех ранее издававшихся словарей иностранных слов) — существенный недостаток, не дающий читателю возможности составить полное представление о том, как надо употреблять то или иное иноязычное слово.

В заключение выскажу несколько замечаний более частного порядка.

Одно из них касается подачи многозначных слов в словаре, а именно — последовательности значений. Нередко она определяется историческим принципом: какое из значений раньше возникло, то и дается первым по порядку (ср., например, словарные статьи слов *ампула*, *антология*, *арена*, *грация*, *комедия* и некое др.). Между тем толкование слова вообще и многозначного слова в частности должно моделировать представление о семантической структуре данного слова, имеющееся в языковом сознании носителей *у з а м е н н о г о* языка; при этом узуально активные значения должны получать меньший порядковый номер,

чем узואуально менее активные или уставшие. Например, для слова *грация* узואуально активны значения (1) «изящество тела в позах и движениях» и (2) «вид корсета: широкий эластичный пояс, охватывающий торс», а сведения о мифологических существах — трех грациях — должны даваться в историко-культурном комментарии к слову. К подобному комментарию необходимо отнести и компонент «в театре XVI—XVII вв. — стоячие места перед сценой, предназначенные для зрителей низших классов» в толковании слова *партер* (в рецензируемом же словаре этот компонент — часть первого значения слова).

Некоторые толкования нуждаются, как кажется, в коррекции. Так, *воляж* дается в словаре с пометой {арелое} и определяется как «поездка, путешествие». Современному употреблению этого слова, которое довольно широко используется в публицистике, больше соответствует толкование, содержащее оценку: «поездка, путешествие с неблагоприятными (с точки зрения говорящего) целями» — ср. контексты типа *воляж натовского генерала* и под.

При толковании отдельных слов не учтены значения, достаточно распространенные в разговорной речи: например, *реанимация* в значении «реанимационное отделение больницы» (*Его отвезли в реанимацию*), *рентген* в значении «рентгеноскопия» (*Вам уже делали рентген?*) и др.

Естественно для любого словаря отставание от живого словоупотребления в некоторых случаях, как кажется, все же можно было преодолеть. Так, в словаре содержательно бедными выглядят словарные статьи таких слов, как *артэфакт*, *команда*, *конформизм*, *парадигма* и некот. др.: в них отражены лишь те значения, в которых указанные слова употребляются достаточно давно, и не учтены значения, приобретенные этими словами

в последние десятилетия в контексте различных отраслей знания или в общенаучном языке.

Исходя из всего сказанного, можно сделать следующий вывод.

Рецензируемый словарь — несомненно, полезное и нужное издание. Он может служить и служит справочником по части иноязычной лексики и специальной терминологии иноязычного происхождения. Однако содержащаяся в нем информация о слове отражает далеко не все аспекты формы, значения и употребления иноязычной лексемы. Как кажется, нужна дальнейшая работа над словарем, которая обогатила бы его словарные статьи всеми необходимыми сведениями о слове и приблизила бы этот словарь к типу лингвистических словарей (пока же он остается изданием энциклопедического типа).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ефремов Е.* Новый полный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык / Под ред. Бодуэна де Куртенэ И. А. М., 1911.
2. *Павленков Ф. Ф.* Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. 3-е изд., СПб., 1911.
3. *Дубровский Н. А.* Полный толковый словарь иностранных слов, вошедших в русский язык, с указанием корней. 21-е изд. М., 1914.
4. *Бурдон И. Ф., Михельсон А. Д.* Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке, с означением их корней. 12-е изд. М., 1917.
5. *Duden Fremdwörterbuch.* Mannheim; Wien; Zürich, 1982.
6. *Апресян Ю. Д.* Интегральное описание языка и толковый словарь // ВЯ. 1986. № 2.

Крысин Л. П.

Технический редактор *Беляева Н. Н.*

Сдано в набор 28.06.89	Подписано к печати 25.08.89	Формат бумаги 79×100 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 13,0	Усл. кр.-отг. 72,6
	Тираж 5516 экз.	Уч.-изд. л. 15,4
		Бум. л. 5,0
		Заказ 3157

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, телефон 203-00-78

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6